

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ 5 2000

В НОМЕРЕ:
ШАЙ АГНОН
МИХАИЛ АГУРСКИЙ
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД
ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ
ИЛЬЯ БОКШТЕЙН
МАРК ВЕЙЦМАН
БЕЛЛА ВЕРНИКОВА
МОШЕ ГИМЕЙН
МИХАИЛ ГОРЕЛИК
СЕРГЕЙ ГОРНЫЙ
ЛЕОНИД ИОФФЕ
ФРИДА КАПЛАН
ЗОЯ КОПЕЛЬМАН
МИНА ЛЕЙН
ШИМОН МАРКИШ
МИХАИЛ РОГОВСКИЙ
ДИНА РУБИНА
ВАЛЕРИЙ СОНИН
РОМАН ТИМЕНЧИК
АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ
ЛЕОНИД ЧЕРТКОВ
СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН
САША ЩЕРБА
АНАТОЛИЙ ЮНИСОВ
РАШИТ ЯНГИРОВ
И ДРУГИЕ

№5



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2000' 5

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

⑤ 2000

Иерусалимский журнал, № 5, 2000

Израильский литературный журнал на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/L

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Семен Гринберг (составление номера), **Зинаида Палванова**,

Дина Рубина, **Роман Тименчик**, **Светлана Шенбрунн**

Ответственный секретарь – **Леонид Левинзон**

Художник – **Сусанна Черноброва**

Редактура и корректура – **Маргарита Шкловская**

Организационное и техническое обеспечение номера – **Бина Смехова**,

Борис Бронштейн, **Даниил Бурштейн**, **Михаил Бяльский**, **Нелли Глузман**,

Виктор Гопман, **Григорий Гордин**, **Шауль Котлярский**, **Антон Мухин**

Издательство «СКОПУС»

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Министерства абсорбции;

Министерства культуры;

Центра интеграции репатриантов –
деятелей литературы и искусства;

Управления абсорбции и Отдела культуры Иерусалимского муниципалитета; Иерусалимской городской русской библиотеки и Всемирной ассоциации по изучению взаимодействия культур.

Журнал выходит ежеквартально

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2000. All rights reserved.

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: review@antho.net

Тел.: 972-2-6434005, 972-6432962; тел./факс: 972-2-6720025

Представители «Иерусалимского журнала»:

В Москве – **Игорь Меламед**, т.: 242-70-42. 119048, Хамовнический вал, 24/116;

Игорь Грызлов, т.: 5507747; E-mail: igorgr@dol.ru

В Санкт-Петербурге – **Ольга Крупенья**, т.: 312-54-65; 191186, ул. Казанская, 5;

Сергей Григорьянц, т.: 294-81-43; ул. Бассейная, 71/66.

В Новосибирске – **Владимир Болотин**, т.: 329944. E-mail: V.P.Bolotin@inp.nsk.su

В Нью-Йорке – **Андрей Грицман**, т.: 201-816-9131; Andrey Gritsman, 55 Central Avenue, 1st Floor, Tenafly, NJ 07670. E-mail: agritsman@worldnet.att.net

В Чикаго – **Александр Блинштейн**, т.: (847) 676-1134, Alexander Blinsein, 5157 Jarvis, Skokie IL 60077; **Ефим Котляр**, т.: (847)-5819304, Yefim Kotlyar, 5251 Carol, Skokie, IL 60077; E-mail: YefimK@aol.com

В Калифорнии – **Рита Бальмина**, т.: 619-4606179, Balmina, Cowles HNT.BD #E128 La-Mesa CA 91242 rita_balmin@yahoo.com

В Париже – **Влад Смехов**, т.: 33-6-73024165, 33-1-41861474

В ИЗРАИЛЕ: **Арад** – **Ольга Кравченко**, т.: 07-9971014. **Ариэль** – **Самуил**

Кушниров, т.: 03-9365452. **Афула** – **Любовь Сергеева**, т.: 06-6492095.

Герцлия – **Леонид Шейнкман**, т.: 09-9502681. **Кфар-Саба** – **Виталий**

Кабаков, т.: 09-7673293. **Лод** – **Михаил Гиль**, т.: 08-9201291. **Реховот** –

Марк Павис, т.: 08- 9353758. **Хайфа** – **Михаил Басин**, т.: 04-8213657.

OCR Давид Титиевский, май 2019 г., Хайфа

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Белла Верникова

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

Минималистские стихи

Зри в корень.

К. П.

1. БЕДНАЯ РИФМА

пальто – полупальто
ботинки – полуботинки
сардинки – цирк шапито

2. ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ

моря
океаны
страны
история
география

3. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

стиль “арт нув’о”
архитектура
графика
мода
мировая война № 1
модерн
автомобиль
синем’а

4. ФИЛОСОФСКОЕ

выйдя сухим из реки, в которую нельзя войти дважды
ибо всякий раз тебя омывают другие воды
из царской династии, лишенной демосом власти
в городе-государстве Эфесе
нащупывая путь диалектики
в дни Олимпиады 504 года до нашей эры
устно и письменно он говорил нарочито темно
ибо природа вещей любит прятаться
древние греки прозвали его Гераклит Темный

5. ЧАСТУШКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ – ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ

* * *

дождик, дождик, выручай
 воды в Кинерет накачай
 дождик, дождик, выручай
 выдай публике на чай

* * *

капли падают, пора
 лить с небес, как из ведра
 собирает мед пчела
 запасает *дваш двора*

* * *

все для публики
 мед и бублики
 теплый *бейгале*
 в *Эрец-Исраэль*

дваш (иврит) – мед.
двора (иврит) – пчела.
бейгале (иврит) – бублик.
Эрец-Исраэль (иврит) – Израиль; страна, земля Израиля.

6. ОБМУНДИРОВАНИЕ

как записано в одной из инструкций
 1960-х годов
 главе советского государства
 раз в три года
 выдается бесплатно
 пять пар носков
 фрак
 ботинки

7. КИТАЙ 1994

крестьянка вынуждена тяжело работать
 чтобы содержать семью
 самая сокровенная мечта
 несчастной женщины
 приобрести телевизор
 для единственного сына

8. ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ АМЕРИКИ

ветхозаветный шарм Барбары Стрейзанд
галутное обаяние Лайзы Минелли
гений джаза, внук петербургского раввина
Америчка Семена Юшкевича с ее торговлей и равночувствием
поэт абсурда и Гудзона Толя Гланц из Одессы
профессор-эмеритус Дэн Левин, переводчик стихов Б. Верниковой
миллионы бывших русских евреев, беженцы от погромов,
революции, перестроек
веселый здоровый Гудзон

9. ДЕТКИ, ПТИЧКИ И СОБАЧКИ

слышал в третьем классе я
не в Европе-Азии
там в Австралии вдали
от привычной нам земли
в тихом поле поутру
подрастают кенгуру

детки, птички и собачки
лето провели на дачке
где природа и простор
поле, озеро и бор

вижу желтую осу
вижу рыжую лису
вижу – на тропинке жук
это фильм про жизнь в лесу

10. ПРОСТРАНСТВО ЦИВИЛИЗАЦИИ

знак, сигнал, буква
разместились на иврите в слове *от*
א - א [алеф-бэт]
начальные буквы ивритского алфавита
начальной знаковой системы
от которой ответвилась Тора
дарованная Всевышним еврейскому народу
на горе Синай в легендарные годы

разметив сигнальными огнями *шетах* (иврит)
(толкование понятия см. в заголовке)
еврейские буквы составляют орнамент
перемещающийся справа налево
как в книжной графике Эль Лисицкого
в преддверии 20-х годов 20-го века

Светлана Шенбрунн
ПШЮЛИ СЧАСТЬЯ

Повесть
Первая часть

*Всю-то я вселенную объехал!
Нигде доли не нашел!
Я в Расею возвратился –
Сердцу слышится привет...*

1

Да: проснулась – очнулась после долгого сна, зевнула, потянулась под одеялом и открыла наконец совершенно глаза свои... Вот именно: ты еще и глаз не продрал, а уже все описано. Не успел родиться, а уже наперед все предсказано и рассказано. И оглядела, разумеется – оглядела. С нежностью. Нет, теперь надо говорить: не без нежности. Домик крошечка, он на всех глядит в три окошечка... Глядит, лапушка... Подумать! – целых три окна в одной комнате. В нашу-то эпоху, когда редкой комнате выделяется более одного окна. И одно уже почитается за благо. Размер жилого помещения должен соответствовать размеру помещенного в него тела. Всунулся в койку, как карандаш в пенал, и дрыхни. Благодаря судьбу, что отвела тебе пусть невеликое, но защищенное от житейских бурь пространство. Собственную твою экологическую нишу. Еще и с телевизором в ногах! Мечтай. Грезь об очередном отпуске.

И самое удивительное, самое восхитительное, самое непостижимое, что в этой роскошной комнате, в этой мягкой постели, благожелательно объемлющей расслабленные члены, просыпается не какой-нибудь два миллиарда пять тысяч седьмой член мирового сообщества – а именно я. Не знаю, чем это объяснить. Поэтому и не просыпаюсь еще... «Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели». Минуты с две полежим неподвижно... Ну, не так уж совсем неподвижно: слегка разминаемся, подготавливаемся к дневной жизнедеятельности. Новый день... Рассвет. Слабенький пока, едва уловимый. Не потому, что рано, а потому что северно. Что делать – за белые ночи приходится расплачиваться тусклыми днями.

Зато одеяло – что за прелесть у меня одеяло – облачко невесомое! Букет ландышей и незабудок. Майский сад!.. Вади Кельт в пору весеннего расцвета. Подумать только – середина февраля, и уже жара. Сказка... Город Авдат. В Израиле Негев – пустыня. В России в лучшем случае был бы: засушливая степь. Склонность к преувеличениям. На древнем пряничном пути из Междуречья в Египет

склонны к излишней драматизации. Пряничном... Не от слова «пряник» – от слова «пряность». Впрочем, «пряник», наверно, и происходит от «пряность». Или наоборот. Сто первое ранчо. Не сто первый километр, а Сто первое ранчо! Не потому, что ему предшествуют сто других – первое и последнее, единственное на весь пряничный путь, но так величественней. «Сто один» – номер воинского подразделения, в котором несчастный парень, открывший с горя ранчо в пустыне, служил под началом Арика Шарона. «И пряников сладких...» Великий стратег Ариэль Шарон. Говорят, его бои изучают в военных академиях всего мира. Толстый человек с тоненьким голосом, сорванным на полях сражений. И смешным кроличьим носом. Аллергия, наверно. А поди ж ты! Царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной... Цветущая пустыня. Очей очарованье... Невесомые, блаженные дни. Дениска был совсем маленький – как теперь Эрик. И мы с ним кормили львиц бифштексами на Сто первом ранчо. Кормите львиц бифштексами!.. Опускаешь свеженький бифштекс (сырой!) в скользкий желобок, и львица слизывает его горячим языком на той стороне клетки.

Неизвестный художник по тканям, как это ты умудрился, вовсе не ведая о моем существовании, соорудить для меня столь прекрасное одеяло? И почему бы не напечатать где-нибудь в уголке твое имя? Я бы невзначай запомнила. Могли бы заодно повысить показатели сбыта – авторский экземпляр. Алые капли трепещущих маков...

Пора, однако ж, выпрастываться из солнечной вечности... Серенькие будни. Нет, почему же будни? Торжественный день. Может, не выглядит особо торжественным, но все-таки не мутный и не грязный. Ни в коем случае. Обыкновененький протестантский денек. Ненавязчиво готовящий собственное рождение. Осознающий свои права. А также обязанности...

Все – сосредоточиться и одним скачком выпрыгнуть из постели! Не скачком, положим, – подумаешь, какие скорые скакуны! Попрыгунчики, умеющие единым духом перемахнуть из ночи в день и попасть в нужную идею. Нет, Яков Петрович, нет!.. Приподымаемся потихонечку, более всего стараясь не потревожить сотканых смутным сознанием трепетных паутинок – более всего! Не оттого ли, Яков Петрович, и приключилась с вами беда, что вскочили вы, как встрепанный, не прислушавшись к тихому наставлению ночи? Ах, Яков Петрович!..

Из сна следует выползать осторожно. Как крабик выползает из чужой раковины, как водолаз с большой глубины. Особенно тот водолаз, который уже отдал однажды кессонной болезни. Не спеши, радость моя, выпрастывайся потихонечку. Из сонных грез, из густых липучих водорослей, льнущих к вялому телу. Пленной душе... Не догадывался Яков Петрович, простак, что бойкие двойники просовывают свои мерзкие юркие рожи именно в этот час – на стыке сна и бодрствования, когда сознание расслаблено и располовинено. Но мы-то теперь все знаем. «Кто любили тебя до меня, к кому впервые?..» Почему – «любили»? Одного любящего впервые нашей барышне не хватило?

Подумать только – мы с Федором Михайловичем жили в одном и том же городе. Более того, если не ошибаюсь, в одном и том же Дзержинском районе. Хотя при Федоре Михайловиче он, надо полагать, звался иначе.

А небольшое кругленькое зеркальце на комодке имеется, это верно подмечено. Кругленькие зеркальца продолжают свое существование, пренебрегши войнами, революциями и открытием полупроводников. Но мы не станем в них заглядываться. Яков Петрович оказался не по летам доверчив. И, главное, что такого замечательного он там увидел? Заспанную, подслеповатую и довольно оплешивевшую фигуру. Почему не физиономию? В маленькое кругленькое зеркальце – и всю фигуру? Ладно, что уж теперь придираться, автору в его обстоятельствах было не до таких пустяков – к карточному вертепу спешили, Федор Михайлович, а потому писали впопыхах. Издатель, кровопийца, наседавал, произведений требовал – за свои авансы... Яков Петрович, не за письменным столом ты был рожден, а за игорным! Впрочем, все predetermined, но выбор предоставлен. Немец-доктор, конечно, был predetermined, но Яков Петрович, пораскинь он слегка мозгами, мог бы поостеречься. Было еще время поостеречься. Иначе мог распорядиться своим утром. Сереньким утром. Таким же вот сереньким...

Ну и что? Зато парк под окнами – какой парк! – прозрачный, углубленный. Сквозь ретушь веток – муниципальный каток. Совершенно пустой в этот час. Ничего и никого, кроме обнаженных деревьев. Снежинки залетают в окно, тычутся в грудь и теплый со сна живот. Хорошо – стоять вот так против голых деревьев. Тягучий сырой воздух объемлет млеющее тело... Задумчивая влажность, разлитая во всей фигуре ее...

Твоего автора, Яков Петрович, следовало бы предварять надписью – как пузырек с летучей кислотой: «Осторожно, к глазам не подносить!» Опасный тип. Противоипритная мазь номер пять. Поднесешь – по младенческому неведению – к глазам своим, и все: приклеится всякая напасть к внутренней полости слабого, неподготовленного сознания. В промежутках между проигрышами – глубины мировой души. Вселенское сострадание! Ветошка ты, Яков Петрович, убогий человечиска, мерзко тебе, муторно, и слезы твои грязны и мутны, но любо тебе мерзнуть под лестницей Клары Олсуфьевны, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью. И только ли Федор Михайлович загнал тебя туда? А что же ты сам? Где границы власти?

Интересно – а что, собственно, означает сия фамилия: До-сто-ев-ский? Ел до ста? Досыта, что ли?

Между прочим – сегодня праздник, дети не должны идти в школу, имеем полное право уделить четверть часа полезной для здоровья утренней зарядке. Наклон вперед, откид назад, сгибание вбок, руки на уровне плеч... Комплекс ГТО. Вдох – выдох – вдох!.. Половицы поскрипывают под ковром. Может ли получиться полноценная гимнастика, когда под ногами у вас персидский ковер? Мартин уверяет, что настоящий персидский. Во всяком случае, удивительно пушистый и пружинистый. Щекочет босые ступни. Особенно ямочку в подьеме.

Пора, однако, закрыть окно. Мартин не одобряет, когда я перенапрягаю отопительную систему (камин электрический, но совсем-совсем как настоящий). А что за рамы у нас, что за стекла! Как в лучших домах Москвы и Петербурга. И запах хвои в придачу. Мартин с мальчиками вчера вечером поставили в гостиной елку.

Теперь – освежающий и бодрящий душ. Широкий выбор шампуней, кремов и полоскательных микстур. Убрать постель и включить пылесос. Квартира оборудована центральным пылесосом, – десять минут легкого жужжания, и наша окружающая среда чиста и свежа, как дыхание младенца!.. Это верно, это я точно знаю, поскольку сама занимаюсь переводами инструкций к пользованию удивительными техническими новинками, выпускаемыми нашей передовой в области мировых стандартов промышленностью.

Высокая технология! Говорят, Голубой компьютер уже обыграл чемпиона мира по шахматам. А может, не обыграл еще, но вот-вот обыграет. За полную достоверность не ручаюсь – черпаю эти сведения из телерепортажей, которые Мартин аккуратно прослушивает в вечерние часы, но поскольку местный язык все еще сложен для моего восприятия, могу кое в чем и ошибиться.

Половицы поскрипывают под персидским ковром – ностальгируют по прошлым векам. Если бы планировщики удосужились поинтересоваться моим мнением, я предпочла бы обойтись без этих излишеств, но нельзя – скрип одно из тончайших доказательств натуральности нашего жилища. (Жутко, жутко дорогая квартира, поскрипывание, разумеется, тоже включено в стоимость.)

С улицы наш дом представляет собой обыкновенное восьмиэтажное здание, но изнутри персонально для нас создана полная иллюзия солидных барских апартаментов. Бельэтаж старинного особняка. Выглядывая, например, из окон, – закрутив немного тело штопором и задрав голову вверх, – удостоверяемся в наличии ласточкиных гнезд под застрехой. Неважно, что это не крыша, а лишь карниз на уровне третьего этажа – все равно отличная выдумка. Приятная для наших чувств мистификация. Благодаря карнизу верхние этажи вместе с их жильцами для нас как бы не существуют. Да и вход туда с противоположной стороны, так что мы их не видим, не слышим и не замечаем. Их квартиры значительно дешевле нашей. Полы там обыкновенные деревянные, а не пластиковые, как у нас (наши, заметьте, абсолютно неотличимы от настоящих паркетных), и ковры у них не персидские, и нет у них широкой просторной лестницы, ведущей из холла первого этажа во второй, нет покойных ступеней, застеленных дородной дорожкой, не говоря уж о темных лакированных перилах с изящной бороздкой по сторонам. Мы, заходя в квартиру, открываем резную, как бы дубовую дверь, а они обыкновенную стальную, обтянутую для самого поверхностного приличия невесть каким скаем.

Что ж, и в этой зажиточной стране, и в этом обществе всеобщего благосостояния имеются отдельные не вполне богатые люди. Но и перед ними открыты все возможности, и они преодолевают свою судьбу. Отправляются в праздник на острова. Повосхищаться кусточком, аллеей и гротом. Эндрю, сын Мартина от первого

брака, недавно переселился в собственный дом на том берегу залива. Не самый современный дом, не по последнему слову моды и техники, но очень, очень солидный и добротный. Залив большую часть года покрыт льдом. Можно пройти на ту сторону пешком. Но кто же сегодня ходит пешком? Да и зачем идти туда? Вряд ли эти престижные дома, вряд ли они удобнее нашей квартиры, не могут они быть удобнее, куда ж еще удобнее? А ведь удобство-то – главное. Все продумано и предусмотрено. От простенькой полосатенькой дорожки, устилающей пол в коридоре, до миленьких разноцветных: желтеньких, розовеньких и фиолетовых, лампочек по стене.

Более всего продуманы мы сами. Чудесная семья. Прекрасные родители и три очаровательных мальчика. Глянцевитая обложка женского журнала. Дверь в детскую приоткрыта и оттуда несутся звонкие голоса моих сыновей, залиvistое тьякканье Лапы и глухие, увесистые удары. Все четверо скачут по тахте, мальчишки сражаются подушками, Лапа на лету пытается ухватить – хоть подушку, хоть чью-нибудь розовую пятку.

Удивительно послушные мальчишки: как только я напоминаю, что пора умыться и завтракать, старший, Эрик, без возражений отшвыривает оружие боя и на одной ноге скачет в ванную. Маленький, Фредерик (дома Фред), не дожидаясь указаний с моей стороны, лезет застилать постель. Средний, Хедвиг (Хед), стоит минутку в раздумье: ванна занята старшим братом, младший препятствует в данный момент уборке постели, что ему остается? Сверкнул глазенками и ринулся мне подмышку, обхватил разгоряченными от сна и сражения ручонками. Светлая головка подсунулась под рукав халата. Хедушка!.. Кареглазка...

Карие глаза в здешних краях все еще редкость. Хотя теперь и в северных странах имеются негритянские кварталы, и белобрысые скандинавки рожают порой смуглых мулатиков, но это происходит не на нашей улице. Карие глаза и светлые волосы – неожиданное и приятное сочетание. У моей мамы были карие глаза. Но волосы не такие светлые – волосы у нее были вьющиеся, с рыжинкой. Под конец от всей ее красоты только и осталось, что эти бронзовые всклокоченные кудри. Целебный напиток из еловых и пихтовых ветвей не помог. Не спас... Позднее утверждали, что он вполне разрушительно действовал и на почки, и на печень. Но тогда он считался панацеей от авитаминоза. Вселял надежду. Надежды маленький оркестрик... Последняя соломинка, через которую тянут отвратительный смертоносный напиток...

Трехэтажная кровать, по моему скромному мнению, не самое замечательное изобретение. Конечно, благодаря ей в детской остается много свободного места, но и неудобств предостаточно: попробуйте, например, поменять простыни, особенно на среднем уровне – не знаю, может, это я такая исключительно неуклюжая, но всякий раз мой лоб и затылок успевают треснуть об раму верхнего уровня. О том, чтобы присесть возле своего теплого сладкого сонного малыша, не может быть и речи. А самое сложное, когда ребенок болен. И ведь случается, что одновременно болеют двое. А то и все трое. Санитарный вагон... Впрочем, у

мальчишек свои взгляды на жизнь, им даже нравится карабкаться вверх-вниз по лесенке. Похоже, что раскладывание по спальным полочкам не травмирует их души.

Что-то замечательно вкусненькое благоухает на столе. Мартин всегда поднимается раньше меня и создает свои кулинарные изыски. Не забыв объявить, разумеется, что мы лентяи и лежебоки. Мы обожаем его хрустящие гренки с сыром и с медом, и пышные вафли, и все прочее.

Сегодня я должна быть особенно внимательна к нему – с вечера он, бедняга, был совершенно убит подлым бесчестным поступком Ганса Стольсиуса. Не знаю, что там у них приключилось, но горечь и обида столь явственно читались на лице моего прямодушного Мартина, что не заметить их было бы неприлично. Поначалу в ответ на мои расспросы он только отнекивался: «Нет, дорогая, все в порядке, ничего не случилось», но потом не выдержал: самое отвратительное не то, что вся эта история обернется порядочным убытком (к убыткам он успел притерпеться!), самое отвратительное, это осознать вдруг – после стольких лет знакомства и делового сотрудничества, – что человек способен так вот бесстыже, бессовестно, преднамеренно тебя подвести, нет, не подвести, а обвести вокруг пальца!

Возможно, я не стала бы с таким упорством добиваться причины его дурного настроения, если б знала, что во всем виноват господин Стольсиус. Но я почему-то вообразила – и тайне уже успела слегка тому порадоваться, – что тут с какого-то боку замешана моя драгоценная невестушка, жена Эндрю. Как говорится, пустячок, но приятно, если б между ними пробежала черная кошка. Однако надежда на семейную распрю не оправдалась, а услышать, что непорядочной свиньей оказался Ганс Стольсиус, не такая уж великая находка.

Я целую Мартина в щеку. Минуточку, дорогая, – он еще не закончил хлопотать у плиты, еще надо включить однажды уже вскипевший чайник и вытащить из буфета и водрузить на стол прозрачные кубышки с вареньем и шоколадной пастой. Посреди синей клетчатой скатерти вздымается зеленовато-розовое блюдо с горкой домашних печений. Мы усаживаемся за стол. Этот славный викинг – мой муж. Похоже, что вчерашняя досада за ночь каким-то образом рассеялась. Огромная кружка черного кофе в правой руке – до чего же у него изящные, будто высеченные из мрамора руки! И откуда эта роскошь у крестьянского парня? Слева от тарелки дожидается газета. Сегодня, кроме газеты, имеется и открытка от дочери, проживающей в Америке – в одном из северных штатов. Дочка регулярно поздравляет отца с праздниками и желает всех благ ему, а заодно и нам. Мы с ней никогда не виделись; я знаю лишь, что ее зовут Мина, что у нее двое детей и с мужем она рассталась, когда младшей девочке не исполнилось еще и года. По образованию она историк, но в настоящее время заведует домом престарелых. Очевидно, заведовать домом престарелых в Америке доходнее, нежели на родине отряхать от хартий пыль веков. А может, имелась какая-то иная причина для отъезда. Я, разумеется, не намерена хлопотать о Мينيной репатриации.

Мартин долго вертит в руках, читает и перечитывает открытку, потом передает ее детям, чтобы они тоже порадовались привету от старшей сестры и американских племянников, и распахивает наконец газету. За завтраком он, как правило, ничего не ест, разве что похрустит задумчиво каким-нибудь крекером или отщипнет ломтик сыра.

Моя мама почему-то уверяла, что самое главное для человека поесть утром. На завтрак у нас всегда была каша. Я обожала пшеничную кашу. Особенно чуть-чуть подгоревшую. Подумать только, с тех пор, как я покинула пределы России, мне ни разу не довелось отведать пшенной каши! Мои мальчики даже вкуса ее не знают. Здесь в принципе не водится такого блюда. И желудевый кофе тоже неизвестен. Вкусный и питательный желудевый кофе, выпьешь утром стакан, и весь день сыт!

Мартин говорит, что во время войны у них тоже невозможно было достать натуральный кофе, приходилось обходиться эрзацами. «Нет, когда началась война, стало уже легче, – честно уточняет он. – Хуже всего было во время кризиса».

Из-под газеты выскальзывает письмо.

– О, дорогая, извини, чуть не забыл! – восклицает он с искренним раскаянием. – Это для тебя.

Не от Дениса. От Любы.

«Ниночек, родненький, здравствуй!» – вот уже пятнадцать лет всякое свое послание ко мне она начинает этим: «Ниночек, родненький». Так ей, наверно, кажется правильным. – «Ты уж меня извини, что не сразу ответила. Болела, да и сейчас еле ползаю – ноги совсем ослабли. Правая пухнет, левая ломит – такая вот, поверишь ли, тоска зеленая. За два месяца только и высунулась из дому, что в поликлинику да разочек к нашим на кладбище съездила. Спасибо хоть, Амира Георгиевна как идет в магазин, так и мне, что надо, берет, а то бы иной день и вовсе и без хлеба сидела. Такая вот я стала...»

Комната Амиры Георгиевны – справа за кухней. Высокая кровать, геометрически выверенная пирамида белейших подушек и сама она – высокая, сухая, чернобровая. Не особенная любительница коммунального общения, но нам, детям, позволяла иногда постоять у себя на пороге. Подумать только – Люба лет на десять, если не больше, ее младше, а вот поди ж ты, как судьба распорядилась – кто кому ходит в магазин... Нет, сейчас не могу читать – мои на редкость разумные и сознательные дети ерзают, нервничают, мечтают бежать на каток. Потом дочитаю, когда вернемся.

– Все в порядке? – интересуется Мартин.

– Наверно, – говорю я.

Конечно, в порядке – в порядке вещей. Что делать? Годы идут, люди не молодеют. Отчего это к Любе вяжутся всякие хворобы? Витаминов, что ли, не хватает? Надо написать, чтобы принимала поливитамины. И овощей чтобы побольше ела. Фруктов тоже. «Голубчик мой, Любовь Алексеевна, ты смотри мне там не разваливайся, – сочиняю я между делом будущее письмо. – Принимай давай поливитамины и держи хвост пистолетом...» Такой у нас с

ней стиль общения. В трогательном ключе. «Маточка Любовь Алексеевна! Что это вы, маточка...» Маточка-паточка... Гаденькое, в сущности, словечко. Сам, небось, выдумал. Чтобы подчеркнуть нашу униженность и оскорбленность. Мышка вы, серая мышкано-норушка, угодившая в помойное ведро, и скорее всего начхать ему было на вас, любезный Макар Алексеевич. Начхать, однако приятно загнать в какую-нибудь пакостную трущобу, в протухшую кухнюшку, – чтоб сидели там в уголке за занавесочкой милостивым государем Девушкиным и не смели высунуть насморчного носа. Что ж, при всеобщем насморке и конъюнктивите и собственный проигрыш не столь обиден. «Ангел мой, повторяю тебе, что я не укоряю тебя. Если играть хладнокровно, спокойно и с расчетом, то нет никакой возможности проиграть». Никакой – надо же! «Пришли же мне немедленно, сейчас как получишь это письмо, двадцать (20) империалов». Какова точность – и прописью, и цифрами! «Немедленно, в тот же день, в ту же минуту. Не теряй ни капли времени. Милая Аня, пойми (еще раз умоляю), что я не укоряю, не укоряю тебя». Вот именно – не укоряет и умоляет. «Ах, какие подлые эти немцы! Тотчас же напишу Каткову и попрошу у него прислать мне в Дрезден еще 500 рублей. Конечно, он поморщится очень, но – даст. Давши уже столько (3000 руб.) не откажет в этом». Широкий человек – Катков, тремя тысячами рискнул, кровопийца. От трех-то тысяч можно бы и Макару Алексеевичу уделить толику – три рубля до ближайшего жалования. До полочки. Уделил ведь однажды бедной английской девочке полшиллинга.

Мальчишки с Лапой бегут впереди, мы с Мартином вышагиваем следом. Небо сделалось совершенно суконно-потолочным. Кому это, интересно, приходит в голову делать суконные потолки? Зато земля вокруг бела. Снежинки загустели, палисадники – как подушки в комнате у Амиры Георгиевны. Я беру Мартина под руку и прижимаюсь виском к его плечу – тому самому, через которое перекинуты длиннющие беговые коньки. Красавец. Супермен. Пусть не самой первой молодости, но сложен отлично. И куртка, и пестренькая задорная шапочка. Мы отличная пара. Отличная пара направляется на каток со своими очаровательными сыновьями. Коньки сверкают, несмотря на то, что небо покрыто плотными низкими тучами.

Следы детей тянутся тремя черными пересекающимися цепочками. Хед атакует Эрика снежками, но тот делает вид, что ничего не замечает: маленький, но уже викинг – даже головы не повернет, величественно вышагивает дальше. Фред тоже пытается слепить снежок, однако снег рассыпается в неумелых рукавичках. Это не мешает ему чувствовать себя безмерно удачливым и счастливым: он вертится и скачет, почти как Лапа, визжит, машет ручонками. Хед тем временем успевает обстрелять его градом снежков.

Краснобокая, как снегирь, снегоуборочная машина педантично расчищает каток. Средняя часть уже блестит гладкой голубизной, железные щупальца описывают аккуратные круги, оттесняя валик снега к бортам. Эрик надевает коньки и первым выплывает на не-

тронутый лед. На коньках он, разумеется, выглядит выше, чем на самом деле, но все равно – большой, совсем большой мальчик. Девять лет... Неужели мы с Мартином уже десять лет как женаты? Надо написать Любе, чтобы прислала свою фотографию. Я ей все время шлю наши карточки, пусть хоть раз пришлет свою. Жалуются, что растолстела... Что ж, неудивительно – если человек не движется, даже из дому не выходит...

Хеду с Фредом никак не удается справиться с переодеванием, зато они без передыху обмениваются взволнованными замечаниями относительно остроты коньков, качества льда и ожидаемого прибытия одноклассников. Мы с Мартином присаживаемся на скамейку и молча любимся стылмым парком. Эрик скользит по льду, не глядя в нашу сторону. Хед наконец влез в коньки и, смешно задирая ноги, пытается преодолеть снежный вал (совсем не такой уж непреодолимо высокий). Фред, кругленький в своей нарядной курточке, ждет, пока машина закончит расчистку и уступит ему дорогу. До чего же славные дети...

Мартин кряжисто подымается, постукивает коньками по краю бетонной плиты, помогает Фреду выбраться на лед и сам присоединяется к сыновьям. Я по привычке пересчитываю немногих конькобежцев. Это, верно, мамины математические гены бродят во мне, не востребованные ни для какой полезной цели. Вечно мне надо что-нибудь или кого-нибудь учесть, а затем прикинуть, какие убытки, допустим, терпит транспортный кооператив, если большую часть суток городские автобусы движутся полупустые? Задача пускай несложная, но и не такая уж вовсе простая: нужно принять во внимание, сколько бензина расходует одна машина на сто километров пути, сколько километров в среднем проезжает один пассажир, стоимость самой машины (поделенную на длительность службы), плюс ежегодный ремонт, страховка и прочая, зарплату водителя и еще целого ряда служащих – много данных. И сколь бы ни бессмысленным выглядело это занятие, отцепиться от него я не в состоянии. В случае с конькобежцами дело обстоит проще: вход на каток бесплатный, все расходы ложатся на муниципалитет, но чем больше посетителей, тем, естественно, дороже обходится эксплуатация: уборка, поддержание надлежащей гладкости и прочности льда, ремонт инвентаря...

Мартин возвращается, весело отдуваясь, плюхается на скамейку и принимается объяснять, какой это восхитительный моцион: прокатиться вот так по утреннему свежему льду, размять застывшие члены, подышать вволю чистым морозным воздухом!

– Напрасно, дорогая, напрасно ты лишаешь себя такого удовольствия!.. – выдыхает он, натужно откашливаясь от избытка полезнейшего воздуха.

Мы оба понимаем, что его увещевания – не более, чем дань традиции, у меня и коньков-то нет. Однако мудрые сентенции для того и существуют, чтобы время от времени высказывать их.

– Очень жаль, дорогая. Очень жаль!

Разговор полезен уже тем, что избавляет от необходимости снова ринуться на лед. Можно отдышаться и собраться с силами.

По опыту я знаю, что следующие полтора часа мы так и проведем, как два голубка, рядом на лавке, обмениваясь необременительными и полезными замечаниями.

Прибывающие знакомые вносят свою лепту в беседу и понуждают и далее откладывать выход на лед. Каждый непременно сворачивает в нашу сторону – поприветствовать и перекинуться несколькими вечно свежими и актуальными фразами. Половина нашего города состоит с моим мужем в каком-то особом взаимоприятельном общении. Со мной у них, разумеется, не может быть столь радостного контакта. Я тут человек чужой, языком владею худо, и хотя мне из приличия задаются кой-какие вопросы – о детях, о самочувствии, но ответы выслушиваются рассеянно. Бравый вид Мартина непреложно свидетельствует о том, что в каждое отдельно взятое мгновение он готов вскочить и птицей понестись по кругу. Давно бы уже вскочил и понесся, если бы не дань общению... Да, кстати: нам предстоит еще обсудить, чего недостает к завтрашнему семейному обеду, и зайти на обратном пути в магазин. Если же в приветствиях и разговорах вдруг возникает пауза – если она непредвиденно затягивается, – можно снова ласково попенять:

– Очень жаль, дорогая, очень жаль, что ты не хочешь к нам присоединиться...

Он знает, что я не великий мастер конькобежного спорта. Хотя, как ни странно, свои юные лета – юные свои зимы – провела на катке. Все девочки после школы отправлялись на каток. А куда еще нам было отправляться? Подозреваю, что мои подружки и вправду обожали коньками резать звонкий лед, хотя наши вылазки не стоит путать с веселыми катаниями начала века, столь сочно и красочно описанными в русской литературе. Я всегда двигалась последней – дрожа от холода и страшась неизбежной встречи с районными хулиганами, не забывавшими подставить девчонкам вообще, а мне в особенности, коварную подножку. Или слегка смазать коньком по ноге. Но как тот цыган, что бесславно удавился за компанию, я тащилась за одноклассницами. Покорно ковыляла навстречу судьбе, не смея отстать от более ладных и смелых подруг. «Ну как же! – как можно! – фыркала мама, – отстать от драгоценных подруг!»

Каток у нас, надо признать, был первоклассный, нисколько не хуже здешнего – правда, появляться на нем таким, как мы, запрещалось, он предназначался исключительно для соревнований и тренировок настоящих разрядников, но мы проникали: ныряли в дырку в заборе или проскальзывали под носом у ленивого сторожа – портить зеркально гладкий чемпионский лед.

Коньки всегда были тупые, поскольку приходилось шагать в них (шкандыбать, по выражению мамы) по посыпанным солью и песком тротуарам. Ни о каких переодеваниях не могло быть и речи – попробуй-ка оставь на снегу пальто или ботинки, не успеешь оглянуться, как им «приделают ножки!» Обратная дорога была не столь уж дальней – перелезть через забор, пересечь трамвайную линию, миновать школу и два жилых дома, – но как же я успевала

задрогнуть и промерзнуть в своей фуфайке! Собственно, это была не фуфайка, а серенький немецкий свитерок («трофейный», как тогда говорили, – отец привез его «с фронта», то есть из поверженной уже Германии).

На катке не бывает холодно, но уже через минуту по выходе тело обращается в бесчувственную ледышку. Тот, кто не оттаивал в тепле с мороза, не знает, что такое боль. Я подставляла руки под струю холодной воды, казавшейся кипятком, терла ноги, тряслась и скулила, но назавтра снова, как обреченная – как приговоренная к этой муке, – проделывала тот же путь. Впрочем, не один только страх быть покинутой и отверженной гнал меня, была еще одна причина, чрезвычайно важная: коньки. Сколько я о них мечтала! Сколько ночей они мне снились – сверкающие стальные ножи, на которых можно птицей летать по льду!..

У всех девочек во дворе и в школе были коньки, только у меня их почему-то не было. И вот, когда я уже смирилась, уверилась, что мне не суждено их иметь, отец вдруг принес «хоккеи» (существовали еще фигурные и «норвеги», но не для таких неуклюжих девочек, как я). Всю ночь я не спала и все утро потом разглядывала свою ногу в новеньком крепком ботинке! Мне представлялось, что теперь я стану такой же сильной, высокой и ловкой, как самые выдающиеся мои одноклассницы, как Ира Каверина и Таня Громова. Как же после этого не ходить на каток? Да хоть бы пришлось замерзнуть там насмерть!..

– О, вы уже тут! – восклицает фру Брандберг. – Ах, вы всегда приходите первыми! – Ее радует, что мы уже тут и что мы всегда приходим первыми.

Не исключено, что она добрая женщина. Осведомившись о моем здоровье, она вгрызается в Мартина. Неисчислимо число тем – наши дети, внуки Мартина, ее внуки, дети и внуки вообще, погода, а теперь и наступившие каникулы, обязывающие к каким-то особым волнениям, покупкам и поездкам.

Я не сильна в местном языке, но так как одни и те же фразы повторяются от знакомого к знакомому – не успеваешь один съехать на лед, как возле нашей стоянки тут же возникает следующий, – то в конце концов и я успеваю составить достаточно верное представление о злобе дня. Здесь все одинаково друг с другом любезны, но не трудно заметить, что ни к кому люди не обращаются столь охотно и не устремляются с такими лучезарными лицами, как к моему мужу. У него на редкость общительный, открытый характер.

– Вы будете сегодня у Сивертцев? – интересуется фру Брандберг, особа сухопарая, подтянутая, спортивная, но явно перешагнувшая роковой для женщины сорокадевятiletний возраст. Даже пышная прическа не в силах замаскировать этого факта. Честно говоря, я подозреваю, что фру Брандберг перевалило и за семьдесят.

Досужие языки успели довести до моего сведения – не прямо, но путем прозрачайших намеков, – что между Мартином и фру Брандберг некогда велось нечто больше, чем простые беседы. Я не пыталась уточнить, когда именно имела место эта связь – то ли в ранней юности Мартина, еще до женитьбы на Юханне, то ли уже

в период вдовства. Как бы там ни было, сегодня фру Брандберг гонится в соперницы разве что безносой с косой.

Некоторое время Мартин на паях с супругами Брандберг владел небольшим книжным магазином, но потом уступил им свою долю. Магазин существует и поныне, и фру Брандберг иногда можно увидеть за прилавком – она в меру своих сил помогает сыну. Другой ее сын проживает в Амстердаме и является (эти сведенья у меня, разумеется, также не из первых уст, но от всеведущих общих знакомых) – является владельцем, представьте, некоего крупного увеселительного заведения, включающего в себя ночной клуб, игровой дом и все прочее, необходимое для полноценного отдыха матросов-филиппинцев. Почему именно филиппинцев? У каждого своя жизненная стезя и экологическая ниша. Как выяснилось, филиппинцы любят проводить свой матросский досуг в кругу близких им по крови и культуре, а также приемам борьбы. Так им уютнее. Этот второй сын, с одной стороны, как бы большая печаль фру Брандберг, несмываемое пятно на ее безупречной репутации, хотя, с другой стороны, в его занятиях нет ничего противозаконного. Теперь такие вещи официально дозволены и приносят солидные доходы, какие и не снились высококонраственным владельцам книжных магазинов.

А началось все с того, что мальчик плохо учился, хотя в общем и целом был шустр и сообразителен. Его старший брат учился прекрасно. Никто не мог взять в толк, почему один брат учится так хорошо, а другой так плохо, поскольку в те годы еще не слыхивали о существовании дислексии. Какая малость решает судьбу человека! Теперь-то педагоги отнеслись бы к обиженному судьбой ребенку с осторожностью и сочувствием, предложили бы для него какую-нибудь особую программу, учитывающую дефект развития, но тогда его объявили злостным лентяем, упрямым и тупицей и с позором изгнали из школы. Родители, как видно, тоже не выказали должного понимания, так что шестнадцатилетний Ларс Брандберг, скверный мальчишка, бежал из дому и нанялся вышибалой в подпольный публичный дом. В те годы закон не поощрял подобных занятий. Господин Брандберг-отец, как утверждает молва, вскоре скончался, не вынеся позора. Зато теперь, как утверждает та же молва, младший брат, не получивший даже среднего образования, материально поддерживает старшего, добившегося с годами степени доктора каких-то наук.

Фру Брандберг, разумеется, принята в обществе – она-то в чем виновата? Но приличная публика все же соблюдает некоторую дистанцию – допустим, приспичило вам купить книжку, так ведь не сошелся же свет клином на магазине Брандбергов! В городе есть и другие. Но Ларс Брандберг, судя по всему, долго еще не позволит брату обанкротиться. Если уж судьба сыграла с ним такую подлую шутку и не допустила стать никчемнейшим доктором уважаемых наук, так пусть не пострадавший от дислексии брат помучается хотя бы с этим дурацким магазином. Люди полагают, что магазин нужен, чтобы материально обеспечивать научные изыскания доктора наук. На самом же деле магазин поддерживают, чтобы Ларс Брандберг лучше чувствовал себя в Амстердаме.

Будем ли мы сегодня у Сивертцев? Мартин собирается ответить, но глянув на каток, начинает покатываться от смеха: Лапа скачет между Фредом и Хедом, пытается не отстать от них обоих сразу, каждую секунду меняет направление, преуморительно скользит, путается у всех под ногами, рискуя попасть под чей-нибудь резвый конек. Вот она перекувыркивается в воздухе, проезжает метра три на брюхе и, кое-как затормозив, обнаруживает, что безнадежно упустила дорогих хозяев. Мартин хохочет, указывая на славную сценку. Фру Брандберг согласна: эта собачонка – премилое и презабавное существо.

Действительно, трудно представить себе более ласковое и компанейское создание, да еще с такими чудесными развесистыми рыжими ушами. Однако на льду появляется кое-кто еще, способный не менее Лапы привлечь внимание публики: это наша соседка, двенадцатилетняя Линда Юнсон. Линда с родителями, старшей сестренкой и младшим братиком проживают на четвертом этаже нашего дома, прямо над нами. Только застреха с ласточками разделяет наши окна. Линда выезжает на середину катка и принимается неторопливо кружить, давая зрителям время заметить себя и подтянуться, а затем выполняет несколько простых, но изумительно грациозных упражнений.

В запасе у Линды имеются и настоящие сложные номера. Она – гордость нашего катка и всего нашего района. Удивительно все-таки, как такая изящная фигурка может сочетаться со столь простеньким, бесцветным и костистым личиком, напрочь лишенным всякой девичьей миловидности. Может, с годами это как-то исправится? Линда выполняет все более сложные фигуры и все более уверенно. Зрители с восторгом, хотя и не без зависти, наблюдают за ней.

Мартин неожиданно подымается и покидает нас с фру Брандберг, – правда, в последнюю секунду он спохватывается и успевает пробормотать: «Извини, дорогая». Он движется в центр круга. Линда еще не видит дядю Мартина, головка ее запрокинута в небо, коньки завиваются серебряным серпантинном, коротенькое платьице переливается всеми цветами радуги. Мартин лихо подкатывает, ребячья стена невольно раздвигается, и он оказывается под самым носом у несколько озадаченной Линды.

В фигуристы он не годится, его наивные попытки соответствовать юной звезде напоминают Лапины выкрутасы. Я замечаю, как страдальчески хмурится Эрик – стыдится дурашливости пожилого отца. Но публика, состоящая из смешливых мальчишек и девочек, благодарна исполнителю. В самом деле, для настоящего веселого праздника здесь не хватало именно румяного клоуна. Малыши с упоением хлопают в ладоши. Трудно себе представить, чтобы на нашем ленинградском катке кто-то вздумал хлопать в ладоши. Усталость, однако, заставляет Мартина покинуть арену. Даже издали заметно, как тяжело он дышит.

– Она чудесная! – сообщает Мартин, плюхаясь на лавку. – Ты заметила, дорогая? Она как пушинка! Мы еще увидим эту девочку на зимней олимпиаде! Я уверен, что она принесет нам медали.

«Кому это – нам?» – хочу я спросить, но удерживаюсь.

Фру Брандберг в третий раз повторяет свой вопрос: будем ли мы вечером у Сивертцев? Конечно, мы будем. Как мы можем не быть, если там будут все?

Мягкий снежок сыплет и сыплет с неба. Я с интересом наблюдаю за тем, как пухлые хлопья ложатся на бетонную плиту под ногами. Однако пора двигаться. То да се, завтрашний семейный обед....

У выхода с катка, сразу же за железными поручнями, мы сталкиваемся с Гансом Стольсиусом. Заметив Мартина – слишком поздно заметив, – поганец пугливо отшатывается, но тут же берет себя в руки и громко и вызывающе шмыгает носом. Невольно отводя при этом взгляд в сторону. На лице у него написано намерение выстоять и пренебречь. Не допустить обсуждений. Но тут происходит нечто странное: Мартин приветливо окликает обидчика. Окликает того самого гадкого недобросовестного типа, с которым только вчера клялся навеки прервать всякие отношения. В приветствии не заметно ни малейшего подвоха – добрый знакомый и коллега привычно осведомляется о сегодняшнем самочувствии господина Стольсиуса.

Насколько я знаю Мартина, он не способен на подобный изыск – ласковыми словами завлечь врага в сети с целью его уничтожения. Я поражена поведением мужа не менее самого Стольсиуса: честный и прямодушный Мартин не может с такой легкостью простить многолетнему партнеру неблагоприятного поступка. Да еще так скоро... Мы оба, хотя и с разными чувствами, смотрим Мартину в лицо – я и господин Стольсиус. Ничего, никаких признаков гнева или волнения – обычное, слегка раздумавшееся от мороза лицо. Неужели... он все позабыл? Странно, чрезвычайно странно.

– Фред, Хед! – зову я, чтобы покончить с этой неловкостью. – Не отставайте, дети! Идите побыстрее.

В конце концов, мне-то что за разница?..

2.

У Сивертцев собирается все книжно-издательское общество нашего города. Традиция – эдакий легкий рождественский бал не только для сотрудников, но и коллег-издателей. Конкуренция конкуренцией, а добрые отношения и определенная координация действий тоже вреда не нанесут. Надо полагать, именно добрые отношения позволяют Сивертцам быть в курсе всех сделок и планов конкурентов. Правда, и те в свою очередь потихоньку вынюхивают конъюнктуру, ну так что ж? Совмещение приятного с взаимовыгодным.

Мартина со стариком Сивертцем связывают отношения столь давние и прочные, что их уже невозможно назвать иначе как дружбой. Кстати, они и родом из одних и тех же мест. Дружить на сегодняшний день им легко и просто, поскольку оба уже не вполне у дел: издательствами фактически управляют сыновья, отцы лишь почетно возглавляют фирму. Мы, конечно, не смеем сравниться

с «Сивертц-эт-Сивертц» – наш оборот раз в десять меньше, однако Эндрю из шкуры вон лезет, чтобы сократить этот разрыв. И надо отдать ему должное – не без успеха. Если бы не его энергия и настойчивость, мы и сегодня довольствовались бы печатаньем приглашений на свадьбы и этикеток к пузырькам с березовым соком. Это Эндрю превратил весьма скромную типографию отца в настоящее солидное издательство. Разумеется, девяносто процентов наших изданий – отнюдь не классика мировой литературы: сборники кулинарных рецептов и инструкции по окрашиванию волос. Деньги, как известно, не пахнут, а уж аромат домашних печений и модной косметики никому не в тягость. Я очень надеюсь, что к тому моменту, когда Эрик окажется способен войти в дело, оно будет процветать.

Зал наполняется гостями, и – ба! знакомые все лица! – и что особо примечательно, совершенно с годами не меняющиеся. Не стареющие. Десять лет я участвую в этих встречах, и десять лет подряд, скользнув по мне праздным взглядом, господа-издатели вдруг смутно припоминают, что где-то тут по соседству позванивает кандалами Железный занавес. Со светской небрежностью и светской же снисходительностью мне задают несколько вопросов: как это мне удалось оттуда вырваться? Неужели это возможно? Но у вас осталась там семья? И что, можно отправлять туда письма, посылки? Доходит корреспонденция?!. Неужели? Я скромно улыбаюсь и отвечаю, что выбраться мне было несложно, поскольку я не представляла ни малейшей ценности для советской власти. Не имела никакой, даже самой ничтожной секретности. Семьи и родственников по себе не оставила. А посылки отправлять можно, но получателю придется заплатить пошлину. Не такую уж сокрушительную. И есть скидки для пенсионеров. Между нами, Занавес не совсем непроницаем, кой-какая торговлишка ведется (сдается мне, даже довольно бойкая) – Советский Союз заинтересован в освоении западных технологий. Не зря же, в конце концов, мне заказывают переводы технических инструкций.

Вопросы не меняются, ответы тоже. Впрочем, разъяснить все до конца про гибкую политику СССР я, как правило, не успеваю: разговор перекидывается на более приятные и занимательные предметы.

Пока Мартин кружит по залу, наслаждаясь взаимными приветствиями с беспрерывно прибывающими знакомыми, я обеспечиваю себя бокалом виноградного сока и усаживаюсь на крутоногий, обитый парчой диванчик. Рядом в креслах организовался женский кружок. Дамы предаются заслуженному отдыху от издательских и домашних дел и делятся соображениями по поводу все более дерзких и успешных пластических операций.

– О, объясните мне! – говорит одна голоском миленькой старшеклассницы. – Зачем же нам плохо выглядеть, если можно выглядеть хорошо? Правда? Кристи, я тебя обожаю! Пускай наши враги выглядят старухами, мы не должны выглядеть старухами!

– Ах, бросьте! – любезно восклицает другая. – Вы еще, слава Богу, и без всяких операций хоть куда!

– Все равно, все равно, я вам скажу, – волнуется третья, – никакие кремы и никакие массажи по результату не сравнятся с удачной операцией!

– Да, – поддерживает четвертая, – я выкидывала тысячи – клянусь, тысячи – на косметичек и всякие новейшие препараты, и все без пользы! А теперь – взгляните! – Она гордо выворачивает тощую шею, пересеченную от уха до уха свежим розовым шрамом.

Собеседницы восхищаются – похоже, что непритворно.

– Ну нет, извините, – возражает следующая, – если вовремя начать принимать гормональные препараты, то они очень и очень сохраняют.

– Да, но не забывайте, что они далеко не так уж безвредны! – парирует сторонница операций.

– Никто еще не доказал!

Многие слушательницы горестно вздыхают – они опоздали принимать гормональные препараты. В их время, то есть в то время, когда они представляли собой прекрасный пол, а не сухеных ящериц, этих препаратов еще не изобрели. Теперь вся надежда на хирургов. Ловкие хирурги обязаны скроить что-нибудь замечательное из их обвислых и дряблых физиономий. Кто знает, до чего еще докатится наука. Новое личико? Пожалуйста: поскромнее – двести тысяч долларов, поинтереснее – двести пятьдесят. Новенькое тельце? Четыреста тысяч! А если мадам желает отдельно – только грудь, например, или зад...

– Нина! Где ты? Нина! – призывает Мартин. – Дорогая, познакомься, пожалуйста, с господином Сандгремом.

Я уже три раза знакомилась с господином Сандгремом – в прошлые рождественские приемы, – издателем самых дешевых и потому, очевидно, самых популярных в стране комиксов и детективов. Ему же принадлежат рекламный шлягер: «А моя книга во мне за полчаса!», одна из ведущих ежедневных газет и еще какой-то, кажется, пятый, телевизионный канал. А начинал господин Сандгрем почти так же, как Мартин – со скучной типографии и дешевеньких брошюр. Эндрю частенько ставит его отцу в пример: вот, не побоялся рискнуть, увидел перспективу и преуспел. Череп у господина Сандгрема похож на верстовой столб, а лоб запросто может заменить противотанковый бруствер.

– О, Мартин, старый мошенник! – восклицает господин Сандгрем, привычно щурясь тонкими белесыми губами. – Так это твоя жена? Ты просто скотина, Мартин! Почему ты нигде ее не показываешь? – Он энергичнейшим образом потряхивает мои руки. – Знаешь, когда я вижу такую женщину, мне хочется написать какое-нибудь хорошее стихотворение! – Что ж, если у человека много денег, он может позволить себе некоторую развязность. Он хохочет, клопочет, он в восторге от себя, крохотные сиреневенькие глазки морщатся в глубине темных глазниц.

Я не обольщаюсь комплиментом. До следующего года господин Сандгрем успеет прочно меня позабыть, и нам обоим вновь представится приятная возможность познакомиться.

Пока мы беседуем, появляются наконец Эндрю с Агнес. Не знаю, принимает ли Агнес волшебные гормональные препараты, но в последнее время она и вправду выглядит как-то свежее. Что не делает ее, однако, более сердечной или вежливой.

– А, вы тут! – бросает она небрежно. – Как дела? – это говорится уже наполовину в сторону – ответы не требуются. – Как дети? Едете куда-нибудь на праздники? А что... – опять забыла, как зовут моего старшего сына. – Этот твой – как его... Дэни! Все еще болтается по свету? Что он там делает?

– Все здоровы, все замечательно, – говорю я, не задавая встречных вопросов, и потихонечку отчаливаю к столу с закусками.

В зал въезжает Натан Эпштейн. Инвалидное кресло толкает не брат милосердия, а один из сотрудников. Эпштейн не издатель, он владелец крупнейшей не только в этом городе, но и во всей стране сети книжных магазинов. Ребенком он побывал в Освенциме, но ноги умудрился потерять позднее – не то в автомобильной, не то в авиакатастрофе. Кажется, он единственный в этом изысканном обществе может позволить себе не тревожиться по поводу своей внешности, не принимать омолаживающих таблеток и не подкрашивать седеющих волос. С высоты инвалидного кресла и более чем солидного капитала можно поплевывать на суету сует.

Хотя нет, имеется еще Паулина. Паулина не придает значения состоянию и внешнему виду своей брэнной плоти по религиозным соображениям. Паулина ревностная христианка и не менее ревностная опекуна советских диссидентов: она гораздо более меня находится в курсе всех российских дел, нарушений прав человека, арестов, посадок, голодовок, демонстраций и петиций. Один из аспектов ее многогранной и неусыпной деятельности – издание запрещенной литературы и ее доставка в Россию. Каждый раз, когда я вижу Паулину, меня начинает мучить совесть за собственную индифферентность, инертность, незаинтересованность в судьбах демократии и равнодушие к участи мучеников. Движимая раскаяньем, я слегка помогаю ей переводами и составлением обращений к мировой общественности. Она, правда, и сама неплохо владеет русским языком, но она не в состоянии все успеть и охватить, потому мое участие приветствуется.

В России Паулина никогда не бывала. Родители вывезли ее из Таллинна, где она появилась на свет, в полугодовалом возрасте. Красная армия вступила в Эстонию 24 ноября 1944 года, а в начале декабря молодая семья, воспользовавшись ночным туманом и не вполне еще отлаженной системой береговой охраны, на утлой рыбацкой лодке пересекла Балтийское море. Нет, они плыли не в предательские Хельсинки – в свободный Стокгольм! Свыше четырехсот километров по бурному зимнему морю и, надо понимать, без особых навигационных приборов. Чудеса на свете случаются. Правда, отцу Паулины недолго пришлось наслаждаться свободой, спустя пару лет он то ли погиб при странных обстоятельствах, то ли скончался от какого-то таинственного заболевания.

Паулина с матерью (отец был эстонец, а мать русская) перебрались в этот городок и долго жили тишайшим образом – до тех

самых пор, как советским властям вздумалось выслать Александра Солженицына. Этот акт политического произвола перевернул чуткую душу Паулины (с сочинениями Солженицына она познакомилась у себя в библиотеке, где так много книг и почти не бывает читателей). Начав с «Ивана Денисовича», она с головой окунулась во все прочие российские горести, стала яростным непримиримым борцом с тоталитаризмом и даже умудрилась вовлечь в свою деятельность старушку-мать (скончавшуюся три года назад).

В обществе, насколько я успела заметить, Паулину считают чужеземкой и чудачкой и не слишком поддерживают ее благородные порывы. То есть абсолютно не поддерживают, а напротив, воспринимают как вздорные и отчасти даже опасные. В этой стране, при всей ее горделивой политической и гражданской терпимости, существует мнение, что восточного соседа не следует задевать по пустякам – подумаешь, выслали Солженицына! Ему же и лучше, пусть скажет спасибо. И вообще, что – кроме травли советских диссидентов в мире уже нет несправедливостей и притеснений?.. Скажите на милость! А та же демократичнейшая Англия не гноит в тюрьмах ирландских борцов за свободу? Не подстреливает их, как зайцев, при каждом удобном случае? Не говоря уж про басков, курдов и аргентинских коммунистов. Но и порицать бедняжку открыто никто не решается – что делать, такая набожная и такая некрасивая... И к тому же русская.

– А, Нина!.. – наталкивается на меня фру Брандберг. – Скажите: у вас осталась в России семья?

Мы с ней встречаемся регулярно на протяжении всего года – то в магазине, то в издательстве, иногда даже у нас дома, сегодня утром, например, виделись на катке, – но почему-то только в этом рождественском собрании она удосуживается поинтересоваться моей семьей. Между бокалом легкого белого вина и порцией заливной рыбы в ней вдруг пробуждается интерес к моей покинутой родине.

– Как – вообще никого-никого?! – ужасается она в десятый раз. – Что вы говорите!..

Паулина между тем обходит гостей – нечто вроде подписного листа: сбор пожертвований на преследуемых русских интеллектуалов. Нет, денег она, разумеется, ни с кого не берет, это лишь подготовительная стадия, эдакий невинный психологический захват – на званом вечере, да еще в стремлении поскорее от нее отделаться, человек не удержится и что-нибудь пообещает. А потом уж неловко станет отступать – придется раскошелиться на дурацких неумных русских.

Не могу сказать, чтобы мы как-то особенно близко сошлись за эти десять лет, но некое взаимное участие, что ли, заставляет нас общаться. Обычно я забегаю к ней в библиотеку – заодно можно разжиться какой-нибудь книжкой или порыться в каталогах новых изданий. Живет Паулина далеко, на противоположном конце города – между прочим, когда я впервые попала туда, квартира поразила меня своей величавой добротностью. Я не решилась спросить: это что же, социальные службы в этой стране предоставляют

бедным вдовам с младенцами такие апартаменты? Не может быть, чтобы скромная библиотекарша могла позволить себе приобрести или снимать столь роскошное жилье.

Теперь, по вселении Пятиведерникова, я стараюсь бывать у нее пореже, но мы по-прежнему общаемся в библиотеке. Пятиведерников явился неизбежным производным от христианского милосердия и трепетной поддержки русских диссидентов. Рано или поздно в ее жизни должен был возникнуть тот или иной Пятиведерников – одинокая и к тому же беспредельно наивная женщина обязана была пасть жертвой своих добродетелей. У меня есть Мартин, наши мальчики, Денис, Люба, даже Эндрю, – а у Паулины на всем белом свете нет никого.

Не знаю, обращали ли когда-нибудь критики и ценители великого писателя внимание на то, что Варвара Алексеевна Доброселова снабжена хоть и покойными, но все же родителями: бедной матушкой и шлимазлом батюшкой, – подлой и коварной, но все же родственной Анной Федоровной. Что же до Макара Алексеевича Девушкина, то тот так и соткался из тлетворного петербургского воздуха, никогда не имевши не только плотских родителей, но даже и захудалого какого-нибудь дядюшки.

Пятиведерников сел в семнадцать лет за убийство. Что это было за убийство, я не знаю и не интересуюсь, но скорее всего, не старухи-процентщицы. Очутившись же в лагере, он по некоторому наитию или влечению природы (но, может, отчасти и по расчету) сошелся не с братьями-уголовниками, а с диссидентами и полностью включился в их лагерную борьбу за предоставление свиданий и прочие нарушаемые властями права. В тридцать два года он кончил срок – без профессии, без высшего и, кажется, даже без законченного среднего образования, зато с четко сформировавшимся мировоззрением, которое побудило его не удовольствоваться относительной свободой «большой зоны», а взыскать полного раскрепощения. Он покинул пределы СССР по израильской визе (организованной ему друзьями-диссидентами, как известно, в большинстве своем евреями) и очутился в транзитном пункте под Римом. Ни одна свободная страна не пожелала видеть понесшего наказание убийцу своим гражданином. Оставшись без всяких средств к существованию, без опеки каких-либо благотворительных организаций и без малейшей надежды на перемены к лучшему, он готов был ехать даже в малопривлекательный Израиль, но и Израиль вывернулся у него из-под ног, объявив, что виза его просрочена, а поскольку евреем он не является, то и под действие Закона о возвращении не подпадает.

«Не понимаю, – писал он друзьям в Иерусалим (в ответ на их шуточный отчет о предпринятом в новой местности и не вполне удавшемся турпоходе), у вас там какие-то блажные кибуцники запускают празднующихся приезжих к себе в столовую и потчуют среди ночи курами? Только потому, что те изволили заблудиться? Милая детская мечта! Я тут совершенно непредумышленно пересек угол чьего-то поместья (не огороженного, к тому же!), так на меня спустили собак и едва не пристрелили для острастки. Красиво эти

итальяшки выглядят только в кино, но кино, как вы, верно, догадываетесь, я не посещаю. Следующей зимы мне не пережить – прошлую провел, в основном, под мостом – ничейный гражданин, коему не положено от просвещенного человечества даже таблетки аспирина. Перенес воспаление легких, а почему не сдох, не знаю».

Письмо было размножено, разослано с припиской «SOS!» по всем возможным адресам (подозреваю, что не столько само бедственное положение Пятиведерникова ужаснуло эмигрантскую общественность, сколько мысль о позорном разоблачении преимуществ избранного ими западного образа жизни). Неисповедимыми, но тонко продуманными путями попало оно в руки невиннейшей Паулины. Испытав все прочие способы спасения гибнущего в Италии русского диссидента и убедившись в преступной государственной косности и людской черствости, она решилась на крайнее, зато верное средство – поехала в Рим и обвенчалась с Пятиведерниковым по православному обряду.

Бросив таким образом вызов бессердечному миру, она на вполне уже законном основании ввезла молодого мужа в страну и поселила у себя в квартире.

Не думаю, чтобы тридцатичетырехлетняя Паулина питала какие-то тайные надежды – благочестивая стыдливость давно заставила ее смириться со своей участью старой девы. Мечтать, что спасенный проникнется к спасительнице нежными чувствами, она бы не посмела. Но, без сомнения, в бедной своей отверженной душе она выстроила сладостную модель дружеского совместного подвига, общей плодотворной борьбы и интеллектуального взаимопонимания. Предполагалось, что Пятиведерников станет ближайшим соратником и единомышленником. Он же стал единственно тем, чем мог и должен был стать: тяжким ее крестом. После всего пережитого он и помыслить не мог о какой-то полезной деятельности. Утомленный и разбитый всей своей предыдущей жизнью, успевший в лагере смертно возненавидеть советскую власть, а в Риме не менее ярко зловонную западную демократию, он жаждал только одного – отдохновения, полного и никем не нарушаемого покоя! «Приди, о Лень! приди в мою пустыню...»

Я побывала у Паулины после ее замужества (фиктивного, разумеется). Пятиведерников в полуодетом и каком-то немыто-нечесаном виде валялся в гостиной на диване, а вокруг по всей комнате в разбросанном состоянии пребывали его же носки, бумаги, газеты (которые Паулина специально выписывала из Москвы и Парижа), вывернутые наизнанку штанины и грязные тарелки. Мое вторжение в уже обжитой им мирок он воспринял хмуро, позы не переменил, а на предложение жены познакомиться, буркнул себе под нос нечто не вполне разборчивое и, кажется, даже не вполне приличное. Но когда я уходила, вдруг вскочил, прошлепал по паркету босыми ногами и протянул мне руку. Я пожалала ее, но постаралась намекнуть ему, что я не Паулина. Он криво усмехнулся и плюхнулся обратно на диван.

Временами моя приятельница не выдерживает и со слезами на глазах жалуется (кому, кроме меня, она может пожаловаться?),

что Пятиведерников совершенно изгадил и изуродовал ее жизнь, что он не просто бездельник, но злостный гнусный паразит и кровопийца, что он не моется, не соблюдает элементарных приличий, требует от нее денег и в нетрезвом состоянии угрожает вышибить из нее мозги. Развод в этой стране – дело чрезвычайно сложное и дорогостоящее, а кроме того, Пятиведерников выведает, что фиктивный брак уголовно наказуем, и шантажирует свою непорочную супругу угрозой разоблачения.

– Вы не представляете, какие слова я от него слышу! – шепчет Паулина, бледнея от стыда, и грустно качает преждевременно седеющей головой.

Чем я могу помочь ей?..

– Не уходите еще? – интересуется Агнес, отряхивая с губ крошки песочного пирожного – не вполне дожеванного, – чем предумышленно усугубляет торопливо-пренебрежительный тон. – Что ж... Мы пошли. Ничего такого, чтобы стоило... Не могу представить, как люди часами оставляют детей с бэбиситером! Я никогда ни минуты не бываю спокойна. Ах да, мы, кажется, завтра у вас обедаем?

Похоже, что так...

Мы еще не уходим, поскольку в эту минуту Мартин удостоился беседы с одним из тузов издательского дела Куртом Бетбергом. Самые великолепные рекламные журналы, обожаемые женщинами не только нашей страны, но всего континента, выходят из типографий Бетберга: бумага самого высшего качества, самые модные модельеры и модельерши с помощью самых искусных фотографов демонстрируют все самое-самое желанное – от кругосветных путешествий и собственных яхт до изысканного цветочного вазона на тесном городском балкончике. Краем уха я улавливаю: Бетберг повествует о своей последней поездке в Австралию. Мартин одобрительно хохочет. Не исключено, что это в самом деле была премилая поездка. Обставленная, разумеется, тысячью предосторожностей. Курт Бетберг отчаянно трусит всего на свете, носит себя как хрупкую вазу, как сосуд, наполненный драгоценным бальзамом. Маленький невзрачный человечек с птичьим личиком, он не пьет, не курит, разумеется, ничем не злоупотребляет, даже лекарствами, поскольку и лекарства могут отрицательно сказаться на здоровье. Он обладатель удивительной памяти. Он помнит наименования всех книг, вообще всех печатных изданий, когда-либо выпущенных в свет нашей цивилизацией. Он может безошибочно назвать год и место, тираж, автора, переводчика, редактора, порядковый номер издания, и при этом, утверждает молва, он в жизни не прочел ни единой строчки ни одного из сочинений – его интересуют выходные данные и только. Безупречный всемирный книжный каталог. Способствует ли это его жизненному успеху? Во всяком случае, не вредит.

Как у всякого человека, у Бетберга имеются слабости. Он, например, рисует. Птичек. Птички получаются длинноклювые – похожие на автора, – и всегда любопытно-ошарашенные. Бетберг

выпускает свои рисунки в виде альбомов. При его капиталах он может позволить себе такую невинную блажь – дарить друзьям и знакомым авторские альбомы. Впрочем, я не уверена, что у него есть друзья. Знакомых множество.

Вторая слабость господина Бетберга – дородные негритянки. Рассказывают, что на одной из них он был женат. Девушка явилась на туманный север в качестве студентки местного университета. В отличие от большинства проникающих в страну чернокожих, ее привел сюда не поиск заработка, а жажда познания – ужасно хотелось повидать заморские края. В собственном своем государстве она ни в чем не нуждалась, поскольку была одной из дочерей местного правителя: коммуниста и миллионера. Бетберг женился на ней и, упоенный страстью, даже провел пару месяцев у нее на родине – бросая безумный вызов судьбе и отчаянно рискуя своей ценнейшей головой в диком мире крокодилов и марксистов. Произведя на свет двоих детей – мальчика и девочку, супруга Бетберга сделалась каким-то министром, кажется просвещения, а потом испарилась вместе с папашей и всем безжалостно низвергнутым режимом. Бетберг вернулся к изданию иллюстрированных журналов. Его дети, получающие теперь образование в Англии, периодически навещают его, я сама два или три раза их видела, так что история с женой-негритянкой, скорее всего, правда.

– Знаете, я решил выстроить дом на Таллийском побережье! – сообщает Бетберг. – Следующей весной он будет готов. И вы непременно окажетесь в числе моих гостей – да, я решил пригласить к себе всех хороших людей. На все лето! Багамские острова мне осточертели. Я поклялся прожить целое лето в глуши, в собственном доме, в кругу близких мне людей!

Мартин благодарит за приглашение и за то, что господин Бетберг включает нас в число хороших и близких людей. Впрочем, зал с каждой минутой пустеет, разговоры и смех становятся излишне отчетливыми.

Я случайно оказываюсь перед инвалидным креслом Натана Эпштейна. Он подымает на меня взгляд и как будто пытается припомнить, кто я такая. У него большие продолговатые карие глаза, крупный нос и нежный, изящно очерченный рот. Мною вдруг овладевает нелепейшее рождественское желание сделать шаг в его сторону и сказать: «Моих бабушку и дедушку убили в Несвижском гетто. А я, представьте, даже не знаю их имен. Не знаю, как звали моих бабушку и дедушку! Никто не догадался назвать мне их имена...»

Так оно и было – в маминих рассказах, скупых и редких, они фигурировали просто как «мама» и «папа». Упоминались еще какие-то тетя Соня и тетя Роза, их дети и внуки, я выслушивала все, чем ей вдруг хотелось поделиться, но вопросов не задавала. На дедушкино имя слегка намекало мамино отчество: Николаевна, но по-настоящему деда звали, конечно, не Николаем, может, тоже Натаном, как Эпштейн, а может, и как-то иначе, евреи по велению эпохи русифицировали свои имена. Нельзя сказать, чтобы мама отрекалась от своего еврейства, но, мягко выражаясь, не особенно его афишировала. Что вполне понятно по тем временам. «Мне

горько, мне ужасно горько теперь, что я не знаю их имен!» – могла бы я признаться Эпштейну.

Но я, разумеется, удерживаюсь.

Собственно, и об отцовских родителях я знаю не так уж много. Хотя эту бабушку, бабу Нюру, отцовскую мать, застала в живых. Пару раз она приезжала к нам в Ленинград. Баба Нюра поразила меня тем, что никогда не снимала с головы белого платочка, ни днем ни ночью, а выходя на улицу теплый серый платок повязывала поверх этого тонкого. Раз она похвасталась, что старики у них на селе хранят книгу: передают от отца к сыну и никому чужому не показывают. «Какую книгу?» – спросила я. – «Где все описано – от древнейших времен», – сообщила баба Нюра торжественно. Я не поверила. А если, допустим, и описано – наверняка какие-нибудь глупости, невежественные выдумки. Что я, не знаю: настоящие важные книги хранятся в библиотеках. В государственных фондах. А у них на селе старички от своей безграмотности и пережитков феодализма насочиняли какую-то чепуху. Поэтому и показывать стесняются – догадываются, чего она стоит, их книга!..

Все кануло в Лету. Не в Лету – в океан всеобщей глупости, усталости и страха. Теперь уже не у кого спрашивать... Как называлось село? Кажется, Старостино. Да, точно – Старостино.

Я позволяю себе слегка улыбнуться Эпштейну – все-таки самую капельку мы знакомы – и отступаю в сторону. Но маленький паучок, хитренький ткач, успевает прошмыгнуть между нами – так мне почему-то кажется, – протянуть серебряную ниточку невнятной симпатии. «Лезет в голову всякая чушь,» – сказала бы мама.

Вечер окончен. Спускаясь по широким блистающим ступеням к лифту, я продолжаю думать об Эпштейне, о нелепой аварии, лишившей его ног, о Паулине, о русских диссидентах, а также о том, что Люба не станет на меня сердиться, простит невольное отступничество от родства – не пускаться же, в самом деле, в сбивчивые объяснения перед фру Брандберг, и без того обремененной убыточным книжным магазином и неприличным сыном в Амстердаме...

Лифт уполз под самым нашим носом и не возвращается. Застрял на пятом этаже. Видно, кто-то держит дверцу.

Забавно: злосчастное письмо Пятиведерникова (вернее, одна из его копий с грифом SOS), роковым образом изменившее судьбу Паулины, попало мне на глаза задолго до того, как я познакомилась с ними обоими. Невозможно знать, чему ты станешь причастен. Иерусалим, окраина Иудейской пустыни, беленький, только что выстроенный район Неве-Яков (в произношении русской братии – Ново-Яков), битком набитый соседский «салон», дружная компания дружно покинувших бывшую родину антисоветчиков и диссидентов обсуждает нескладную ситуацию: Пятиведерников терпит бедствие в роскошном Риме! И поэт еще жив и обсуждает вместе со всеми. Помнится, сошлись во мнении, что Пятиведерников дурак, год назад мог благополучно прибыть в Израиль, и ведь как его убеждали!, как заклинали со всех сторон!, зациклился на Америке!.. Что делать?

Теперь ничего нельзя поделаться... Остался ли еще кто-нибудь там, в Неве-Яакове? Из всей могучей, блестящей кучки? Израиль не мог осознать, каких людей ему подкинула судьба. Кого-то оценила «Свобода», кого-то «Би-би-си», а кто-то... Кто-то призван... Сторонник раби Кахане актер Игорь Бутельман, уже превратившийся было в Израэля Бутели, пять лет спустя пристроился в какой-то театрик в Австралии. Не удержала омытая божественным светом арабская деревня Хизма русскую интеллигенцию. Русская интеллигенция любит нынче другими пейзажами... Говорят, холм, на котором воздвигнута Хизма, скрывает в себе библейский Бет-Азамот, в котором во времена Понтия Пилата изготовлялась самая-самая кошерная посуда. Вот какие сведенья. Действительно, валялись какие-то черепки. Может, и древние. «В гранит закованной Неве – прибавил новый груз оков – по ускользящему мне – Неве-невнятный-Яаков!» – и такое сочинялось у подножья Бет-Азамота.

Что бы было, если бы Пятиведерников послушался друзей и явился в Израиль? Получил бы однокомнатную квартирку, если не в нашем, то в каком-нибудь ближайшем доме? Залег безвылазно на подобранном на помойке диване? Ходил бы пить водку к Бутельману-Бутели? Подбирал и склеивал черепки? Наблюдал полет ястребов над белым покровом пустыни? Возмущался действиями Сохнута? Швырял камни в бледно-желтых собак, растревоженных вторжением российской речи?

Лифт наконец приползает – набитый до отказа пухлыми гигантскими мешками с оставшимся от празднества мусором. Одноразовые стаканчики цветными пупырышками выпирают под прозрачной шкуркой голубоватого полиэтилена. Мартин хмурится. Можно подумать, что в этом здании нет грузового лифта! Конечно, есть, но какой-нибудь ленивый грек или турок, впущенный в страну следить за чистотой и аккуратностью, не пожелал далеко тащиться. Зато мы, слава Богу, пока не инвалиды и можем спуститься по блистающей лестнице собственными ногами. Тем более, что не так уж и высоко.

– Дорогая, ты видишь? – Мартин подхватывает меня под руку. – Северное сияние!

Я не вижу. Верчу головой во все стороны и не вижу ничего такого, что бы хоть как-то могло сойти за сияние. Пусть даже такое слабенькое, какое иногда случалось у нас в Ленинграде.

– Где? – спрашиваю я.

– Да вот же! Вот!

Нет, ничего не вижу, кроме переливов многометровых реклам. Наверно, именно эти отсветы Мартин и принял за любимое сияние. Но не стоит разуберять его. Мартин родился на противоположном конце этой вытянутой вдоль меридиана страны, почти у самого Полярного круга, где небесные сияния полыхают чуть не каждый день. Почему бы нам не съездить туда? Анна-Кристина, его сестра, теперь осталась совсем одна – после смерти матери. Один раз я у них побывала. Мартин счел своим долгом представить матери и сестре новую жену. Сестра вековала в старых девах, я не интересовалась причиной. А мать сумела пережить двух

сыновей и скончалась совсем недавно – на девяносто пятом году. Мальчикам, я думаю, понравилось бы съездить к Полярному кругу. Почему бы, собственно, не отправиться прямо сейчас, в эти каникулы? Лучше, чем каждый день посещать муниципальный каток.

– Да, дорогая, конечно! Обязательно, – обещает Мартин. – Только не теперь, – добавляет он несколько смущенно. – Необходимо утрясти кой-какие дела. Ты знаешь: северное сияние на Рождество – это к счастью. К приятным известиям! К удачному году! – в приливе нежности он обнимает меня за плечи, закутанные в шелковистую шубку из искусственной норки.

Искусственной не из-за того, что у нас нет денег, и не потому, что их жалко, а потому, что жалко настоящих норок. Но денег, возможно, тоже.

– Непременно, дорогая, поедем, как только все уладится...

Мы усаживаемся в свой роскошный, отливающий темно-синим металликом лимузин. Паулина в эту же самую минуту отъезжает на потрепанном желтушном «саабчике». Мартин любезно уступает ей дорогу. Вообще-то наша машина тоже не последнего года выпуска, но она очень-очень внушительная и практически новехонькая – мы редко ею пользуемся. Мартин обычно ходит в издательство пешком, разумеется, не потому, что экономит бензин, – пешие прогулки полезны для здоровья и вообще приятны.

Автоматические ворота раздвигаются, мы въезжаем на свою стоянку, Мартин аккуратно заводит машину на обычное место, прижимает бампером к бетонному парапету и придерживает дверцу, помогая мне выйти. Три десятка шагов по гулким плитам, и мы в лифте. Наконец-то. Тихая полночь. День окончен. Мы оба устали – два запоздалых путника...

Один мой ленинградский приятель, служивший в очень-очень секретных войсках за Полярным кругом, рассказывал, что у них в части два грузовика столкнулись лоб в лоб на льду Северного Ледовитого океана. Безбрежного и абсолютного пустого Ледовитого океана! Мы с Мартином столкнулись на Иерусалимской книжной ярмарке.

– Да, дорогая... Обязательно... – Он вздыхает, прижимает мою голову к своей груди и целует меня в макушку.

3

Эндрю с Агнес будут к обеду. Нужно придать некоторый блеск жилищу, накрыть на стол, главное, не забыть сварить овощи...

Между прочим, если не ошибаюсь, за все десять лет они приглашали нас к себе трижды: первый раз, когда мы с Мартином только поженились, второй – вскоре после первого, так, в числе нескольких друзей дома (детей у них тогда еще не было и Агнес еще не бросила своих занятий живописью), и наконец четыре года назад на новоселье, которое было отмечено почему-то лишь сладким столом. Гостей оказалось человек пятьдесят, если не семьдесят, так что преувеличением было бы назвать этот случай обедом в

кругу семьи. Зато они навещают нас и в праздник, и в будни, по любому поводу и без повода, заглядывают, когда только вздумается.

То есть, я, конечно, ничего не имею против – нормально, даже прекрасно, что сын не забывает отца. Но почему бы и отцу хотя бы изредка не удостоиться пообедать у сына? Впрочем, я это так, для отвода чувств – что я там у них забыла? Лишний раз любоваться гусиной физиономией Агнес?

В прежней квартире все стены у нее были увешаны картинами собственного производства – эдакий незатейливый модерн на скорую руку, смесь базарного примитива и журнального китча. Но в новом доме из всей коллекции задержалась лишь парочка малых полотен, да и то в уголках потемнее. Осознала, видимо, что она не Пиросманишвили и не Кандинский. Не сомневаюсь, что кроме насмешек ей это самовыражение ничего не стяжало. Все-таки к Эндрю как к издателю случается наведываться и профессиональным художникам – может, и сами не великие Ван-Дейки, но кое в чем все-таки разбираются.

– Дорогая, мы уходим, мы идем на каток! – объявляет Мартин, заглядывая из коридора – голова в задорной спортивной шапочке.

Идите, идите, мои милые, не стану удерживать, на каток так на каток, по крайней мере, в ближайшие полтора часа в квартире будет тихо. Хотя сомневаюсь, что сегодня удастся кататься – погода совсем раскислилась, за окном прочный серенький сумрак, вместо вчерашнего снежка с неба сыплет насморочный дождик.

Не успеваю я поставить кастрюлю на плиту, как звонит телефон – Паулина. Ей очень, очень неудобно, но больше не к кому обратиться и не с кем посоветоваться: Пятиведерников вчера явился домой среди ночи – абсолютно пьяный. В стельку. «Что ж, – думаю я, – неудивительно. Надо сидеть с мужем дома, а не таскаться по званым вечерам. Или, по крайней мере, брать его с собой». Да, абсолютно в стельку пьяный! Он в последнее время пристрастился посещать сомнительные заведения. «Чего и следовало ожидать, – мысленно комментирую я. – А что, если пристроить его в Амстердаме? В помощники к Ларсу Брандбергу? Неплохая идея. Мартин может составить протекцию...»

– Представьте, упал на лестнице и принялся распевать русские песни! Перебудил всех соседей и поскандалил с господином Бэнсоном.

«Довольно-таки некстати он проделал это именно нынешней ночью! – вздыхаю я потихоньку. – Мог бы распевать русские песни завтра. Или послезавтра. Нет, непременно сейчас, когда нет ни минутки времени!..» Но не выслушать Паулину невозможно.

– И это еще не все! – она задыхается от переживаний и еле сдерживаемых рыданий. В ее скромненькой жизни это большое происшествие. – Представьте, когда я его буквально силой ввела... втащила в квартиру...

Русские песни! В Амстердаме это может оказаться истинная находка! Хотя, с другой стороны, они ведь не европейцы – они филиппинцы... Филиппинцы вряд ли проникнутся... Но может, не к филиппинцам, может, к кому-нибудь другому? Цыганский погребок,

например... Невозможно знать, где вектор судьбы. Вообще-то, матросский фольклор должен быть интернационален...

– Кстати, Нина, простите, что это значит: целка? Мне кажется, я не встречала такого слова...

К счастью, она не в силах дожидаться моих разъяснений.– Взял, представьте, половую щетку, навесил на нее свои грязные брюки, насквозь мокрые, сплошь в какой-то гадости, поверх них, прошу прощения, нацепил исподние... Как правильно сказать: исподние или исподнее? И, представьте, выставил этот стяг в форточку! – голос ее то волнообразно нарастает, то вовсе пресекается. – И как раз в том окне, что на улице!

Она, конечно, не могла этого предвидеть, тем более, пресечь – кто бы мог предположить подобную выходку? Утром явился полицейский и вручил ей квитанцию на штраф – за нарушение соседского покоя, а также за недозволенные обвешивания городского здания неприличными предметами интимного гардероба.

Я слушаю жалобы Паулины, и перед глазами моими проступает угол улицы Пророка Самуила – Шмуэль ха-нави. Солнечная картинка: вплотную к каменной грязной стене – невозбранно, непорочно – полощется бельишко. Серая веревка не слишком туго натянута на уровне первого этажа. Большие семьи, тесные квартир-ки, вечная стирка. Вечный град Ерушалаим!.. Прожаренные веками камни и скверно отбеленные подштанники. Детские распашоночки, женские трусики и в большом, большом количестве мужские кальсоны. А что? Что такое? Разве человек не нуждается в кальсонах? Особенно в зимнее, опасное простудами время. Что тут зазорного? Висят, проглаживаются золотыми лучами солнца. Прохожие идут себе, задевают иногда плечом подкинутую ветерком штанину и абсолютно не смущаются...

Меня, человека дальнего, удивила не трогательная простота нравов, а то, что никто не посягнул стащить ни полотенце, ни хорошую еще байковую рубаху. У нас в Ленинграде такие вещи, надо полагать, не успели бы просохнуть – там ловкие люди не пренебрегали даже последним дырявым носком...

– И без всякой совести продолжает теперь спать! – всхлипывает в трубке Паулина.

– Не вздумайте только уплатить этот штраф! – вставляю я мудрое наставление. Трубка прижата плечом к уху: чищу морковь. – Пусть сам расхлебывает свои безобразия!

– Вы смеетесь? – возражает она обиженно. – Чем же он может расхлебывать? Вы же знаете, у него ни копейки денег!

– Да? А на что же он, извините, пьет?

Вопрос мой ее несколько озадачивает.

– Не знаю... Возможно, какой-нибудь мерзавец его угостил.

Угостил!.. Как бы не так! На твои же денежки таскается по кабакам и по бабам.

– Пускай выпутывается, как знает. Паулина, вы не должны в этом участвовать.

– О, я представляю, как он будет выпутываться! Он просто не заплатит!

– Тем лучше. Тогда его арестуют.
– Вы шутите?! – ужасается Паулина.
– Почему же?
– Вы хотите, чтобы завтра весь мир кричал, что у нас в стране арестовали русского диссидента?

– Паулина! Он давно никакой ни диссидент, и всему миру на него начхать.

Нет, нет, она не готова к такому вульгарному способу разрешения своих ужасных затруднений.

– Он озлобится еще больше...

– Поймите, если вы заплатите один раз, этому не будет конца. Он вам каждую ночь начнет устраивать представления.

– Да, но я не могу сделать так, как вы советуете, – страдает она. – Хотя понимаю, что в ваших словах много правды.

– А на каком это языке он изволил скандалить с господином Бэнсоном? – пытаюсь я пошутить.

– Не знаю, не помню, – отвечает Паулина сокрушенно. – Наверно, на русском. Нет, вы, пожалуйста, не думайте – когда ему нужно, он прекрасно умеет объясниться. В конце концов, он уже семь лет в стране.

– Он не в стране, Паулина, он у вас на диване! – зачем-то дразню я несчастную. – Вы должны взять эту самую щетку и гнать его взащей. – Все же не просто одновременно крошить лучок, утирать набегающие слезы да еще беседовать по телефону. – Пускай устраивается на работу. Здоровенный наглый бугай! Вы тратите на него свои последние деньги. Не умеет ничего лучшего, пусть идет моет вагоны! Там никакого языка не требуется.

– Но почему же – не может? – вступается Паулина за своего мучителя. – Он, в сущности, очень способный человек. Вполне прилично выучил итальянский язык, хотя там никто от него этого не требовал. Вы знаете, он до сих пор читает по-итальянски!

– Что же он читает? «Божественную комедию»?

Пусть поступает, как хочет. Некогда мне с ней препираться, да и незачем. И потом, кто знает, кто ведает?.. Что останется в ее бедной жизни, если вдруг исчезнет паршивец Пятиведерников со всеми своими безобразиями?

Некоторое время она молчит, собираясь с духом, но потом все же решается изложить свой план:

– Нина, простите меня, ради Бога, я знаю, что требую лишнего, но я уже пробовала со всех сторон, может быть... Может, вы согласитесь переговорить с ним? Мне кажется, он должен прислушаться к вам... Вы имеете правильный подступ к такой сложной натуре!

Нет, этого я уж точно не сделаю. Ни в коем разе не стану заниматься перевоспитанием господина Пятиведерникова. Пропади он пропадом. Но я обещаю Паулине, что когда она достаточно созреет для самообороны и решится наконец обратиться в полицию с требованием принятия надлежащих мер против своего мнимого супруга, я выступлю ее свидетелем. На этом наша беседа заканчивается.

Мартин возвращается с катка запыхавшийся, утомленный и с многочисленными свертками в руках – кататься, действительно,

было невозможно, лед течет. Он надеется, что на следующий год у нас уже будет наконец каток с искусственным льдом. Это безобразие – чтобы городские власти до сих пор не позаботились об устройстве катка с искусственным льдом. При таком неустойчивом климате, каждый третий день – оттепель. А ученые еще обещают планете дальнейшее потепление. Зато он успел заскочить в магазин и выбрать детям подарки. В куче пакетов я замечаю и большой круглый торт – это к чаю, объясняет Мартин.

Эндрю появляется с дочками, но без Агнес – наша невестушка просит извинить ее, она неважно себя чувствует. Бедняжка. С чего бы это? Выпила вчера лишнего? Или объелась сладостями? Скорее всего, просто так закапризничала. Как еще себя утвердить, если время от времени не поболеть? Нам без разницы. Даже лучше. Бывает некоторым такая везуха! всю жизнь ни черта не делает, ни одного дня нигде не работала и при этом постоянно жалуется на всяческие недомогания и переутомления. Первую доченьку родила в сорок два года. Не потому, что не могла родить раньше, но опасалась, что беременность испортит ценную фигуру, а дети, чего доброго, воспрепятствуют светскому времяпрепровождению. И занятиям живописца. Но коль скоро изящные искусства все равно заброшены... всю беременность, все девять месяцев, провалялась, корова, задравши кверху ноги! И врач, разумеется, неотступно наблюдал за драгоценным здоровьем будущей не слишком юной матери. Спустя четыре года решила повторить эксперимент и забеременела вновь, чтобы вновь во всей полноте насладиться дурным самочувствием. Разумеется, и вторую дочку родила не без помощи и участия ведущих медицинских светил. Нет, что мне – жалко? Пусть ей будет на здоровье. Тонкая такая натура – то за неможет, то занедужит. В доме, между прочим, две прислуги: негритянка убирает, а местная пожилая матрона готовит обеды. Вот бы Пятиведерникову родиться в образе Агнес! Не пришлось бы дразнить полицию вывешиванием мокрых подштанников, и так бы пылинки сдували. Станный, однако же, закон природы – Эндрю женятся на Агнесах, а Паулинам достаются Пятиведерниковы.

Кстати, в отсутствие спесивой женоушки Эндрю другой человек – общительный и даже остроумный. И девочки у них, в общем-то, симпатичные. Не особенно пока напоминают мамашу. Минуточку – жаркое пора вытаскивать из духовки, а то зачерствеет как подошва. Куда бы временно приткнуть противень?..

У входной двери раздается звонок. Неужели Агнес по какой-то причине решила все-таки осчастливить нас своим визитом? Нет, оказывается, это семейство Юнсонов – папа, мама, юная фигуристка Линда и ее младший братик.

– Дорогая, чуть не забыл тебе сказать! – торопливо шепчет Мартин. – Я пригласил их!.. Детям будет веселее...

Разумеется, будет веселее... Почему бы, собственно, и нет? Чем Юнсоны хуже остальных наших знакомых? Фру Брандберг, например, или мошенника Стольсиуса? Ничем... Я изображаю на лице приветливую улыбку и быстренько ставлю на стол четыре дополнительных прибора. Надеюсь, еды хватит. Торты, во всяком

случае, определенно хватит. Теперь понятно, зачем куплен такой огромный и шикарный торт – для угощения маленькой знаменитости. Ради собственных детей и внуков Мартин вряд ли б решился так транжириться – он человек прекрасный во всех отношениях, но, между нами, капельку прижимист. Как говорится: не скуп, но бережлив. Что поделаешь, не бывает людей без недостатков. Мартин, при всех своих достоинствах, не терпит напрасных трат: зачем, к примеру, покупать импортные груши, когда можно с тем же удовольствием скушать яблочко из местных садов? Я, разумеется, не перечу. Да и грех мне было бы...

Эндрю несколько удивлен появлением Юнсонов, впрочем, он по натуре непривередлив и к тому же всецело занят своими дочерьми, главным образом, младшей. Пытается добиться, чтобы малышка доела лежащий у нее на тарелке салат и слоеный пирожок и при этом не слишком запачкала свое нарядное платьице. Время от времени он интересуется также, не нужно ли ей на горшок – поскольку девочке уже два года и два месяца, пора отучать ее от пеленок.

Фру Юнсон особа прямая и жизнерадостная. Она явно польщена приглашением и старается поддержать приличный разговор. Сообщает, что старшая ее дочь, сестра Линды (не раз остававшаяся бэбиситером при наших мальчиках), собирается выучиться на медсестру, а может, даже на зубного врача. Мы узнаем также, что квартиру в нашем доме им посчастливилось купить благодаря наследству, которое господин Юнсон получил от своего бездетного дядюшки, да будет земля ему пухом. Господин Юнсон кивает и помалкивает, очевидно, во всем полагаясь на жену, опрокидывает рюмочку за рюмочкой и старается не ударить в грязь лицом – правильно орудовать ножом и вилкой. Малышка Линда почти ничего не ест и откровенно скушает.

Господин Юнсон приподымается с рюмкой в руке. Он обязан теперь произнести речь в честь хозяйки дома. Супруга помогает ему понадежнее утвердиться на ногах.

– Вот мы тут и попили, и поели, – начинает он. – И так сказать... Весьма поражены талантами милой хозяйки по части сварить и поджарить...

Фру Юнсон выручает его и скоренько перечисляет остальные мои достоинства.

Наступает черед торта. Я делю его круглую душистую мякоть на увесистые куски и раскладываю по тарелочкам. Тарелочки эти Мартин прикупил однажды совсем задешево, и вид у них был замечательный: сверкали всеми цветами радуги. К сожалению, после нескольких посещений посудомоечной машины мнимый хрусталь пожелтел и размяк – прямо как настоящий желатин. Так что теперь приходится с большой осторожностью подносить тарелочку каждому гостю и ни в коем случае не позволять передавать из рук в руки – тарелочка предательски прогнется, и жирный валкий кусок плюхнется на скатерть.

О том, чтобы выкинуть неудачное приобретение, не может быть и речи – деньги плачены. Все верхние полки в кухонных

шкафчиках забиты у нас этими выгодными покупками. Впрочем, кому это мешает? Никому. А вдруг на что-нибудь да сгодятся?

Компот!.. Компот – вот истинное мучение. Я опять не удосужилась загодя разлить его по вазочкам. Сколько раз уже убеждалась!.. В России мы, по простоте своей, сопровождали торт чаем, в крайнем случае, кофе. В последние годы у нас в издательстве даже сделалось обычаем – с полочки заваливаться всем коллективом в кафе. Заказать по пирожному с чашечкой кофе и целых полчаса наслаждаться сладкой жизнью. Погружаться в иную стихию... И компания была как на подбор: все брошенные жены и не обретшие своей судьбы тридцатилетние вековухи. Не теряющие, впрочем, надежды. Рубль – рубль двадцать, не так уж страшно. Хотя потом – проверено – именно этого рубля не хватит до полочки. Да что наперед расстраиваться – одна живем...

А тут почему-то принято к тарту подавать компот. Компот у нас собственного изготовления. Мартин варит его по особому рецепту из чернослива и вишни – ничего, вкусно получается. Но что подавать сперва – компот или торт? Если компот, его тут же и выпьют, и придется потом уминать торт всухомятку. Еще раз разливать компот? Нет, лучше вначале торт. Получат по куску и пусть дожидаются компота. Кушайте, дорогие гости, кушайте и пейте на здоровье! Будем веселиться! Главное, делать вид, что нам безумно приятно. Эрику не подходит вишенка на тарте? Выбросим вишенку. Хед хочет компота, но без слив? Можно без слив. Кому-то не достает чайной ложечки? Наш юный гость, Линдин братик, не одобряет такой торт? Что делать, другого нет. Еще компота? Пожалуйста, нальем еще компота. Ну вот, слопав компот, мальчик соглашается откусать и не любимого торта. Не упустить произнести какую-нибудь любезность:

– Нет-нет, не беспокойтесь... Замечательные цветы, в жизни не видела таких красивых цветов... Перестаньте, перестаньте, я убеждена, что вы на себя клеветеете... Ой, нет, осторожненько!..

Хед умудрился-таки вывернуть свой кусок на скатерть!

– Ничего, ничего, ничего страшного!.. – утешают все дружно.

Конечно, ничего – ничего страшного, наоборот, все замечательно. Я должна присесть наконец. Из-за всей этой суеты вокруг стола не удалось даже поболтать с Эндрю. А мне все-таки следует быть в курсе, что там новенького-хорошенького происходит в нашем бизнесе. Не мешало бы узнать, что он думает по поводу странного происшествия с Гансом Стольсиусом. Передвигаясь вдоль стола, я успеваю уловить, как сын заявляет отцу вполголоса:

– Я категорически против!

Против чего? Спросить невозможно, получится, что я вообще ничего не знаю и пытаюсь выведать за спиной у мужа его секреты. А может, это вообще не о том.

– Извини меня, отец!.. Ты уже мог бы знать... – Эндрю замолкает. Безнадежный выразительный жест – чтобы Мартин да кого-то послушался!.. Чтобы он извлек хоть какой-то урок из всех своих злоключений!..

Мартин успокаивает сына: все будет о-кей, и затевает игры с детьми. Главная из них, «заяц», когда-то была мне известна. Те-

перь я подзабыла правила. Пока играет музыка, нужно бежать вокруг составленных в кружок стульев – их на один меньше, чем играющих. Как только музыка прекращается, каждый должен мгновенно плюхнуться на ближайший стул. Самый неловкий ребенок остается безбилетником – «зайцем». Эта роль, как правило, доставалась мне. Но в чем именно заключается неудобство заячьего положения, я уже не помню.

Линда не хочет участвовать в этих глупеньких играх – считает себя слишком взрослой. Мартин из кожи вон лезет, пытаюсь вовлечь ее в какую-нибудь веселую забаву, но она упрямо забивается в уголок дивана, поджимает под себя ноги и потихонечку включает телевизор.

Младшая дочка Эндрю тем временем задремывает у него на плече, старшая, нечестно побежденная мальчишками в состязании по угадыванию «конфета или фантик», принимается хныкать и требовать справедливости. Эндрю объявляет, что им пора.

Мартин вытаскивает из огромного, празднично раскрашенного бумажного пакета подарки – предварительно немного помучив детей неизвестностью. Наконец мальчики получают по блестящему красному вертолету, а девочки – по кукле. Мы передаем Агнес приветы и поцелуи. Мартин вручает сыну кусок торта, упакованный в заранее приготовленную для этой цели коробочку. Эндрю не смеет отказаться.

На фоне всех остальных, достаточно скромных подарочков вдруг как-то неприлично шикарно выступает чудесная и явно дорогая кукла, предназначенная Линде. Я вижу, что и родители при всей их простоте несколько шокированы необъяснимой щедростью соседа. Мартин принимается уверять, что это ничего, ерунда, что в виду праздника куклу отдали за полцены.

Линде кукла нравится – она с интересом рассматривает и ощупывает нарядное платьице и даже пытается сообразить, как оно сшито. Наверно, мечтает о таком же для себя. Я радуюсь уже тому, что Мартин догадался купить всем мальчишкам одну и ту же игрушку, по крайней мере, не будет драк и обид.

По телевизору, который продолжает оставаться включенным, хотя никто в него не глядит, транслируют репортаж «Итоги уходящего года» – но не привычные нам по прошлой жизни достижения передовых колхозов и предприятий, а напротив, всяческие катастрофы и катаклизмы: землетрясения и войны, о которых обыватели успели уже подзабыть в беге замороченных будней. Оказывается, больше всего войн приходится на африканский континент, причем воюют между собой не государства и страны, а племена и союзы, а также созданные этими племенами по примеру западных демократий партии и фракции. Каждая первым делом обзаводится собственной «милицией» и максимально возможным количеством оружия. Не великая отечественная и даже не гражданская, а эдакие соседско-коммунальные битвы. Но и они исправно приводят к огромному числу жертв и перманентному тяжкому голоду.

Насколько я успела заметить, картины голодающих и умирающих всем порядком приелись. Фру Юнсон неодобрительно мор-

щится, когда взгляд ее нечаянно упирается в экран, демонстрирующий очень худых детей и очень жирных мух. Действительно, телевизионщики недопродумали: что это за приправа к праздничному обеду? Западный обыватель – человек благовоспитанный и добрый, готов посылить содействовать, например, через комитет, собирающий для третьего мира пакетики со жвачкой и поношенные лифчики, однако он все больше и больше не одобряет политику европейской, американской и прочей юнесковской гуманитарной помощи, неуклонно ведущей к неукротимому умножению голодающих ртов. Корреспондентка с микрофончиком интервьюирует мать, за истекший год потерявшую троих детей, и задает подковыристый вопрос: «А сколько у вас их всего?» – «Двенадцать», – честно признается черная женщина. Остается, правда, неясным, включает она троих умерших в это число или нет.

Я заглядываю в детскую, куда перебрались мои сыновья и Линдин младший братик. Игрушки, годами спокойно пребывавшие в своих коробках и ящиках, по случаю появления свежего товарища извлечены оттуда и разбросаны по всему полу.

– Вы все это потом сложите на место! – говорю я для порядка строгим голосом, не особенно, впрочем, надеясь на исполнение.

Бог с ними, пусть не убирают. В конце концов, не каждый день – праздник. Должны же дети когда-то быть просто детьми...

Телевизор продолжает перебирать свои сувенирные карточки, являя то засуху в республике Чад, то наводнение в Гватемале. По мутным волнам несутся вывернутые с корнем деревья, вызывают о спасении худые длиннорogie коровы, тонет какой-то смуглый ребенок.

Линда потихонечку сползает с дивана и перебирается в гостиную, где установлена елка. Я ей сочувствую – двенадцатилетней девочке должно быть тяжело между четырьмя взрослыми и четырьмя глупенькими мальчишками. Чтобы убить время, она снимает с елочной лапы звездочку из фольги, кладет себе на ладонь и принимается дуть на нее. Звездочка взмывает в воздух, Линда ловит ее, подставляя узенькую ладошку. Мартин с восторженной завистью наблюдает за этим занятием – если бы не мама и папа Юнсоны, он, верно, и сам принял бы участие в таком замечательном развлечении.

Фру Юнсон с воодушевлением объясняет нам, в каком ленде находится ее родной поселок и какой сорт яблок там выращивают.

– Однажды – это я еще девушкой была! – сообщает она задиристо, будто заранее предвидит, что мы ей не поверим, – выдался такой урожай! Столько было яблок! Ну, столько – просто что-то необыкновенное. Мы уж их и варили, и мариновали, и мочили, и что только не делали... У нас уже просто не хватало бочек! А возить на рынок не имело никакого смысла – цены так упали. Мы в тот год, помнится, свиней одними яблоками кормили.

– Ну да? – удивляется господин Юнсон. – Разве свинья станет жрать яблоки?

– Как это она не станет? – возмущается в свою очередь его супруга.

– Яблоки для свиньи не пища.

– Ты скажешь! Ну – ты скажешь!.. Да свинья все сожрет, что ты ей не дай! И, если хочешь знать, наши яблоки как раз были очень сладкие, – защищает фру Юнсон родовую честь. – У нас одна яблоня была, так с нее с одной по целому возу яблок снимали. И какие крупные! А мясо у свиньи, если хочешь знать, когда ее яблоками кормят, яблочным духом пропитывается – замечательно вкусное получается мясо! Теперь ты такого нигде не купишь. Теперь одна химия кругом.

Как же мне хочется удалиться в свою комнату! Но до этого блаженного момента еще далеко. Когда же наконец он кончится – этот обед, этот прием, этот визит доброй воли?.. Лечь и закрыть глаза. И чтобы прохладный воздух втекал в окно...

– А я однажды... Это давно, до войны еще было! – требует Мартин своей доли внимания. Лицо его озаряется хитровой улыбкой, будто он собирается поведать нам о каком-то необыкновенном происшествии, какой-то неимоверно залихватской проделке. – Мы с одним товарищем... Ниссе его звали... – Рассказ прерывается паузами – не так-то просто припомнить теперь те славные события. – Наняли мы с этим Ниссе участок леса. На два месяца. Тогда это было можно – нанимаешь участок: на месяц или на два, как кому удобно, и рубишь, сколько успеешь. Частные лесоразработки.

Частные лесоразработки... Не турпоходы на байдарках и не поиск смысла жизни в Индии и Японии, а занятия куда более простые и ясные: рубка леса.

– Можно сказать, все свои денежки вложили в это предприятие, – повествует Мартин. – Еще и троих рабочих с собой прихватили. Здоровые были парни – тоже из наших мест. А участок этот нам один приятель помог получить. Отличный был участок! Два месяца рубили как черти!.. Ниссе вообще-то собирался в Америку. Тогда многие эмигрировали – кризис. Но я его отговорил: кому, говорю, ты там нужен? Там тоже кризис! Убедил вложить его денежки – которые у него на билет были отложены, – в это дело. – Мартин усмехается. – Какая там Америка! Домой на билет не осталось!.. Пешком топали. А ведь мы с Юханной эти денежки по грошику откладывали, каждую копейку считали...

История отношений с Юханной: целых два года они были обручены, но ее родители были категорически против – жених им не нравился.

– Да как это может быть – чтобы вы могли кому-то не нравиться! – возмущается фру Юнсон отчасти искренне, отчасти из вежливости. – Такой парень – и чтобы не понравился?

– Дело не во мне! – разъясняет Мартин. – Дело в деньгах. Я был гол как сокол. Отец мой богатства не нажил, а нажил шестерых детей. А Юханна у своих родителей – единственная дочка и с хорошим приданым. Нет, не то, чтобы они запрещали ей со мной встречаться – запретить они, конечно, не могли, но и помогать нам не собирались. Тогда все было иначе, не так, как теперь.

Вот уж верно... У нас в гостиной висит увеличенная свадебная фотография Мартина и Юханны. В прежней квартире она висела у

Мартина в спальне, но он справедливо рассудил, что при новой жене фотографии лучше находиться в гостиной. Красавицей, судя по этому выцветшему черно-белому снимку, Юханна не была – солидная, серьезная женщина. После ее смерти безутешные родители все свое состояние завещали внукам: Эндрю и Мине. Мартину ни копейки! А так как внуки могли войти в права наследования лишь по достижении совершеннолетия, им еще пришлось отвратить весьма скромной и невеселой жизни у своего невезучего и небогатого отца. Чего Эндрю, как я успела заметить, до сего дня не может простить не зловредным дедушке с бабушкой, а бедному, кругом положительному и старательному отцу.

– А на этих разработках такой был порядок, – продолжает Мартин, – что нарубил – твое. Без ограничения. Только чтобы в срок уложиться – в свой срок хоть весь лес сведи, но после окончания сучка не имеешь права тронуть. И вот, представьте: последний наш день! И в этот день, я вам скажу, мы работали просто как сумасшедшие! Такой азарт охватил – рубим, как заведенные, еще, еще! Если уж все равно последний день, то и надорваться не беда... И представьте, к вечеру... – Голос у него становится серьезный и торжественный: – К вечеру, представьте... Вдруг чувствуем: тянет гарью! Ниссе первый учуял. Пожар. Великая все-таки вещь, я вам скажу, – начинается с пустяка, с одной спички, но это нужно было видеть! Светопреставление! Целую неделю бушевало, вся страна не могла одолеть его. Всю округу сожрал, десять поселков подчистую! Что уж там говорить про наши заготовки... А знаете, от чего он занялся?

Нет, даже Фру Юнсон не в силах догадаться, отчего занялся такой знатный пожар.

– Там в лесу была сторожка. Надо же где-то приткнуться. В первое время еще и горячего чего готовили, но потом только ночевали – каждой минуты было жалко. А вместо печи железная плита стояла. И вот, представьте, в последний наш день в эту сторожку забрался бродяжка. Бог его знает, откуда он взялся – принесла нелегкая на нашу голову. Еще день – и духу нашего там бы не было. И этот парень, представьте, вздумал сварить себе кофе. Соскучился без кофе! А спички у нас лежали, конечно, открыто, на этой самой плите и лежали. Кто же мог подумать, что черт его принесет! Весь лес в двух лендах! Развел огонь, а сам, видно, заснул – пьяный был, или кто его знает, но что главное: все, все погорело! – наши вещи, лес, все живое на двести километров в округе – он один, проклятый, остался целехонек!

Супруги Юнсоны деликатно ахают и в меру ужасаются. Мартин преображается, молодеет на глазах, – кажется, сию минуту поднимется и вновь устремится на двухмесячный лесоповал.

– Старики не могли припомнить такого пожара!.. А он, этот поганец, бродяжка этот, представьте – цел и невредим! Даже во всем признался – давно, видите ли, кофе не пил, так задумал сварить себе кофе... В тот день сильнейший ветер дул, какой обычно только осенью случается. Нам-то это только на руку было – не жарко работать, но как запылало! Думали: все, конец. Всем

крышка. Страшное дело! Огненный смерч! Столетние деревья как просмоленные спички вспыхивали!.. Все наши сбережения, все надежды. Жалко, тогда не снимали на телевиденье. И еще надо было расплатиться с рабочими. Нас под суд хотели отдать – преступная халатность. А в чем халатность? Будто бы он не мог принести спички в кармане! Мы тут были совершенно ни при чем. Пострадавшие. Разве что дверь не заперли, но кто ж в таких сторожках дверь запирает? Там и замка-то, я думаю, сроду не водилось. На двести километров – ни души! Самый гигантский пожар в двадцатом веке. Даже во время войны ничего подобного не случилось. Между прочим, еще и сегодня можно найти следы. Тогда все газеты об этом писали. Но что, вы думаете сказала Юханна, когда про это услышала? Слава Богу, что ты остался жив – вот что она сказала! И все! После того, как мы с ней два года во всем себе отказывали, откладывали каждую копейку! В праздник кружки пива не выпили. Такая была женщина... Что правда, то правда – такой женщины во всем свете не сыщешь. Даже в последние свои дни, когда уже не было никакой надежды... – Он сникает, кажется, даже плачет. – Я все не верил... Врачи говорили. А я думал: не может быть, чтобы моя Юханна сдалась... До самого конца...

Фру Юнсон вздыхает и принимается утешать.

– Это всегда случается именно там, где в семье любовь, – замечает она дипломатично.

– Да, – подтверждает Мартин. – Никогда, ни единого раза... За все двенадцать лет ни единой размолвки, ни единой ссоры – никогда!..

Гости отводят взгляды в сторону – они несколько смущены такими безудержными похвалами в адрес бывшей супруги в присутствии нынешней. Господин Юнсон откашливается и пытается переменить разговор:

– Да уж!.. Если нет удачи... – начинает он рассудительно, но Мартин не позволяет ему развить этой мысли.

– Ни единой ссоры, ни одного даже самого пустячного спора! Нет, один раз... Один раз все-таки поругались, – признается он, не в силах преступить собственной честности. – Из-за повозки. Это когда мы в лесничестве жили. Удалось устроиться на работу в лесничество. Да, счастье еще, что не весь лес в стране сгорел окончательно. Кое-что осталось, чтобы я мог устроиться лесничим. И это были самые счастливые наши годы – поженились, вопреки родительской воле, и стали жить в лесничестве. Запрягаю я однажды лошадь, а она говорит: куда это ты собрался? Куда: в город! А она говорит: я предупредила тебя, что сегодня я еду в город! Это Мне как раз годик исполнился, она с Миной хотела ехать. Я говорю: ничего не случится, если поедешь в другой раз, допустим, завтра. А она говорит: нет, я поеду сегодня, а ты, если хочешь, поедешь, куда тебе надо, завтра! И так разругались, целую неделю потом не разговаривали. Хотя я ей, конечно, уступил.

– Вы могли поехать вместе! – замечает фру Юнсон – толковая женщина.

– Не могли, – крутит Мартин головой. – Кто-то должен был оставаться. После того случая... Не хватало нам еще одного пожара!

Поссорились. Я не уступаю, она тоже. Но это был единственный раз. За все двенадцать лет...

– Если нет удачи, – пытается, воспользовавшись паузой, господин Юнсон довести до конца свою мысль, – то уж ничего не получится. Хоть убейся, хоть что хочешь сделай!..

Я смотрю на экран телевизора, по которому теперь сквозь сказочный лес – как в детских книжках – движутся длинноволосые голубоглазые воины, крепко и прямо восседающие на своих тяжеловесных конях. Каждого из них где-нибудь ждет его Юханна. Неповторимая женщина. Мартин, верно, потому и женился на мне, а не на одной из своих соотечественниц, чтобы не было соблазна сравнивать.

– А у нас однажды, – подхватывает эстафету воспоминаний фру Юнсон, – шторм случился. Такой шторм!.. Буря!.. Поселок наш стоял три километра от берега, но и у нас деревья валялись, как досточки. Крыши с домов срывало!

Спасает нас Линда. Ей, видно, не впервой слышать историю со штормом и летающими крышами, и она деликатно напоминает, что им должна позвонить иногородняя бабушка. Фру Юнсон подхватывается и уводит свое семейство. Мартин провожает их до дверей и убеждает заходить почаще.

– Да, дорогая!.. – произносит он, возвращаясь в столовую и без сил валясь в свое любимое кресло. – Один единственный раз... Единственный случай... В газетах писали: сто лет не было такого пожара...

Я понимаю – прием гостей, да еще с детьми, дело нешуточное – даже для такого неумолимого человека, как Мартин. Так и задремал в кресле. Правда, когда я принимаюсь убирать со стола, он тут же привычно вскидывается:

– Нет, нет, дорогая... Иди ложись... Отдыхай. Я сам...

– Ты тоже устал, – слабо сопротивляюсь я. Все-таки жалко его. Да, но, в конце концов, не я это все затеяла. И нужно еще уложить ребят – они в таком возбуждении от всех этих игр. Не так-то просто будет их утихомирить.

Новенькие вертолетики носятся по детской, пикируют друг на дружку. Лапа принимает самое активное участие в авиабаталии. Можно даже сказать, что она тут главный победитель – ни одной машине не удается миновать ее радостной шустрой пасти.

– Это не военные вертолеты! – заявляю я со всей решимостью. – А гражданские! И теперь они должны вернуться на свои аэродромы.

– Военные! Военные!!! – истошно вопят все три мои сына.

– Хорошо, – уступаю я во второстепенном вопросе, – но сейчас они берут курс на свои базы.

– Нет, они не берут курс! – отбиваются мальчишки.

– Так, – говорю я. – Тогда я забираю от вас Лапу. Ей пора спать. Она не может воевать тут всю ночь.

Эта угроза на них нисколько не действует. Только напоминание об обещанном на завтра посещении «космодрома» – «космического» луна-парка – заставляет их кое-как смириться и отпра-

виться в постели. С большой неохотой три юных фельдмаршала соглашаются временно укротить боевую технику и припарковать ее рядом с подушками. Я желаю им приятных снов.

Все замечательно, – говорю я себе, опускаясь на тахту, – в конце концов, не так уж плохо провели время. Юнсоны – вполне симпатичные и, надо полагать, порядочные люди. Куда приятнее иных гордецов... Можно подумать, что я всю жизнь вращалась в светском обществе... В академических кругах... Ничего подобного. Вспомнить только – мои ленинградские сослуживицы... Те еще интеллектуалки! А вышестоящие начальнички? Надутые болваны с партбилетами в кармане. Набитые жиром мешки с двумя подбородками и тремя цитатами из товарища Маркса-Брежнева. А я, между прочим, при встрече почтительно с ними здоровалась. Хоть и невысокая власть, но опасно близкая. Ежедневно ощущаемая. Серая мышка должна проскользнуть незаметненько. Чтобы пуговка, не дай Бог, не оборвалась. Кивали – величественно. Но отчасти даже и благосклонно. Милые мои Людмилы Аркадьевны и Татьяны Степановны! Акакии Акакиевичи женского пола... Заветная мечта – норковый воротник в рассрочку! Представьте, как повезло товарищу Бадейкиной – ухватила очередь на ковер! Блаженны... Блаженны нищие духом... Нужно будет осведомиться у Паулины, пусть разъяснит, как христианские мужи трактуют это высказывание. Нищие духом – это ведь не те нищие, что стоят на паперти. Это скромные люди, живущие на советскую зарплату. Милые женщины, которые грезят об итальянских сапогах. О нечаянном прекрасном кавалере, который возьмет и пригласит в кафе «Север». Блаженны товарищи Бадейкина и Краснопольская...

Молодец Мартин, что пригласил Юнсонов. Как непринужденно у него это получается: взять и пригласить совершенно ненужных людей. Замечательно, что пригласил, еще замечательнее, что они в конце концов удалились. Все замечательно. Замечательнее всего, что можно в конце концов растянуться на собственной тахте под пледом из нежнейшей шотландской шерсти. Засыпать под шелковистую музыку, притекающую откуда-то издалека. Кто-то в нашем доме слушает музыку при открытом окне. Кто-то любит дышать сырым тягучим воздухом...

Что-то – что-то вдруг толкает меня изнутри: забыла, не сделала чего-то!.. Любино письмо! Где оно? Нужно встать... Куда я его сунула? Неужели так и осталось на кухне? Мартин обычно откладывает всякие бумажки на полку. Нужно пойти, посмотреть. Да, но с другой стороны, никуда оно до утра не денется. Завтра прочту. А Мартин – вот ведь человек – раб прилежности и аккуратности! Гремит тарелками, наводит порядок. Сдается мне, посуда могла бы постоять до утра... Но нет, он этого не переживет. Ни за что не допустит... Наверно, и Юханна была такая же рачительная аккуратистка. «Ни единой размолвки»... У нас с ним тоже ни единой размолвки. Даже из-за повозки ни разу не поругались. Мы, правда, не двенадцать лет женаты, всего лишь десять. Как говорится, все еще впереди. Великий пожар... Величайшее событие всей жизни.

Даже более потрясающее, чем смерть Юханны. Женщины, хоть и молодые, время от времени умирают, а пожар – раз в сто лет... Весь лес в двух лендах!..

Под Ленинградом лес мрачный, сырой. Сыр-бор... Не способен, верно, гореть... Зимой в нем хорошо – когда снег и никаких комаров. А что зимой делать в лесу? Например, пойти с саночками за елкой. Перепилить коротенькой ножовкой тоненький ствол. Хищные социалистической собственности в количестве одной ели. Свеженькая душистая елочка спеленута и привязана к санкам. Женщина шагает рядом – закутана в платок, один нос торчит. Серый полушерстяной платок...

До чего же громадная квартира! Сколько же тут семей проживает? Нет, не все семейные, есть и одинокие. Макар Девушкин, например. Амира Григорьевна. Кухня – настоящий стадион. От буфета до стола – только Любушка смогла! И этот торт... На деревенских праздниках выставляют такие торты. Не в России, конечно. В России ничего не выставляют. Кроме портретов вождей. Торт для книги Гинесса. Как только Мартин его дотацил? Снежная баба, гора!.. И главное, как прикажете его резать? Тут не нож, тут пила требуется. Сабля... Первый кусок Люсенюке – милой моей Люсенюке. Долгожданная гостья!.. Сколько ж это лет мы не виделись? Наконец-то выбралась заглянуть... А то, понимаете, все дом, работа... Шляются, Люсенюка, тут всякие, донимают расспросами: как вам удалось вырваться из России? Надоели. Какая им разница, как... Молодец, что пришла. А это кто же? Фринляндкин? И Фринляндкина своего притащила! Умница. Он ведь у тебя гордец, нас, мелкоты, сторонился. Пренебрегал нашим обществом. Большая честь – познакомиться с блистательным Фринляндкиным, кумиром питерских студентов и вольнодумцев. В основном, студенток. Разных педагогических, библиотечных и полиграфических вузов. Люсенюка полиграфический кончала. Фринляндкин однажды увидел ее – в кружке любителей русской словесности – и полюбил. Ну, может, не так уж сильно полюбил, однако приветил. За то безмерное обожание, что светилось в ее голубых глазах. Даже стихи ее похвалил. Люсенюкины стихи – нежные такие строчки:

В вашем новом обличье
Вы прольетесь сквозь белые ночи,
Петербург – Петроград безразличен
К хризалидам, растерзанном в ключья...

Интересный тип, этот Фринляндкин. То есть, не такой уж потрясающе обворожительный, как мы представляли: довольно даже потрепанный – заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура... Нет, не врубелевский Демон, никак... А это кто?.. Неужели Люсенюкины близнецы? Такие огромные, совсем взрослые?! Впрочем, что ж я удивляюсь – столько лет утекло...

– Дорогая, – хмурится Мартин, – надеюсь, мы получим сегодня компот?

Что за язвительный тон? Как ему не стыдно! Неужели он не видит, что я и так с ног сбилась? Нет, все – в последний раз все эти гости, торты, компоты! Сидят, ухмыляются, языками чешут! Стол –

стадион, до кухни – километр, и ни малейшей помощи! Кстати, как их зовут – Люсиных мальчиков?.. Яша и Петя? Да: Яша и Петя. Яша и Петя Голядкины! Почему – Голядкины?..

– Не мог же я дать им фамилию Фринляндкин! – рокочет папаша близнецов. – В этом мире злобы и лжи!

Люсенька опускает глаза – прекрасные свои и вечно испуганные голубые глаза.

– Это мама, – объясняет она тоненьким звенящим голоском, – мама посоветовала нам, чтобы мы записали детей на мою фамилию.

– Да! – подтверждает Фринляндкин глухо, – незачем давать детям, родившимся в России, фамилию Фринляндкин. Это латышская фамилия, а никак не русская.

– Вообще-то, мне кажется, это еврейская фамилия, – уточняет Амира Григорьевна степенно.

– Да, – соглашается Люсенька робко. – И я, конечно, не хотела, чтобы дети страдали от антисемитизма...

– Голядкина! – фыркает Агнес. – Глупости, враки! Ее фамилия Голубкина.

– К вашему сведенью, высокоуважаемая, это одно и то же, – цедит Фринляндкин сквозь зубы. – «Голяд» – это по-латышски голубь!

– Вот как? – Агнес не проведешь, Агнес – это вам не доверчивая Люсенька. – Откуда вы знаете? Вы что, латышский стрелок?

Мне удастся наконец отделить от торта бесконечно длинный, липкий, истончающийся к концу ломоть.

– Мне! Мне! Мне первому! – кричат, подсакивая на стульях и притопывая ногами, Петя и Яша.

Видно, что им нравится у нас – братьям Фринляндиным-Голубкиным-Голядкиным. Даже затевают потасовку – пихаются плечами, локтями, выхватывают друг у друга из-под носа вазочки с компотом, сражаются вилками, каждый хочет завладеть блюдом и отхватить побольше от сладкой горы.

Конечно, детский праздник, но не такие уж они и дети... Люсенька могла бы укротить своих отпрысков. Хотя, с другой стороны... Какая разница? Пусть себе...

– Теперь-то ты понимаешь, ты видишь, как я тебя любила! – обвиняет Люсенька Фринляндику за шею и жарко дышит ему в ухо. Потасканного и потрепанного, не слишком даже опрятного Фринляндику. – Как душа моя тебя жаждала!.. – И тут же за столом, в присутствии всех, в том числе и собственных детей, принимается целовать его лицо, шею, грудь. Странно, странно... Странное у нее лицо – одутловатое, больное, глянцевитое. Но жутко молодое. До чего же молодо она выглядит! Такие взрослые дети, настоящие Митрофанушки, а она нисколечко не постарела, даже напротив...

Тут какое-то недоразумение, – думаю я. – Какая-то подтасовка. Это совершенно на нее не похоже! Люсенька, вечная скромница... И до чего же... До чего молода!

Этот торт – он отвратителен! Я увязла, погибла в нем!.. Мартину непременно требуется потрепать гостей, а мучиться с этим не-

счастьем приходится мне! Нож застрекает, гнется, и расстояния, расстояния!..

Братья Голядкины обстреливают друг дружку, а заодно и гостей, косточками от слив и от вишен.

– Да что же это такое?! – Не выдерживаю я и швыряю нож на стол. – Это невыносимо, это дерзость, бесстыдство!..

И просыпаюсь от собственного крика. Вернее, хрипа. Плохо, тяжело... Душит что-то. Веревка, удавка... Я судорожно вожу рукой по груди, по шее, пытаюсь расслабить веревку – проклятую несуществующую веревку...

Люсенька. Как же я не вспомнила?.. Как я могла не вспомнить? Не удивительно, что такая же молодая... Девятнадцать лет прошло. Ты теперь на девятнадцать лет моложе меня... А ведь дети были не два мальчика – мальчик и девочка. Мальчик тоже умер – года за два до нее. С ним от рождения было что-то неладно. А Люсенька все же успела получить двухкомнатную квартиру. Барабашев, как только узнал, что она родила двойню, тут же распорядился предоставить двухкомнатную квартиру вне очереди. У чёрта на рогах, где-то за Автово, но все равно: собственная двухкомнатная квартира! Боже, как всколыхнулся весь наш коллектив. Какие поднялись вопли! Как вдруг все возненавидели безвиннейшую тишайшую Люсеньку – нахалка, прохиндейка! Нарочно подстроила себе близнецов. Конечно, разница не столь уж существенная – четыре человека проживают на двенадцати метрах или пять. Родила бы, как все, одного, так еще лет десять стояла бы на очереди. А так – всех вдруг обскакала.

Фринляндкин не выдержал отцовства – не мог такой великий человек выносить вопли двоих младенцев! И тещу в придачу... Он и раньше не особенно баловал Люсеньку своим присутствием, заявлялся, в основном, когда оставался на жизненной мели. И всякий раз – независимо от того, уходил или возвращался, – давал понять, что полностью и безнадежно ею не понят. Трагически не понят. В лучших своих, возвышеннейших устремлениях. Однажды, помнится – Люсенька была уже на сносях, – забрал всю ее зарплату и купил своей приятельнице тридцать алых роз – на день рождения. Мы потом собирали Люсеньке до получки...

Хотя, в сущности, глядя со стороны – что уж такого страшного? Ну, допустим, не повезло с замужеством. А другим повезло? Жила ведь, работала – не хуже людей, семья: дочь, мать. И работа чистенькая, приличная, неутомительная. Чего ей не хватало? И не забудьте – отдельная двухкомнатная квартира! Не могли же отобрать у нее квартиру только из-за того, что муж ушел, а мальчик умер.

Люсенька, голубчик мой, херувимчик, ангел небесный!.. Это только по ночам, только по ночам глаза живых наполняются слезами... И то, если правду сказать, не так уж часто. Душа мертвеет, забывает тех, которых не стало. Но почему – веревка? Не было никакой веревки! Она умерла естественной смертью. Хотя действительно неожиданно. Скончалась от приступа астмы. Так, во всяком случае, нам объявили... Разве у нее была астма? Кто знает, все может быть. У каждого может случиться астма...

А торт, говорят, во сне видеть – хорошо: к достатку. К богатству!

Боже, какой же ропот стоял на похоронах – вы подумайте, это надо же: двухкомнатная квартира остается старухе с девчонкой! На двоих – двухкомнатная квартира!.. Хотя, впрочем, – Фринляндкин. Фринляндкин все еще числился прописанным на той же жилплощади. Почему – Фринляндкин? Фридлянд была его фамилия. Люсенька всегда звала его по фамилии. Так что и он мог претендовать. На вполне законном основании.

4

Любино письмо как сквозь землю провалилось! Ни на полках, ни в ящиках, ни на кухне, ни в комнате, ни на письменном столе, ни на комодке, ни в комодке, ни на подоконнике, ни в туалете – что за напасть! Куда оно могло подеваться?

– Не знаю, – бормочет Мартин, – не знаю, дорогая... – Даже несколько неодобрительно бормочет – нету у него возможности следить за чужими письмами. Между прочим, о своих бумагах каждый должен заботиться сам.

Разумеется – смешно было и спрашивать. Он никогда ничего не знает. Не знает и не помнит. Кроме своего великого пожара на два ленда. Неужели мальчишки утащили? Зачем? Нет, не похоже на них...

Я в десятый раз выдвигаю все ящики – все то же самое: дурацкие бумаженции, счета, квитанции, заказы на переводы, квиточки чеков, банковские отчеты... Есть и письма – и от Любы, и от Дениса, – но старые. Несколько открыток от ленинградских приятельниц, несколько от иерусалимских знакомых. Мамин дневник, благодаря голландскому посольству спасенный от небытия. Общая тетрадка. У меня были точно такие же. В старших классах. В линейку и в клеточку. В клеточку мне больше нравились. Я по всем предметам писала в клеточку. В старших классах это можно. Обложка совсем уже скукожилась. Коричневая дерматиновая обложка... Казалось бы, лежит себе в ящике, вдали от разрушительного действия света и влаги, а все равно трескается. И бумага желтеет, и записи бледнеют. Зачем она записывала? Считала своим долгом записывать. От горя? От одиночества? Оставить память? Не уйти безмолвно? К кому она обращалась? К дочери, внукам, потомкам? Надеюсь, он ей помогал, этот дневник... Люди тогда иначе чувствовали. Покажите мне сегодня чудака, который бы вел дневник! Разве что какая-нибудь девчонка двенадцатилетняя, да и то такая, которая не умеет кататься на коньках. Взрослым некогда. Может, следовало бы издать его? Но с другой стороны, для чего? Для кого?..

Сегодня и почерки уже другие. Вообще нет почерков – эйбимовские машинки, компьютерные шрифты. Перо не дрожит и рука не трепещет. И никаких вам черновиков для любопытных потомков. Каждая страница стандартна и непогрешима. Даже если сочинитель сто раз переделывал какую-нибудь фразу – никаких следов...

Сколько их велось – таких дневников? Во дни бедствия и гибели? Десятки? Тысячи? Где они теперь? Заглядывает в них кто-нибудь?

Мне было четырнадцать лет, когда я в первый раз увидела эту тетрадку. Люба порылась в ящиках и нашла на дне комода. От прикосновения будто током прожгло. Будто вдруг почувствовала маму рядом. Все забилось внутри. Встреча... Много воды утекло с тех пор – и в Неве, и в прочих реках.

Не совсем, конечно, дневник – дат не хватает, многие записи явно сделаны позже описываемых событий. Многое дописано в те последние два года, когда она уже не вставала.

Может быть, издам когда-нибудь и напишу: Благодаря любезной помощи голландского посольства...

«9 октября 1941г.

Иду сегодня в техникум и вдруг вижу на дереве яичницу. Яичницу-глазунью – из одного яйца, но самую настоящую. Свеженькая такая, висит в ветвях. И знаю ведь, что на дереве не может быть яичницы, яичницы даже в мирное время не растут на ветвях, но мысленно примеряюсь, как до нее добраться. И оглядываюсь в страхе – чтобы кто-нибудь не опередил. Потом, конечно, сообразила, что это желтый лист, застрявший в серебристой осенней паутинке, но так жалко было расставаться с этим обманом зрения...»

Почерк важен, особенно для дневника. Угловатый, торопливый. Что называется, нервный. Почерк – часть человека. Человека давно нет, а почерк живет. Бледнеет, выцветает, но живет. «Я ведь не вздор говорю; я согласен, во всем Петербурге не найдешь такого почерка, как твой почерк...» Отчего у них были такие почерки? Другая система обучения? Другая мода? У каждого писаря имелся свой «стиль». Производственный секрет. «Ускорил перо!»

«26 октября 1941г.

Антонина Савельевна говорит, что из Киева, Одессы и других мест доходят скверные слухи...»

Да уж, куда сквернее!..

«2 ноября 1941г.

Хочется зажать уши, закрыть глаза, ничего не слышать, не видеть, не читать. Для меня теперь важно только одно – удержать наш треугольничек: Сережа, я, Ниночка, – Сережа и Ниночка, а я посередке, чтобы они существовали, не исчезли. Только бы с ними все было благополучно, а на большее уже не остается сил. На большее нельзя претендовать. Надеюсь...»

Часть записей сделана чернилами, часть – карандашом, то химическим, то простым. Некоторые страницы потускнели больше других. И тут неравенство. Иногда чернила сменяются карандашом буквально на полслове – может, писала на уроке, пока студенты решали задачки, а потом продолжала дома. А может, и на другой день. Обстрелы тоже мешали...

«16 ноября 1941г.

Когда близко падают бомбы, кажется, что сейчас наступит конец, все рухнет. Дом шевелится, как живой, будто хочет бежать от этого всего. Иногда не знаешь, что лучше. Жалко только ребенка... Конечно, нельзя падать духом, нужно держаться, другим труднее...»

«25 ноября 1941г.

Из ночи в ночь преследует один и тот же сон: будто бы точно знаю, что это вранье, неправда: Бадаевские склады вовсе не сгорели, ничего подобного, все цело, но по какой-то причине нас обманывают, не подпускают к ним, а может, они на территории, оккупированной немцами. Решаюсь пробраться потихоньку, проскользнуть, ползу ночью, как разведчик, по грязи, по снегу, и всегда один и тот же конец: натыкаюсь на колючую проволоку, начинаю подкапываться под нее снизу, ни лопаты с собой, ничего, рою руками, уже просовываю в дыру голову, и в это время на меня кидается огромная собака. Иногда просыпаюсь от ужаса, а иногда продолжаю с ней бороться: пытаюсь задушить, слышу, как она хрипит, но дальше все равно не удается продвинуться. А еще говорят: видеть во сне собаку – обрести друга. Если бы все эти сны оправдывались, сколько бы друзей уже было!..»

«28 ноября 1941г.

Только бы не пропало окончательно молоко – пока есть хоть какие-то капли, есть надежда, что ребенок выживет. Ведь материнское молоко для него не только питание, но и витамины. С одной стороны, советуют побольше пить, а с другой предупреждают, что избыток воды в организме ничего не дает, только разжижает кровь. Не знаешь, кому верить...»

«5 декабря 1941г.

Все время неотступно мучает одна мысль: почему не сделала запасов? Ведь можно было, можно! Дома у нас всегда что-то хранилось, мама и бабушка заготавливали на зиму соленья, варенья, а помимо этого, всегда имелся куль муки, куль крупы. Почему мы стали так беспечны? Привыкли перебиваться со дня на день, как птички небесные, утром купишь, на ужин съешь. Жили годами, как будто так и надо. А ведь можно было на чем-то сэкономить, есть продукты, которые могут лежать месяцами, годами – крупа, жиры. Непостижимая, непростительная глупость! Перед самым началом войны купила себе модельные туфли. И еще радовалась, как ребенок, что достала. Кому они теперь нужны? За них ничего невозможно получить. Ни деньги, ни вещи не имеют никакой цены, разве что золото и драгоценности. Люди умирают, вещи остаются. Говорят, умерших уже перестали регистрировать – то ли некому, то ли это стало неинтересно. А у меня развилась мания: во время урока – дам учащимся задание, а сама сижу и высчитываю, на сколько дней мне хватило бы двух или трех килограммов муки, если бы в день расходовать по 200 грамм, по 150, по 100. По карточкам теперь дают 125 грамм хлеба. И вот я сижу и думаю: если бы у меня было три кило муки, то по 125 грамм в день...»

125 граммов. Я тоже помню эту цифру: школьное начальство позаботилось отправить нас, первоклассников, в музей. На выставку «Ленинград – город-герой». И там очень наглядно демонстрировались эти сто двадцать пять граммов – тощенький темный ломтик. Это, как видно, тоже входило в общую картину героизма – что люди могли обходиться вот этим ломтиком дрянного, несъедобного хлеба да при этом еще трудиться на оборону. На особом стенде приводился состав «муки», из которой этот «хлеб» выпекался: мука ржаная дефектная – 50 процентов. «Дефектная» – прекрасное слово. Как видно, загаженная мышами или какими-нибудь иными вредителями, возможно, даже ядовитая, но другой не было. Не предполагали, конечно, никого ею кормить, потому-то она и уцелела – вне знаменитых Бадаевских складов. Хранили, может, клей сварить или еще что-нибудь в этом роде.

Большинство моих одноклассниц были либо из числа эвакуированных и вернувшихся в город уже после войны, либо вообще из семей «новых» ленинградцев. Их везли тогда целыми эшелонами – из Пскова, Луги, Старой Руссы (городов сытых, хоть и побывавших под немцами), – им слово «блокада» ничего не говорило.

Еще один ингредиент из состава той же «муки»: отбойная пыль. Пять процентов отбойной пыли... Из чего и как ее отбивали?..

«...Если бы было, допустим, три кило муки, то по 125 грамм (мама хоть и была женщина образованная и преподавала в своем техникуме математику, но всегда упорно говорила и писала «грамм» вместо «граммов»), это выйдет на 24 дня. Значит, в течение 24 дней можно было бы съесть двойную порцию. А если бы у меня, допустим, было 23 кило муки, то этого количества хватило бы на целых полгода! А ведь это, хоть и звучит фантастически, но в принципе не так уж невозможно – заготовить полтора пуда муки. Хотя тот, у кого есть полтора пуда муки, вряд ли станет ограничивать себя 125-ю граммами. Я тоже при таком богатстве не смогла бы удержаться, наверняка съедала бы больше – грамм по 300-400 в день. Говорят, что столько получают члены райкомов. Но это правильно, так и должно быть, потому что в таких обстоятельствах самое страшное – это полное безвластие и бесконтрольность. Если не будет власти, то разнесут и булочные, и больницы, и ведомственные столовые, и вообще все. Кто-то должен руководить, и этим руководителям требуются силы. Но страшно подумать, что в конечном счете в пустом городе останутся только они...»

«9 декабря 1941г.

Говорят, Япония напала на Америку. Звучит дико: неужели где-то есть Япония, Америка?.. Есть где-то что-то, помимо нашего Ленинграда? Не могу себе представить».

«25 декабря 1941г.

Говорят, что как только на Ладоге укрепится лед, наш техникум эвакуируют. Но когда это будет? Каждый прожитый день бесконечен. Хотя норму хлеба вдруг прибавили: нам, преподавателям, выдают теперь 250 грамм. А я ведь именно об этом и мечтала.

Может, это оттого, что столько народу уже умерло и не нуждается больше ни в чем?»

«25 декабря – Рождество. Маме это, конечно, было невдомек и абсолютно неважно. Никто не устраивал в блокадном Ленинграде рождественских балов. Тем более, что и Рождество-то не православное, западное. В России не так уж много католиков. Да и те, наверно, не дураки – все как один писались атеистами. Но все-таки интересно: в те дни в это время... Ровно сорок пять лет назад.

«3 января 1942г.

Умерла Екатерина Васильевна. Я пришла домой и застала ее на кухне, она сидела вся застывшая, кажется, не узнала меня. Хотя глаза еще смотрели. Я видела, что для нее все кончено, но все-таки потащила ее зачем-то в больницу, она уже не могла передвигать ноги, а я не могла допустить, чтобы она умерла в моем присутствии без всякой помощи. Дотащила на собственном горбу, но и в больнице никто ничем не поспособствовал. Там она и скончалась. А я пошла обратно и по дороге нашла довольно большую и сухую доску, очевидно, кто-то отодрал от забора, но потерял, может, сил не стало донести. Теперь нужно ее распилить, целиком она в нашу печурку не влезет. Топить необходимо, это и тепло для ребенка, и сухие пеленки. В квартире почти такой же мороз, как на улице, и сутками ничего не сохнет...»

«Вчера видела сон: будто прихожу в техникум, а там никого. С трудом нахожу какую-то уборщицу, спрашиваю, а где же все? Студенты, преподаватели? А она говорит: как это – где? Третёва дня всех отправили. Эвакуировали. Как?! А я? Как же я? Почему мне не сказали? Не поставили в известность? – А этого, говорит, мы знать не можем. Бегу в кабинет к директору, директора нет, но за столом сидит Лебедев, заведующий кадрами. Спрашиваю: как же так? Почему всех эвакуировали, а про меня забыли, не вспомнили? – Мы, говорит, не забыли, а на вас не заполнен эвакуационный лист. – Как это, говорю, не заполнен? Почему? – Заполнен, говорит, но неправильно. И показывает мне – вот, смотрите: талоны продуктовые вам выдают на Тихвину Любовь Николаевну, а тут вы значитесь Любовь Николаевна Техвина! Но что же, говорю, – а сама не могу уже удержаться от слез, рыдаю, причем громко, в голос, как только во сне бывает, кричу в исступлении: что же, нельзя было вовремя в этом разобраться? Нельзя было исправить одну несчастную букву?.. Тут он, вроде, сжалился надо мной и подает новый лист, а там уже проставлена фамилия и написано: Любовь Гренфильд. Я понимаю, что это моя девичья фамилия, но опять с ошибкой, даже с двумя: должно быть Гринфельд. Пытаюсь объяснить ему, а он начинает злиться, кричит на меня, вы, говорит, предумышленно ввели отдел кадров в заблуждение! Я плачу, умоляю его: помогите, сжальтесь, у меня дома грудной ребенок! В конце концов он вычеркивает «Гренфильд» и пишет «Гренка» – Гренка Любовь Николаевна. Протягивает мне этот лист и говорит: пожалуйста, если вам эдак спокойнее! Так и проснулась, можно

сказать, с этим листом в руках. «Если вам эдак спокойнее!» И тут вспомнила, что у Сережи на курсе был украинец по фамилии Гречка. Тоже съедобная фамилия. Одно только съедобное в голову лезет...»

5 января 1942г.

Пришло письмо от Сережи, но очень давнее. Во всяком случае, полтора месяца назад он был жив. Где он теперь?..»

«8 января 1942г.

Морозы стоят ужасные. В соседний дом попал снаряд, и вылетели почти все стекла. Но, кажется, квартир больше, чем людей. Во всяком случае, много пустых, из которых все жильцы либо эвакуированы, либо вымерли. А наша эвакуация по какой-то причине откладывается...»

«9 января 1942г.

Ходят упорные слухи, что в Мурманске стоят эшелоны с продуктами для Ленинграда...»

«28 января 1942г.

Воды в трубах нет. От Невы до хлебозавода поставили цепочкой тысячи комсомольцев, лишь бы не прекращать выпечки хлеба. Кстати, моих учащихя тоже, все передавали воду ведрами из рук в руки. Некоторые от истощения падали без сознания, а наша Женечка (она тоже была там) выронила полное ведро и окатила ледяной водой себе ноги. Но побоялась пожаловаться или выйти из шеренги, подружки привели ее вечером, можно сказать, без ног...»

«2 февраля 1942г.

Говорят, что не только в Мурманске, но и в Тихвине, и в Волхове собраны эшелоны с продуктами для Ленинграда. Деревянных заборов больше не увидишь, разобрали на дрова, а старые деревья все еще стоят – верно, ни у кого нет сил пилить, а может, не разрешают...»

«Прошел слух, что наш техникум не будут эвакуировать, дескать, молодежь, комсомольцы нужны городу. Намечено вновь пустить остановленные предприятия, во всяком случае, какую-то часть...»

«22 февраля 1942г.

Опять видела яичницу, почти на том же самом месте, хотя деревья стоят совершенно голые и прозрачные, нет вроде бы ничего такого, что могло бы ввести в заблуждение. Может, солнечный блик? Мороз свирепый, все от него костенеет, даже воздух. На этот раз точно понимала, что это всего лишь галлюцинация, но все-таки постояла, полюбовалась. Но она была не такая хорошенькая, не такая свеженькая и кругленькая, как три месяца назад, какая-то ссохшаяся и с одного боку словно обгрызенная...»

«Сегодня узнала, что умер Борис Петрович Вейнберг. Я когда-то слушала его лекции. Он изучал проблемы земного магнетизма...»

«Говорят, со временем ученые создадут питательные пилюли – проглотить одну такую пилюлю, и она обеспечит организм всем, что ему необходимо в течение суток – жирами, белками, углеводами. И чувства голода тоже не будет. Жалко, что и нас уже, верно, не будет...»

«2 марта 1942г.

С организмом происходит что-то странное: всю ночь снилось, что жую что-то отвратительное, несъедобное, какие-то опилки, что ли, залитые мазутом, через великую силу глотаю эту гадость, но продолжаю набивать рот, не смею отказаться. Проснулась с мерзким вкусом во рту. И это уже не в первый раз. Впечатление такое, что желчь во сне подступает к горлу. Ниночке вчера исполнилось 10 месяцев. Она совсем не растет, головка маленькая, желтая, сморщенная. Сережа горевал, что родилась девочка, он хотел сына, а теперь я радуюсь, что девочка. Все говорят, что девочки выносливее, у них больше шансов выжить. Неужели через два месяца будет весна? Она ведь родилась весной...»

Желтая и сморщенная... Счастье, что тогда не было телеслужб и кинорепортажей – мир не имел удовольствия полюбоваться моей желтой и сморщенной головкой.

А вот оптимистическая запись:

«Теперь всем дают огородные участки, все скверы и пустыри будут возделываться, рассаду обещают обеспечить. Постараюсь как мать с грудным младенцем выпросить участок поближе к дому, не уверена только, что хватит сил вскопать, но, может, ученики помогут...»

«26 апреля 1942г.

Днем бывает уже совсем тепло. Нужно открывать окно, чтобы вытянуло зимнюю сырость. Очень важно выносить Ниночку на воздух. Кира Владимировна так слаба, что боюсь доверить ей – еще, чего доброго, уронит. Я же сама в лучшие солнечные часы, как на грех, торчу в техникуме...»

«Снаряд попал в двенадцатый номер трамвая. Я оказалась неподалеку, возле булочной, вначале невольно зажмурилась от страха, а когда открыла глаза, увидела эту картину: было много убитых и раненых, раненые жутко кричали. Все валялось вперемежку: люди, кошелки, бидоны, корзины, лопаты, оторванные конечности. Не успели еще увезти раненых, а некоторые уже кинулись подбирать морковь, редиску, пучки лука – их, видно, везли с огородов, они были залиты совсем еще свежей кровью. Пихали в сумки, даже в карманы, кто куда мог. Если подумать, то, конечно, овощ – не хлеб, его можно отмыть...»

«23 августа 1942г.

Яичница все на том же месте, где и в прошлом году, но теперь совсем никудышная: ссохшаяся, скукожившаяся, в середине какое-то темное пятно, даже не хочется смотреть...»

«Я должна рассказать про наших девочек...»

Должна! Про девочек она должна рассказать, а про собственных родителей, брата, сестру – «стараюсь не думать». Странно устроен человек.

«... про Женечку, Веру с Танечкой и Славушку. Если не я, то кто же про них расскажет? Не останется никакой памяти. Все четыре были такие славные, такие хорошенькие. Жене, Вере и Славушке исполнилось семнадцать, а Танечке, Вериной сестре, в начале войны было пятнадцать. Отцы ушли на фронт, а матери... Тяжело писать. Совершенно нету сил, пальцы отказываются удерживать карандаш. И временами кажется: зачем, какая разница? Все становится безразлично. Но постараюсь продолжить. Женина мама Марья Семеновна и бабушка Клара Исааковна – обе, как на грех, оказались иждивенками и на второй же месяц умерли от голода, причем Марья Семеновна умерла раньше пожилой матери, я подозреваю, что она как-нибудь обманом отдавала дочери свой хлеб (100 грамм). Клара Исааковна протянула после нее недели две. А Верину и Танину мать Ирину Станиславовну убило во время обстрела, вернее, не убило, а ранило, но у раненых, как правило, уже не хватало сил поправиться. Умирили даже от самых пустячных царапин, а у нее, если не ошибаюсь, была оторвана кисть правой руки. Славушка жила не в нашем доме, так что я не в курсе ее обстоятельств. Столько людей умирало ежедневно, это сделалось обыденностью. Одно знаю точно: к тому времени, когда девочки собрались в нашей квартире, у них никого из близких не оставалось. Все, кроме Тани, работали на предприятиях. Держались мужественно, как настоящие комсомолки...»

«Как настоящие комсомолки!» Умрем, но не отступим...

«До войны Женя, Вера и Слава учились в одном классе. Они дали слово не бросать друг друга ни в какой беде и действительно поддерживали, сколько могли. Договорились, что у них все будет общее: любая еда, любой кусок хлеба, все, что только удастся получить или раздобыть. Я ими любовалась, восхищалась их выдержкой, их верой в победу. Рабочие на оборонных заводах получали усиленное питание, но это тоже было ничтожно мало, совершенно недостаточно для молодого организма, да еще при много часовом рабочем дне. А когда перестали ходить трамваи, изматывала дорога. Вере на работу и обратно приходилось делать в день по десять, если не больше, километров. В такой жуткий мороз. Так что, конечно, ничего удивительного, что все кончилось печально. Но первой умерла не Вера, а Женя – окатила себе ноги ледяной неводской водой. Это когда комсомольцев направили любой ценой доставить воду на хлебозавод. Простояла на морозе несколько часов с мокрыми обледеневшими ногами, пока не упала без чувств. Дома мы привели ее в сознание, но спасти ее было невозможно. Она сказала, что никак не могла выйти из цепочки, потому что ей было очень стыдно перед товарищами за то, что она не

удержала этого ведра – ведь столько человек, еле держась от слабости на ногах, подняли его от Невы и передавали из рук в руки целый километр или даже больше, а она, расплескав эту драгоценную воду, свела на нет все их усилия... Вот о чем она думала. Двое суток в бреду все мучилась от своей неловкости и просила извинить ее, не сердиться.

Но я забегаю вперед. Я сначала хотела рассказать о том времени, когда девочки были живы. У нас, на нашей же лестничной площадке, в квартире напротив, незадолго до войны поселилась молодая семья – офицер с женой, перевелись к нам откуда-то с Дальнего Востока. Очень заметная пара: она – яркая пышная блондинка, а он высокий сухощавый шатен с усиками. Но его я видела всего лишь считанные разы, он вскоре был отправлен на фронт, она осталась одна, но, как выяснилось, беременная на пятом месяце. Ничего ужаснее невозможно себе представить. Видимо, это ее положение и толкало ее на всяческие хитрости: она прилепилась к нашим девочкам, не знаю уж, как, но сделалась завсегдатаем в нашей квартире, восхищалась их дружбой и всячески втиралась в доверие. Трудно поверить, но они приняли ее в свою компанию и стали делиться хлебом и всем, что у них было. Причем она без устали уверяла, что будет необычайно им полезна и вот-вот вложит свою долю в общий котел. Рассказы ее были столь подробны и красочны, что я сама в какие-то моменты невольно им поддавалась. Она, например, утверждала, что на Выборгской стороне живет ее тетка, с которой они летом успели наварить двадцать, если не больше, трехлитровых бутылей клюквенного и крыжовенного варенья, и половина всего этого богатства по праву принадлежит ей, и она дожидалась только снега, чтобы перевезти их к себе на саночках, и надеется, что девочки ей в этом деле помогут. И тут же прибавляла: «Это, правда, такой простреливаемый район, страшно туда и сунуться. Но обязательно надо пойти, а то тетка, старая зараза, чего доброго вообразит, что я уступила ей свою часть». А потом к этому варенью стали прибавляться и сухари, и сало – все каким-то образом от той же тетки, будто бы оставленные там на хранение. Много в ее рассказах путалось и вызывало сомнение, но девочки всему верили. Она еще сетовала, что тетка, дескать, женщина пожилая и темная, не понимает, что варенье – это витамины, особенно клюквенное, а витамины – это поважнее, чем любой хлеб или крупы. Возьмет, чего доброго, и сменяет. И тут же приводила пример: вот Петровские в том месяце сменяли большую и довольно еще упитанную собаку на двадцать пять порошков аскорбинки. Вот что такое витамины! И без конца рассуждала, как следует все эти банки и бутылки завернуть и укутать, чтобы не разбились и, не приведи бог, не полопались от мороза, дорога ведь дальняя и трудная. И так далее, в том же духе, каждый вечер почти в одних и тех же выражениях. Мы все были как-то зачарованы этими бутылками с вареньем и охотно собирались послушать, а девочки, хоть и смертельно усталые, просто не отрывали от нее взглядов. А хитрая рассказчица тем временем, как бы между прочим, успевала запихнуть себе в рот несколько

кубиков драгоценного чужого хлеба или две-три ложки какой-нибудь похлебки. Все это видели. У Танечки от ее рассказов зеленые глаза сами делались, как спелый крыжовник. Но она же в конце концов первая опомнилась и потребовала немедленно представить эту тетку с вареньем и прочие посулы. Тут мошенница почему-то растерялась – трудно понять, почему, ведь если подумать, могла как-нибудь и дальше тянуть свою игру и находить новые достаточно правдоподобные отговорки. Но когда Танечка в тот день сказала: «Вы лжете! У вас нет никакой тетки! И никакого варенья нет! Вы просто приходите к нам питаться!», она не придумала ничего лучшего, как кинуться к себе в квартиру и минут через пять вернулась с поллитровой баночкой, в которой на дне плескалось нечто подозрительное и мутное. Я уверена, что она просто плеснула в банку немного воды и разболтала в ней горсть штукатурки – штукатурка у нас постоянно... (далее написано: «сыпется», перечеркнуто и сверху поставлено мелко: «сыпалась во время обстрелов»). Эту банку она стала пихать Тане в руки и кричать: «Нет?! Нет, да? А это что?» Не знаю, действительно она сошла с ума или только притворялась, чтобы девочки оставили ее в покое. Но если учесть ее живот – острый, как будто под юбку подложили утюг – и кровавые цинготные мешки под глазами, то впечатление, конечно, было мрачное.

Самое удивительное, что она все-таки родила своего ребенка, кажется, мальчика. После варенья у нее появилась новая идея: она все время уверяла, что не может быть, чтобы люди умирали, успев съесть окончательно все припасы. По ее словам, в пустых квартирах, если порыться как следует, наверняка можно обнаружить припрятанные продукты. Дескать, человек не верит в возможность смерти, даже на краю могилы надеется на что-то лучшее, и как раз жажда выжить заставляет его быть осторожным, не съедать всего до конца, а откладывать хоть каплю на завтра. Нужно ходить и искать! Этим она и занималась с упорством маньяка – ходила по разбитым домам и искала. Целыми днями, забывая совершенно про оставленного дома младенца. Возможно, иногда что-то и находила. Во всяком случае, факт, что она пережила всех девочек. Я, честно признаться, ее не на шутку побаивалась...»

«Чувствую, что пишу нескладно. Нет сил – ни физических, ни душевных. Но я обязана рассказать...»

Никому ты, мама, ничего не обязана...

«Все началось с того, что когда я была у мамы в Несвиже – летом сорокового года, мы с Сережей тогда только поженились, – она чуть ли не силой заставила меня забрать бабушкины сережки с бриллиантками. Я не понимала, зачем, была уверена, что в жизни их не надену – кто же в наше время носит бриллиантовые серьги? Но она настояла на своем: «Ты не наденешь, твоя дочь наденет». Как будто предвидела, что у меня будет дочь. То есть, нет, как будто она знала, что ей самой эти серьги в любом случае

уже не помогут. Я постеснялась признаться Сереже в существовании этих серег, мне было стыдно, что у меня такая буржуазная семья. От мамы же у меня имелись и золотые часики с эмалью – подарок на свадьбу, но часы – это хотя бы полезная вещь и преподавателю действительно необходимая.

И вот в конце августа я зашла в техникум – занятий еще не было, в коридорах пусто, – подходит ко мне наша завхозиха и начинает ни с того ни с сего нахваливать мои часики, какие они, дескать, изящные и старинные, и вдруг спрашивает: «Не желаете ли, Любовь Николаевна, сменять их на продукты?» У нее, дескать, есть возможность поспособствовать. Я, помнится, в первый момент ужасно испугалась – зачем мне вступать в какую-то сомнительную сделку? И вообще, голода тогда еще не было, никто и предположить не мог, что мы увязнем в этой войне так глубоко и надолго, а неприятности вполне могли выйти, и весьма серьезные. К тому же и часов было жалко – как-никак мамин подарок. «Нет-нет, – говорю, – что вы! С какой стати?..» Но вернулась домой и всю ночь не могла уснуть от ее слов. Ночью вдруг все представилось совершенно в ином свете. А под утро пришло словно озарение какое-то: война – это война, как бы быстро она не кончилась, но хозяйство разрушено, продукты будут дорожать. Кто знает? Сегодня мне за них дадут больше, чем через месяц или два. Стала себя уговаривать, что бояться особенно нечего: все вокруг как-то крутятся, что-то покупают, перепродают, не я первая, не я последняя! У меня, в конце концов, грудной ребенок... И тут вдруг вспомнила про серьги. Когда не собираешься какой-то вещью пользоваться, она словно бы и существовать перестает. А тут думаю: зачем мне отдавать сейчас часы? Они мне еще пригодятся. А сережек этих у меня никто никогда не видал, так что в случае чего и отпереться легче. А дальше все пошло как в какой-то странной сказке: завхозиха привела меня к своей то ли свояченице, то ли соседке. Маленький деревянный домишка на краю города, форменная развалюха, и прямо в холодных сенях стоят несколько бочек со сливочным маслом (навверняка ворованным, откуда в наше время у городского жителя может быть бочка масла?) – и прочей какой-то снедью, я не заглядывала. Это обстоятельство меня снова повергло в ужас – такие размеры хищения, – но отступить показалось поздно. Мы еще поторговались, причем завхозиха оставила нас вдвоем, так что я беспрепятственно отдала не часы, а серьги. Часы я на всякий случай сняла с руки и спрятала на груди – кто их знает, что за публика. Кстати, эта баба без устали твердила о своей честности, что я могу ей полностью довериться, к ней, дескать, люди годами ходят, и я и впредь могу сколько угодно обращаться, она в жизни еще никого не обчитала и не обманула. После всех этих уверений она отвалила мне за мои сережки увесистый брусок хорошего, абсолютно свежего сливочного масла и еще два кило крупы сунула в придачу, как бы от собственной щедрости – мы о крупе и не говорили. А менее чем через полмесяца немцы разбомбили Бадаевские склады! От души надеюсь, что и масло, и крупа были украдены именно там.

Дома я переложила масло в стеклянные литровые банки и залила соленой водой – мама всегда так делала, чтобы не прогоркло...»

Мама, видно, забыла, что собиралась говорить о девочках, слишком увлеклась историей масла и своих бесконечных хлопот по поводу его хранения и перепрятывания. Впрочем, ее можно понять... Никто, кроме Киры Владимировны, моей няни, не знал о его существовании. И потом тоже никто не знал. Я думаю, что мама и отцу не призналась, каким образом ей удалось выжить. А дневник мы с Любой нашли, когда их всех уже не было на свете. Так что одна только Люба и посвящена в секрет моего существования – живу на свете благодаря украденному откуда-то маслу. И следовательно, и мои дети – все четверо, существуют благодаря этому маслу, приобретенному за бабушкины бриллиантовые сережки у свояченицы техникумовской завхозихи. Но Люба – женщина практичная, ее в этой истории ничто не смутило. Действительно, не могла же мама делиться своим драгоценным маслом с кем попало – с соседями, или с теми же, допустим, девочками... С девочками, может, и следовало бы капельку поделиться – милые девочки, славные комсомолки, на ее глазах умирали от голода, и она очень им сочувствовала, безумно сочувствовала, но масло свое продолжала прятать. Дело житейское: человек спасает себя и своего ребенка. Все-таки перепрятывание собственного масла простительней доноса или иных видов борьбы за выживание. Кто знает, каким уловкам обязан своим существованием любой из живущих? Люди неподкупные и безгрешные имеют мало шансов уцелеть в этом мире.

Почему я никогда не попыталась хоть что-нибудь выяснить о бабушке и дедушке? Почему никогда не побывала на месте их гибели? Хуже того – рядом, в двух шагах от Несвижа, таскалась с каким-то студенческим походом по каким-то мерзким белорусским болотам и ни разу не подумала, что тут рядом, во рву, затопленном вонючей водой, лежат мои родные бабушка и дедушка. Спала на земле, наполовину погруженной в ледяную зеленоватую жижу, и не вспомнила. Прожила в России тридцать один год и ушла легко и беззаботно. До чего же звонкая и веселая была у нас юность... Песни у костра.

А история с девочками имеет продолжение. То есть, не с девочками, а с той обманщицей, офицерской женой:

«Когда девочек уже не стало, она нашла себе новую подружку. Та поселилась у нее – не то приглядывать за ребенком, не то просто, чтобы веселее было. И, видимо, заразилась ее безумием: несколько раз ловила меня на лестнице и с жаром объясняла, что она беременна и непременно должна сделать аборт. Чтобы я помогла ей найти врача. Я сразу поняла, что это бред. «От кого же, – говорю, – вы можете быть беременны?» Она стала сочинять, будто бы познакомилась с каким-то человеком – одним словом, всякую чушь. А сама уже еле передвигалась. Но эта тревога по поводу мнимой бе-

ременности ее, видимо, отвлекала от мыслей о скорой неизбежной смерти...»

Судьба золотых часиков с эмалью так и осталась недосказанной. Наверно, и они впоследствии проделали тот же путь в «маленький деревянный домишко на краю города». Во всяком случае, я их у мамы не видела.

5

Жестоко и бессердечно, сказали бы мы сегодня, без конца оставлять десятилетнюю девочку одну возле умирающей матери. Но тогда смотрели на жизнь иначе. Никого это не трогало. Что касается меня самой, то я мало себя замечала, мне было безумно жаль маму и безумно обидно, что отец ее не жалеет. Но видимо, ребенок не умеет сочетать свои чувства с действиями. Было безумно, до ужаса, до онемения в груди, до перехвата дыхания жалко ее, но это не мешало вдруг подхватиться и по первому зову, донесшемуся с улицы сквозь распахнутую форточку, нестись с подружками на каток. Она не удерживала меня, только вздыхала: «Еще бы, как можно! – отстать от драгоценных подруг!» Ребенок все воспринимает как должное – как единственно возможное. У меня была больная мать. Все это знали. Это было так – больная мать. И был статный, пригожий, молодцеватый отец. Который целыми днями пропадал на заводе. И ночами тоже – он был заместителем начальника цеха, в котором трудилась добрая тысяча вечно нетрезвых и мало сообразительных пролетариев. Бывших пролетариев, а ныне строителей коммунизма. И пролетариями, и строителями, и пьянчугами их сделала советская власть, а прежде, не так уж давно, они были простыми крестьянскими парнями и девушками, наверно, достаточно добросовестными и работающими. Может, не такими, как Мартин и Юханна, но подобными им. Строительство коммунизма потребовало много покорных рабочих рук для постоянного перевыполнения плана – привычных, запланированных авралов. Под конец месяца отец проводил на заводе безвыходно по несколько суток подряд. А мама тем временем постанывала на своей кровати. У нее была инвалидность первой группы.

Но и в начале месяца, когда, отрапортовав о достижениях, завод погружался в дремоту и простой, отец все равно избегал бывать дома. На коммунальной кухне его поведения не одобряли. Что выпивает – кто теперь не пьет? – не вызывало серьезных осуждений, но что гуляет – а по их рассказам, гулял он со всем женским составом цеха, – что так открыто гуляет при живой жене, это уже не укладывалось в их представления о нравственности. Избранницы его разбирались по косточкам во всех подробностях. Получалось, что все они как одна пропащие и бесстыжие. Пробу ставить негде. По воскресеньям он иногда сидел за столом, пил крепкий чай, ерошил пятерней свою великолепную шевелюру – откидывал упрямые льняные кудри и читал газету. Воспользовавшись моментом, мама, чуть приподнявшись на подушках, неуверенно произносила: «Серезжа...» Он продолжал читать, словно не

улавливал ее призыва. Она подавленно вздыхала и снова пыталась подступить к нему: «Сережа, я не могу видеть, как ты себя убиваешь... Не могу на это смотреть! Если ты себя совершенно не жалеешь, пожалей хотя бы ребенка... Подумай – с кем она останется?» Кончалось дело обычно тем, что он швырял газету на стол (а то и на пол), поднимался и уходил. Иногда бросая ей в ответ: «Ты когда-нибудь прекратишь свое нытье?!» Но пока он напяливал пальто и шапку, пока вдевал ноги в сапоги (а позднее, полуботинки), она успевала продолжить: «Прекращу, Сереженька, прекращу... Гораздо скорее, чем ты думаешь... Но что же будет с Ниночкой? Сережа, что же будет с Ниночкой?! Ведь тебя выгонят! Тебя уволят. Кто же станет терпеть это постоянное беспробудное пьянство?.. Ты себя не помнишь! Ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты же руководитель, коммунист, пример!..» Последние фразы произносились, как правило, уже впустую, в плотно захлопнувшуюся за ним дверь. Чтобы не видеть ее слез, я уходила на кухню мыть посуду. И слушала: «Бесстыдник! Мартовский кот! Хоть бы людей посовестился! Недолго, небось, ждать-то осталось – совсем ведь она плохая. Мог бы и погодить малость».

Соседки ошибались. Мама прожила еще два года. Два года! Временами ей даже становилось легче. Она опускала распухшие как кувалды ноги на пол и принималась потихонечку передвигаться по комнате, стараясь исправить какие-то погрешности моего неумелого хозяйствования. А я с младенческой наивностью тут же принималась верить, что теперь она поправится, выздоровеет, как выздоравливают от гриппа или ангины, станет крепкой и бодрой, как все другие матери, и все у нас пойдет счастливо. Радость заливала меня всю – от макушки до пят, – но ненадолго.

В последний месяц почки у нее совсем отказали, организм оказался отравленным ядами, которые час за часом пропитывали все клетки тела и мозга, начались галлюцинации, бред, она вдруг покинула русский язык и принялась говорить только на идише – я и не подозревала, что она его знает, – металась по постели и взволнованно общалась с бабушкой, тетей Соней, тетей Беллой, еще какими-то родственниками, я с трудом разбирала имена. Потом речь ее стала вовсе несвязной, сменилась стонами, мычанием и наконец оборвалась. Призванная из районной поликлиники врачаха констатировала смерть. Отца, конечно, не случилось дома, он явился часа через три, когда маму уже увезли, – и конечно, навеселе. Определение, усилившее ужас момента.

Отец плюхнулся на стул возле стола, уронил буйную голову на руки и зарыдал. Как я стыдилась его в эту минуту! Я была уверена, что он нисколько не печалится о маминной кончине, и слезы его настоящие – нарочно притворяется, ломает комедию, чтоб соседки не осуждали. Даже и пожалели еще. Я ненавидела и презирала его.

На похоронах он повел себя и вовсе бесславно – хотя не был пьян: кричал в голос, шатался из стороны в сторону, останавливался, раскидывал руки, не давал пройти тем, кто нес гроб, потом вцепился в край гроба и не позволял опустить его в могилу. На увещевания собравшихся и даже цехового парторга не обращал

внимания, никого не желал слушать, а только продолжал охрипшим голосом взывать: «Люба, Любаша! Любаша!!!» А когда гроб у него все-таки отняли – не так-то просто оказалось это сделать, он был сильный мужчина, – повалился у края могилы на колени, в самую грязь, и принялся вопить: «Прости, Любаша, прости, прости меня!!!» Все это выглядело ужасно и никак, никак не соответствовало ни его должности, ни многолетнему партийному стажу, ни славе отважного боевого командира.

6

Жаль, что Мартин не соблазнился моим предложением отправиться на север, в его родные края. Показать детям настоящее северное сияние. Было бы хорошо – ехать целый день на поезде, ни о чем не думать, просто глядеть в окошко на бесконечные голубые снега. Не захотел, наверно, сводить меня с Юханной. Там ее владения. Снежная королева прибыла к нам в детстве оттуда – в огромных летящих по воздуху санях... Дела, важные встречи! Враки – он давным-давно никому не нужен, все дела ведет Эндрю. И он это знает, и я это знаю. И прежде не силен был в делах – любое его начинание непременно оканчивалось либо большим пожаром, либо каким-нибудь бесчестным господином Стольсиусом, умудрявшимся оставить его с носом. Эндрю правильно делает, что держит его на известном расстоянии от издательства. Удивительно еще, как он все-таки сумел столько лет продержаться на плаву. Видимо, благодаря все той же безупречной порядочности и недюжинной выносливости. Наши достоинства – продолжение наших недостатков.

На что он мастер, так это экономить на всякой ерунде. На спичках. «Дорогая, зачем тебе второй телевизор? Это бессмысленно». Даже не так: «Дорогая, если хочешь – пожалуйста: два телевизора, три телевизора – как ты считаешь нужным!» С другой стороны, может, он и прав: будет второй телевизор, я залягу на тахте безвылазно. Так, по крайней мере, сидим по вечерам рядком, обмениваемся кой-какими ценными замечаниями. А то недолго и вовсе однажды не узнать друг друга.

Что его заставило остановить свой выбор на мне? Только то, что я не похожа на Юханну? Разве мало приличных, привлекательных и вполне свободных невест в этом городе и вообще в их разумной и упорядоченной стране? Между прочим, эта загадка до сих пор сводит с ума местных кумушек. Мог ведь взять свою соотечественницу да еще с приданым – не какую-то чужестранку, голь перекатную! Расчет Мартину чужд – это все давно знают. Помоему, он даже получает некоторое удовольствие от того, что постоянно садится в лужу. Наилучшее доказательство его благородства и неподкупной честности. А может, ему понравился мой акцент? В конце концов, не исключено, что я сама ему понравилась. Но настолько, чтобы взять и жениться? Нет, это его порядочность (и упорядоченность!) заставили довести дело до конца. Не дал слова – держись, а дал слово – женись.

В Иерусалиме происходила международная книжная ярмарка. К тому времени я уже три года как жила в Израиле и два года как работала в уважаемом, хотя и непривычном для себя издательстве, поддерживаемом отчасти государством, а отчасти крупным американским еврейским фондом. То есть американским этот фонд оказался более-менее случайно по прихоти затаейницы-судьбы. Дело в том, что до второй мировой войны в Европе проживали десятки писателей еврейского происхождения, творивших на всех европейских языках, начиная от идиша и кончая немецким. Были среди них достаточно известные, были и менее удачливые, но после войны, когда и тех и других не стало, очнувшееся от преступного безучастия человечество решило поправить дело и принялось усиленно издавать их сочинения – независимо даже от их художественной ценности. Но поскольку погибли не только сами писатели, но и все их близкие и наследники, гонорары, как правило, оказалось некому выплачивать. Разумно рассудив, что нищий Израиль истратит деньги не по назначению, то есть не на увековечение еврейской культуры, решено было основать в солидной Америке специальный фонд, куда будут стекаться все поступления от публикаций. Фонд тут же возглавили деловитые люди, принявшие без устали разъезжать по разным странам и останавливаться на постой в самых великолепных гостиницах, которые и не снились знаменитейшим из знаменитых истребленных писателей. Надо полагать, и зарплаты положили себе неплохие, но все-таки некую долю накапливающихся средств сочли разумным выделить на развитие еврейской литературы. Так, благодаря их опеке, в Иерусалиме возникло издательство, принявшее меня на работу, хотя и не слишком аккуратно выплачивавшее зарплату. Но это уже не зависело от заокеанских боссов, это местный бухгалтер и местный компьютер время от времени забывали внести меня в платежную ведомость.

На ярмарке я сидела у нашего стенда и демонстрировала посетителям зелено-голубые и оранжевые томики одинакового формата в мягкой обложке, предлагавшие русскому читателю сокровища еврейской мысли и духа. Мартин подошел и принялся беседовать со мной. В то время я была еще настолько наивна, что не сомневалась в искренней заинтересованности представителей мировой общественности русскоязычной еврейской литературой. На самом же деле Мартин, как и многие другие его коллеги, прибыл не столько на ярмарку, сколько просто в святой Иерусалим – счел своим долгом раз в жизни побывать в церкви Гроба Господня, благо расходы на поездку можно будет списать как производственные. Разумеется, он добросовестнейшим образом обошел все залы и экспозиции, поинтересовался книжно-издательскими процессами, тиражами и ценами, но в сущности, как всякий христианин, пусть даже не сильно верующий, душой пребывал в Гефсиманском саду.

Побеседовав со мной, он отошел от стенда, но минут через сорок вернулся – скорее всего, по чистой случайности вторично попав в тот же зал. А поскольку мы уже как бы стали знакомы, он, осознав свою ошибку, приветливо улыбнулся мне и взмахнул рукой: о да, я же здесь уже побывал! Постояв немного и как будто о

чем-то поразмыслив, подошел и со всей деликатностью пригласил меня составить ему компанию – погулять вечером по вечному городу. Я была уверена, что он позабудет обо мне, как только самолет оторвется от Святой земли. Но нет, не прошло и месяца, как я получила приглашение (вместе с оплаченным билетом) посетить его полночную страну – разумеется, без всяких обязательств с моей стороны.

Медовый месяц мы провели в Париже. Не месяц, две недели, но это не существенно. Кто из нас, бывших советских граждан, не мечтал побывать в Париже? Дивный коллективный сон!.. Однажды Мартин, притомившись, попросил разрешения остаться в гостинице, я отправилась бродить по городу одна и, разумеется, заблудилась. Новенькие босоножки натерли мне ноги. Немного поколебавшись – как вообще-то это будет выглядеть? – Париж все же, не какое-нибудь Закудыкино, я все-таки присела в более-менее безлюдном местечке, на полукруглых ступенях на стыке двух узких лучеобразно разбегающихся улочек. Дверь над ступеньками была заперта на несколько замков, у меня создалось впечатление, что ее не отпирали по крайней мере несколько десятков лет, – и тут надо мной склонилась милая пожилая женщина и участливо поинтересовалась, не нужна ли мне помощь. Я могла отвечать только по-английски, но она каким-то образом – по акценту, наверное, – догадалась, что я из России, и заговорила со мной по-русски.

– У вас стерты ноги! – заметила она озабоченно. – Подождите, не уходите. Я сейчас вернусь!

И действительно вернулась – с парой слегка поношенных черных лакированных «лодочек».

Боже праведный! Именно такие я мечтала иметь на выпускной вечер – черные блестящие лакированные «лодочки». Белое платье у меня было, может, не особенно пышное, не как у других девочек – Люба сама его сшила из «лоскута». На рынке у нас была лавчонка, в которой торговали «лоскутом», очередь к окошечку нужно было занимать задолго до открытия, «лоскут» поступал со швейных фабрик нерегулярно и, конечно, разного качества, но Люба, благодаря одному своему знакомому милиционеру, достала три больших и совершенно одинаковых белых лоскута. Однако лакированных туфель при всем своем желании она не могла мне купить – не по нашим деньгам.

– Возьмите! Вы можете взять их себе! – сказала женщина.

Я примерила нежданый подарок – туфли были удобные, мягкие и словно по заказу – моего размера.

– Берите, берите! Они мне совершенно не нужны, – заверила парижанка, заметив мое смущение.

Я поблагодарила, и мы расстались, так и не познакомившись. Я понимаю: не всем пара туфель представляется таким уж исключительным чудом, но я храню их до сих пор, хотя и не надеваю уже – лакированная кожа вышла из моды.

Отойдя от крыльца с запертой дверью, я подумала, что не устремись Марина Цветаева в своей безумии в советскую Россию, это она сейчас могла бы вынести мне поношенные лакированные

дочки. Хотя вряд ли – характерец, говорят, у великой поэтессы был превредный.

7

Почему человек не решается сделать то, что ему так хочется? Стесняется собственной дури. Опасается сверх меры разоблечь себя. Мне вот ужасно хочется запастись 23 килограмма муки! И два ящика сахару. Куль лапши и мешок гречки. Полпуда рису. Жиров, соли и спичек. Кому, собственно, это может помешать? Места у нас в квартире предостаточно. Испортятся? С чего бы им портиться – сырости в доме не водится. Можно упаковать как следует, к тому же, не обязательно держать годами: использовал килограмм муки, положи новый. Даты только надо проставлять, чтобы не путались. Ну, допустим, что-то даже испортится, так что? Такой уж непереносимый убыток? Чепуха, мы то и дело выбрасываем деньги черт знает на что. Всякие кремы, шампуни, цветочные горшочки, пепельницы. Даже Мартин при всей его прижимистости вечно сорит деньгами. Просто так, конечно, копейки лишней не выбросит – не переносит транжирства. Но если дешевая распродажа, тогда другое дело, тогда пожалуйста – накупим на Маланьину свадьбу. Нет, дело не в этом – мужества не хватает выступить эдаким идиотом: устраивать Бадаевский склад на дому, когда известно, что перебоев в снабжении не предвидится и вообще ничего с нами случиться не может: ни потопа, ни пожара, ни мора, ни глада! Благополучие наше незыблемо. И о таком Кроте Ивановиче, который тащит по зернышку в свою нору, могут подумать что-нибудь совсем нехорошее.

И все-таки каждое посещение супермаркета – невыносимый иску. Между прочим, Мартин, насколько я успела заметить, тоже не прочь иметь в доме некоторый запасец того-сего. На всякий случай – в разумных пределах. Шоколад, например, никак невозможно закупать впрок – куда ни спрячь, мальчишки все равно доберутся и слопают. Но пара пакетов муки или того же сахара никого не соблазняет и подозрений не вызывает.

Внутренняя борьба, как всегда, заканчивается тем, что я опускаю в тележку лишнее кило рису, два пакета кукурузных хлопьев и баночку молочного порошка, после чего с индифферентным видом отступаю от невыносимо отягощенных всеми видами съестного стеллажей.

– Черт его знает, что это за дрянь такая?.. Как это понимать? – слышу я вдруг сбоку.

От смущения за набранный без надобности товар – за вороватое расхитительство народного добра («ОТПУСК ПРОДУКТОВ В ОДНИ РУКИ»!) я не сразу соображаю, что фраза-то произнесена по-русски. Мужчина средних лет, средней упитанности и средней потрепанности вертит в руках коробку «пасты». Разумеется, для российского человека «паста» – это зубная паста, рыбная паста, шоколадная, ну, в крайнем случае – пастила, но уж никак не твердые и ломкие макаронные изделия.

– Это макароны, – разъясняю я любезно и тут же догадываюсь, кто передо мной.

Пятиведерников. Собственной персоной. Ничего особенного и тем более сверхъестественного: каждый вправе зайти в магазин и купить, что ему требуется по хозяйству. Если два человека живут в одном и том же городе, рано или поздно они обязаны где-нибудь столкнуться – в банке, аптеке, на заправочной станции или в универсальном магазине. Странно, что этого не случилось прежде. А может, и случилось, да мы внимания не обратили?

– Какая встреча! Какая неожиданность – госпожа советница! – восклицает он столь восторженно, что у меня невольно закрадывается подозрение: не специально ли выслеживал? Чепуха, конечно. Он ставит пакет с «пастой» обратно на полку и театрально всплескивает руками. – Вы подумайте, привел-таки Господь!

– Почему – советница? – попадаюсь я глупейшим образом на его удочку.

– А как же! Даете моей благоверной ценные советы: гнать меня в шею – вагоны мыть!..

Знает, сволочь! Совсе не спал, как представлялось доверчивой Паулине, а подслушивал наш разговор. Сама она, конечно, не стала бы передавать ему мои слова...

Любая жизненная ситуация, как правило, предоставляет нам два выхода. В данном случае первый, простейший (а также умнейший) – изобразить непонимание, пробормотать что-нибудь вроде «простите, не знаю, о чем вы говорите» и поскорее удалиться. Второй: поднять брошенную перчатку. Хотя, что называется, еще большой вопрос: стоит ли ввязываться в объяснения с Пятиведерниковым? Разве что ради Паулины...

– Вы вызываете меня на откровенность или на дуэль? – вопрошаю я добродушно.

Удобная позиция для дуэлянтов: коляска с продуктами, два кило рису, три сахара, бутыль молока, огурчики-помидорчики, ветчинка. Устроим пикник и будем стреляться!

– Остроумно. Скаламбурить норовите... – Лицо его кривится и выражает разочарование. – Смешно, – цедит он, заводя нижнюю челюсть на сторону: – живут два человечка, можно сказать, по соседству... С одной деревни, можно сказать... С одной державы. И никаких родственных чувств... – Челюсть медленно-медленно кругообразно ползет на место. – Вы ведь с Большой Фонтанки, верно? Садовой-Гороховой? – фыркает он. – Или Халтурина, товарища Кирова? Впрочем, без разницы...

– Вы ленинградец?

– Боже упаси! – такие гнусные растленные типы, как Пятиведерников, недостойны проживания в городе Ильича! Мы с Петербурга.

Беседа бесперспективна. Ненужная встреча, мерзкое кривлянье и мои дурацкие потуги – он прав – свести все к необременительной шутке – прав: норовлю скаламбурить. Туда же. Словечка в простоте... Таланту только не хватает.

– Извините, – говорю я, – я должна идти.

Он не отступает – тащится следом и все время, пока кассирша пропускает мои свертки, коробки и консервные баночки сквозь электронный глаз автоматической кассы, изображает деятельную причастность: передвигает покупки, называет вслух, и довольно громко, и главное, все по-русски, вспыхивавшие на табло зелененькие циферки, интересуется аккуратностью и плотностью упаковки. Неудивительно, что касса, глупый пластмассовый ящик, приняв нас за добрых знакомых, за милую пару, которой следует облегчить ситуацию, помимо обычного чека выщелкивает из своей щели еще и выигрышный талон на посещение расположенного в глубине торгового заведения кафетерия: «кофе с пирожным на двоих». Действительно, как это любезно с ее стороны – не сидеть же двум взрослым приличным людям в городском саду под мокрым снегом пополам с дождем! «Кофе с пирожным на двоих». Четверть часа в тихом, оплетенном комнатными вьюнками уголке – портативный зимний сад... Не нужно было поддаваться, сразу же следовало сказать: сожалею, спешу, извините. Можно было бы обойтись и без «извините».

Мы усаживаемся. Зачем я переживаю из-за ерунды? – чашка кофе ни к чему не обязывает.

Шесть-семь столиков вокруг пусты. Видимо, выигрышные талоны немногочисленны. Пятиведерников, порывшись в карманах, вытряхивает на столик скудную наличность: в основном мелкими монетами. Я решаю не обращать внимания.

– Хозяйка направила: соуса прикупить. Обед сооружает – для меня, тунеядца, – считает он необходимым объяснить причину своего возникновения в магазине. – Надеются, так сказать, приручить и укротить посредством хорошей кормежки. Местных деликатесов. А я вот... – рот его расплывается в счастливой улыбке, – скотина неблагодарная, истрачу ее денежки на пиво-воды! Возьму вот и выпью пивка – вместо буржуйского соуса... А что? скажу – потерял! Совру – как проверишь? Верно? В крайнем случае, отшлепает. В угол поставит.

– Вы не обидитесь, если я задам вам один вопрос?.. – начинаю я и тут же чувствую, что неудачно – мускулы у него на лице напрягаются, в глазах вспыхивает острое жало отпора моему любопытству. Но, спаси и помилуй! – я вовсе не собиралась затрагивать щепетильных тем. – Откуда у вас столь странная фамилия?

– А!.. – Он облегченно расслабляется, откидывается на кружевном стульчике. – На это имеется семейное предание: прапрадедушка мой, что ли... изволил... Купец, понимаете, прапрадед был, купчина, пережиток прошлого! И богатый, говорят. А потому фамилия ему была дана: Семиведерников. Всем, дескать, обеспечен, много всякого добра нажил. А вот дедушке моему – тот уже благодаря папашиним денежкам образование получил, в интеллигенты метил, – такое вместительное прозвище показалось неделикатным. Человек, понимаете, возвышенные устремления имеет, и вдруг – Семиведерников. Возмечтал стать, скажем, Ларионовым или Константиновым. А тут как раз случилось государю-императору проезжать через те места – дед осмелел, выступил из

строю верноподданных и с земным поклоном подал челобитную: прошу, дескать, заменить неудачную смехотворную фамилию на что-нибудь более учтивое и подобающее моему нынешнему состоянию. А царь, Его Величество, ознакомившись с прошением, наложили резолюцию: скостить подлецу два ведра! Пошутили, стало быть...

– Замечательная история, – одобряю я.

– Да, заклеямили царь-батюшка весь наш род. И ведра-то прохудились. Пустой звон остался. А чего не посмеяться, если под тобой вся Русь-матушка? Верно?

Глаза у него большие, серые, веки припухшие – не от излишеств, а так, от природы. Вообще, на это лицо было отпущено много материала: губы крупные, слегка вывернутые, из тех, что приходят с юга. А нос – более-менее лаптем, вполне российский нос, но имеет еще нечто вроде довеска. Именно так: будто остался кусок теста и нужно было его куда-то употребить, приладить на готовые уже формы – не выкидывать же добро.

Я люблю этот магазин за его удивительный запах: круглый год тут гуляет морской бриз, свежесть такая, будто за стеной не подсобки и склады, а необозримые просторы, будто сам Нептун прогуливается тут в свободное время. Здание ничем не примечательное – плоское, как коробка из-под сапог, вполне соответствует нормам второй половины двадцатого века. Но кафе оформлено со вкусом: мраморные столики на гнутых чугунных ножках, лесенка в углу – с такими же чугунными перилами. Русский модерн. Будто специально потрудились для нас с Пятиведерниковым. И кофе вкусный, крепкий, можно потягивать и помалкивать: мы свою лепту в завязывание беседы внесли, пускай теперь развивается – если сумеет.

Он еще раз сосредоточенно пересчитывает монетки, сгребает в широкую ладонь – пальцы у него длинные, но как будто немного подагрические: в суставах утолщены, а на концах чуть вздернуты. Встает и направляется к прилавку, за которым хозяйничает худенькая невзрачная девчушка. В кафе появляется еще один посетитель: негр в отличном, ладно сидящем на его плотной фигуре кремовом костюме. Спортсмен? Сутенер? Не исключено, что агент какой-нибудь тайной заморской полиции из отдела по борьбе с наркотиками. Негр достаивает меня одним-единственным профессионально-безразличным поверхностным взглядом, а затем долго, но столь же как бы незаинтересованно изучает девушку за прилавком. Пятиведерников возвращается с жестянкой пива. Мы сидим в пальто, а вот негр свой плащик снял и интеллигентно повесил на стоящую при входе разлапистую вешалку. Мне хочется последовать его примеру – жарковато тут, но я боюсь, что это будет неправильно истолковано: будто бы мы можем оставаться здесь бесконечно долго. Нет, никак невозможно оставаться бесконечно долго, дети вот-вот вернутся из школы – материнские обязанности, да и Мартин, наверно, соскучился.

– Что ж? – Пятиведерников переливает часть «пивка» в узкий высокий стакан и с удовольствием отхлебывает. – Готов, так сказать,

выслушать ценные рацпредложения. Значит, имеете рецепт, как исправить мою жизненную стезю? Для начала – мыть вагоны, а далее?

Я не обязана отвечать на его вопрос.

– Почему вы не сотрудничаете в эмигрантских журналах? Вы способный человек. И слогом владеете.

– Хреном я владею! – парирует он.

– Одно другому не помеха.

– Вы полагаете? Тогда составьте протекцию!

– У вас есть кому составлять протекцию.

– Н-да?... Павлинка, что ли? Бросьте, ее там за дурочку держат... А с чего это вы, собственно, взяли, что я владею, как вы изволили выразиться, слогом? – скромничает он.

– Читала одно ваше сочинение.

– Ну, Павлина – ну, предательница! Роемся, значит, в моих бумагах, да еще посторонним показывает!

– Паулина тут ни при чем. Я читала ваше письмо, адресованное иерусалимским друзьям.

– Из-ви-ни-те – забыл!.. – присвистывает он. – Действительно... Так это что же получается? Получается, что у нас куча общих знакомых! Н-да... Нигде не скроешься. А что за письмо? Я ведь многим писал.

– Про то, как вас в Риме собаки чуть не загрызли.

– А!.. Какие детали... И это увековечено. Всё как на ладони. Один я, дурак, никогда ничего не знаю.

– Это, наверно, потому, что вы интересуетесь только собой. Окружающие для вас почти не существуют. Существуют постольку-поскольку.

– Как это, не откажите объяснить: постольку-поскольку?

– Постольку, поскольку они могут быть вам полезны.

– Интересно... Ценное наблюдение. – Он усмехается и откидывается на стуле. – Главное – что восхищает! – не то, что все всё знают, а то, что знают, как надо. Большие специалисты по этому самому «как надо». Как нам обустроить Россию! Как повысить уровень грамотности. Как журналы издавать и как чужую душу спасти!

Он решительно поднимается, но не для того, чтобы уйти – вновь направляется к стойке и возвращается с еще одной жестяной пива.

Я избираю порассуждать на общие темы и удалиться на максимально безопасное расстояние от мытья вагонов.

– Россия в конечном счете как-нибудь да обустроится. Не могу вообразить себе окончательной ее гибели. Это только Рим мог себе позволить такую роскошь – одряхлеть и погибнуть. А Россия наверняка устоит. Не сказала еще своего последнего слова. Надежно заспиртовалась. Законсервировалась и ждет. Следующего момента.

– Вот тут-то, уважаемая, вы очень сильно ошибаетесь! – отмечает он мои домыслы. – Лет десять от силы – в заспиртованном состоянии. Больше не выдержит.

– Да? А что же с ней делается?

– Уже делается.

– По-моему, это вы ошибаетесь. Ничего ей не станется. То есть будет в конечном счете всё то же самое. Недовольна чем-то кучка диссидентов, да и те в большинстве своем уже на Западе, а народ вполне счастлив – воровать, бездельничать, пьянствовать. В последнее время можно даже языком чесать – если так уж хочется. Я думаю, власть потому и позволяет языками чесать, что вполне в себе уверена.

– Рассуждаете, мадам, – хмурится он, – о том, в чем ни хрена не смыслите. Это в ваше время можно было безнаказанно чесать языками. Теперь – нет.

– Может быть, – соглашаюсь я. – Честно сказать... Знаете, в наше время был один довольно известный отказник, так вот, когда его начали прорабатывать, допрашивать на собрании, чего, дескать, стремишься на Запад? Клеветать, небось, на нашу советскую действительность? Он сказал: нет, клеветать на вашу действительность не собираюсь, собираюсь позабыть об этой действительности навсегда – ваша страна меня абсолютно не интересует ни с какой стороны. Вот и меня, пожалуй, так же – очень мало интересует.

– Мило, – говорит он. – Но позвольте тогда поинтересоваться: зачем же способствуете моей дорогой супружнице в ее благородной деятельности?

– Если я и способствую – в незначительной мере, – то исключительно из хорошего к ней отношения – к вашей супружнице. Ради приятельства, но никак не ради России.

– Что ж, тоже позиция. Принципиальная. Великие свершения в силу пустячных причин. И со мной, догадываюсь, изволите теперь беседовать исключительно ради этого самого вашего с ней приятельства?

– Возможно, – соглашаюсь я, не видя причины для запираательства.

Негр тем временем подымается из-за столика, неторопливо облачается в плащ и твердой походкой направляется к выходу. И сталкивается в увитом вьюнками проходе с шустрым старичком, стремительно движущимся во встречном направлении. В кафе никого, и весь огромный торговый центр практически пуст, но два человека почему-то обязаны налететь друг на друга меж двух кадок с растениями. Два грузовика на льду Ледовитого океана... Негр солидно бормочет «сорри», старичок повыше вскидывает квадратную бороденку и усаживается за соседний с нами столик. Как будто нарочно помещены рядом: крупное округлое и сдобное лицо Пятиведерникова и будто вырубленное топориком лицо старичка – одни прямые углы: прямой короткий нос, прямая увесистая верхняя губа, прямой лоб. Удивительно стандартный местный старичок.

– Что ж, половина проблемы решена, – постановляет Пятиведерников: – Россию к чертям! А чем же, в таком случае, будем озабочены? Уж не дальнейшим ли повышением благосостояния местного населения?

– Перестаньте, – смеюсь я. – Будем озабочены сами собой: восходом, закатом...

– А, ну понятно: пчелки-бабочки, цветочки, семья, детки!..

– И цветочки, и детки. Что в этом плохого? Может, в какой-то мере литературой...

– Врете вы, – говорит он. – Литература не бывает о пчелках-бабочках, литература – это о другом. – Мрачно отворачивается и погружается в раздумье.

Пора, пора уходить. Подняться и уйти.

– Знаете что? – сменяет он гнев на милость. – Угостите меня по такому поводу кружкой настоящего пива! Не этой дряни. – Он щелкает пальцами по жестянке. – Голова после вчерашнего гудит, а я, как вы, верно, заметили, не при деньгах. Павлинка держит в ежовых рукавицах – хотя, вероятно, правильно делает...

«Половой, пару пива!» Полового не водится – только серенькая девчушка. Такие девушки по ночам должны превращаться в сереньких мышек и грызть «пасту».

Я раскрываю кошелек и выкладываю на стол бумажку.

– К сожалению, я должна уходить. А вы возьмите себе пива и постарайтесь все-таки купить этот самый соус, за которым она вас послала. И передавайте ей привет.

– Соуса не куплю и привета не передам! – капризничает Пятиведерников. – Интересно, держат эти сволочи приличное пиво? Благосостояние...

Я оставляю его слова без внимания, поднимаюсь и огибаю увитую зелеными сердцеобразными листьями витую перегородку.

– Благодарствуйте! – спохватывается он, когда я нахожусь уже по ту сторону преграды, и тут же на моих глазах, как ни в чем не бывало, без малейшего смущения перемещается за столик бородатого старичка. Ловок, прохвост! И тут пристроился.

– Не забудьте про соус, – напоминаю я сквозь зеленую завесу.

8

Десять дней после маминых похорон отец провалялся с высокой температурой – может, простудился на кладбище, а может, это было то, что в старые времена именовалось нервной горячкой, – врача из поликлиники не смогла в точности определить, но в любом случае велела принимать пенициллин. Пенициллин тогда прочно вошел в употребление и сделался панацеей от всех хворей.

Вместе с отцом, почти в тот же день, занедужил и товарищ Сталин – по радио передавали бюллетени о состоянии его здоровья, но ему, в отличие от отца, пенициллин не принес желанного облегчения.

Товарища Сталина положили в Мавзолей на вечное обозрение, а отец, бледный и худой, с поникшими, поредевшими кудрями, встал с дивана и отправился к себе на завод. Мама волновалась напрасно: никто его ниоткуда не выгнал и не уволил, он, как видно, был неплохим специалистом и к тому же выглядел неотразимо: мужественный, уверенный в себе, преданный делу руководитель. Вылитый русский богатырь – нет, не столь грузен, ско-

рее даже, подтянут – русский атлет. Или поэт. Даже имя как у Есенина – Сергей. Есенин тогда, правда, был не особенно в чести – вроде бы не запрещали, но и не поощряли. Гордились, но как бы из-под полы.

Истерика на кладбище забылась. Он снова был серьезен и деловит – заслуженный авторитет. Бросил пить. Может, не совсем бросил, но сильно умерил дозу. Полтора года почти не пил. Перевыполнял план и украшал своим портретом Доску почета.

Мы жили дружно. Он по-прежнему спал на диване, а я завладела маминой кроватью – с провисшей сеткой и толстой бабушкиной периной. Бабушка притащила ее из Несвижа маме в Ленинград – в единственный свой визит к дочери-студентке. Еле доволокла, настоящую местечковую тяжеловесную перину, чтобы маме было тепло и мягко в чужом холодном северном городе. И мне теперь было тепло и мягко на этой улизнувшей из алчных лап немецких пособников – благодаря бабушкиной самоотверженной материнской любви – пуховой перине. Пружинная сетка почти касалась пола, я сворачивалась в ней клубочком, как в гамаке, и мне было так хорошо, как будто я маленькая-маленькая девочка и лежу на руках у мамы и у бабушки.

Отец по-прежнему бывал дома редко, но деньги приносил, и я, как умела, поддерживала наше хозяйство. Я стала водить к себе подружек, чего прежде, при маме, никогда не делала. Даже угощала их иногда вожделенными деликатесами: шоколадом и апельсинами. В тот год вдвое снизили цену на апельсины. Я становилась все старше, скоро, в мае, мне должно было исполниться четырнадцать. Я заняла второе место на математической олимпиаде нашего района. Отец гордился мной. Многие мои одноклассницы уже вступили в комсомол, но я почему-то не стремилась. Идейных расхождений с Советской властью у меня не наблюдалось, но мне сильно не нравился секретарь нашей школьной комсомольской организации. Я была уверена, что он занимается секретарством неспроста, надеется таким образом выслужиться и получить золотую медаль. Это не были глубокие рассуждения, скорее ощущения. Личная антипатия. Но поскольку мне все равно еще не исполнилось четырнадцати, меня не уговаривали.

В тот день нас долго задержали в школе, после занятий было какое-то собрание, придя домой, я, до ужаса голодная, сжевала ломоть черного хлеба, посыпанный крупной солью, и занялась приготовлением обеда. Чистила у кухонного стола картошку и время от времени поглядывала в окно – просто так, вдруг кто-нибудь из девочек пройдет по улице. Или из мальчиков – мы теперь учились с мальчиками, мужские и женские школы в тот год объединили.

У нас была огромная кухня – ленинградские коммунальные кухни. Высокое дореволюционное окно. И вот, поглядывая просто так в это окно, я вдруг увидела, как снаружи, на стыке улицы с переулком, на моего отца наезжает грузовик. Отец уверенно пересекал перекресток. Наискосок, по диагонали. Допустим, он не видел грузовика, но как он мог не слышать его? Рамы в окне были закопачены на зиму, в России на зиму закопачивают рамы – если

он не слышал рева грузовика, то тем более не мог услышать моего крика. Хотя в последний миг мне все-таки показалось, что он видит грузовик – видит, но не желает свернуть. Не желает уступить. Высокий, крепкий мужчина. Мой отец. Такой еще молодой. Четыре года войны, и какой войны! Сколько пуль, небось, просвистело рядом, сколько гранат разорвалось, сколько упало снарядов, и он, несмотря на это все, остался жив, цел и невредим, а этому грузовику позволил себя сбить. Соседки долго потом обсуждали эту несуразность. Они тоже видели – многие видели: коммунальная квартира, пятнадцать комнаток, многие от нечего делать глядят в окно... Да, необыкновенный был человек... И имя как у Есенина...

9

– Пожалуйста, две кружки пива! – прошу я.

– Ну, две – это уж слишком!.. – скромничает он.

– Не слишком – учитывая, что нас двое.

– Извините, не обратил внимания! Не врубился, что вы тоже употребляете. А как на это отреагирует Армия Спасения? И главное, что скажет моя законная Павлятина? Ваша приятельница, между прочим. Необходимо считаться.

– А разве мы нарушаем ее интересы?

– Это с какой стороны взглянуть. Вообще-то, конечно: птички, фиалки, воробушки – сплошная невинность... – Он обводит окрестности широким щедрым жестом.

Я замечаю: правда, чудесно вокруг, великолепно – весна, цветение, птичьи трели.

– Плюс, я полагаю, – продолжает он, – имеется какая-нибудь достойная причина для нашего свидания. Пивко – это так, для антуражу. А истинная цель... Обсудим какую-нибудь общественно важную проблему, верно?

– Я не знаю, – признаюсь я. – Весна. Уже весна. Как-то неожиданно... А где же зима? Приятно, но вместе с тем, знаете, такое ощущение, как будто у тебя что-то украли. Несколько месяцев жизни... Только что было Рождество, и вдруг – весна. Я мечтала поехать на север, поглядеть северное сияние...

– Северное сияние, – мрачнеет он. – Случалось. Даже описывали. Торжество бушующих красок... Бушующее торжество... Нет, торжество леденящих душу красок... Не так: красочное торжество пляшущих ледяных... Не доводилось, уважаемая, выпускать стенгазету?

– А как же! В школе. Не то в третьем, не то в четвертом классе. Вместе с Ирочкой Грошевой.

– В четвертом – это не считается, – постановляет он. – Я имею в виду стенгазету «Северное сияние». В Воркуте. Знаете что? Вы будете Снежная королева, а я Кай. Сложу для вас слово «вечность». Из ледяных кристаллов. И помещу в стенгазете.

– Кай? – В самом деле, почему Паулина вечно называет его по фамилии? Должно же у человека быть имя – одной фамилии недостаточно! Даже такой затейливой.

– Угадали: Кай, но в разбивку. Требуется проставить недостающие буквы.

– Константин? Кирилл? Кай Юлий Цезарь?

– Не то, не то...

– Касьян? Клементий?

– Сударыня – воображение!

– Каллиопий!

– Допустим. А как же насчет вечности?

– Прекрасно – только не из ледяных кристаллов. Сложите мне вечность из полевых цветов... Из красных маков...

– Не получится. Быстро вянут. Ледышки понадежнее.

– Вы сказали – весна...

– Вам послышалось.

– Тогда зачем же...

– Извиняюсь, советница, я тут ни при чем, это вы зазвали меня на кружку пива.

– Я?

– Вот именно! Утверждали, что в каждой бочке содержится баррель отличнейшего пива!

Я смотрю на бочки – я утверждала? Я и не думала ни про какие бочки. Ни про какое пиво. Действительно, громадные бочки – настоящие цистерны, бетономешалки! Составлены многометровой башней. Где мы – в крепости? В осаде? В обороне?

– Но вы, уважаемая, ввели меня в заблуждение, – сетует он, – как выяснилось, в них вовсе не пиво! В них, напротив, нечто совершенно сухое. Первосортный сухой порошок! Мы с вами, сударыня, сидим на пороховой бочке. Я бы даже сказал – на груде пороховых бочек!

– Береги-и-ись!.. – раздается протяжно, будто в подтверждение его слов.

Откуда-то сверху летит факел, а может, ракета. Я зажмуриваюсь, пытаюсь укрыться от взрыва – и просыпаюсь.

Какая чушь... Морока больной головы: фразы, фразы... Пятиведерников – как заноза. Будто уж не о чем больше подумать... Душно. Я подымаюсь и подхожу к окну. Вот откуда это странное свечение – над катком сияют все лампы, забыли, верно, с вечера выключить. А может, реле какое отказало. Трудно предположить, что кто-то там среди ночи упражняется в фигурном катании... Зато парк – подсвеченный парк – как на японской гравюре: голые ветви прочерчивают светлые круги вокруг ламп...

Телефон. Звонит. Телефон среди ночи. Секунду я еще медлю у окна, и в эту самую секунду с черных неживых ветвей, с неподвижных деревьев взвиваются в воздух сотни три ворон. Будто звонок напугал их. Они не могли его слышать – абсолютно исключено, чтобы с такого расстояния вороны услышали раздавшийся в моей комнате звонок. А если бы и услышали – что им до телефонного звонка? Кружат... Все сразу, как по команде, покинули гнезда. Я и не знала, что там столько ворон...

– Мать?

Денис! Наконец-то! Ну конечно, кто же еще может звонить среди ночи.

– Да-да! – кричу я. – Ты где? Как дела?

– Все нормально, – отвечает он.

– Здоров? Все в порядке? Где ты?

– Да так, в одной деревушке в горах. Деревушка – ничего особенного, пустык, а храм, мать, замечательный, старинный. Удивительный храм!

– В какой деревушке?

– Название, что ли? Какая тебе разница, мать? Я завтра все равно отсюда снимаюсь.

– Куда снимаешься?

– Не знаю. Не решил еще.

– Как у тебя с деньгами? Нужны деньги? – Главное, не упустить, успеть сказать самое важное – пока он не исчез, не повесил трубку.

– Нет, деньги не нужны, все в порядке, – отказывается он.

– Тебе можно написать куда-то?

– Напиши в Токио – до востребования.

– Ты будешь в Токио?

– Буду. Но не знаю еще, когда.

– Как ты себя чувствуешь?

– Нормально.

Нужно спросить о чем-то таком, что ему представляется важным. Чтобы он разговорился. О том, что ему интересно.

– Тебе нравится там? Тебе там хорошо?

– Нормально, – повторяет он. – А как у тебя – здорова?

– У меня все прекрасно. Напиши мне!

– Постараюсь. Ладно, мать, пока, а то жетоны кончаются.

– Скажи номер, я тебе перезвоню!

– Не надо, пока. Будь здорова.

– Звони. Почаще звони!

– Ладно.

Отбой...

Про братьев не спросил. Ни слова – не волнует. Погружен в себя... Все в порядке. Ничего не в порядке... Но хоть позвонил, по крайней мере...

Я держу в руке мелко дребезжащую трубку и медленно-медленно сползаю спиной по стене на пол. Персидский ковер... Где он ночует, как питается? С кем общается? Не может ведь быть, чтобы человек целый год бродил в одиночестве. Какие-то люди окружают его, учат уму-разуму. Чужие люди. Может, хорошие, а может, и плохие... Почему обязательно - Япония? Чем Япония лучше Шотландии? Или Бельгии? Тем, что она далеко?.. Там сейчас уже утро. Там все другое. Это, наверно, главное. Не спросила даже, какая погода... Говорят, там все ужасно дорого. Как он там перебивается?

Свет, этот свет – заливают всю комнату. Что-то беленькое под письменным столом. Листок. Так вот оно где – Любино

письмо! Завалилось за ножку стола. Не догадалась заглянуть... Нужно подняться. «Здесь страшно холодно. Страшно сыро. По утрам бывает такая крупная роса...» Нет, это не Люба. И не письмо вовсе... Отцовский почерк. Его почерк! Круглый, аккуратный почерк уверенного в себе человека. Невозможно ошибиться. Но что за странное послание? Откуда, кому? Всего две строчки... Когда он это написал? Где? Почему я не видела раньше? Откуда он взялся, этот листок? Выпал из маминого дневника? Но почему же я никогда раньше не наткнулась на него?.. «Здесь страшно холодно. Страшно сыро...» Где ему страшно? Где ему холодно?.. Отец, скажи, скажи: могу ли я чем-то тебе помочь? Что я должна сделать? Отец, все не так уж плохо – у тебя четверо внуков. Правда! Один совсем взрослый – бродяжничает по Японии. Наверно, ему там тоже сыро и холодно. Но все-таки не так, как тебе... Бродяжничает по той самой Японии, которая была немецкой союзницей. С которой ты воевал... Теперь все иначе. Мир, всеобщее процветание. Отец, что же мне делать? Скажи, что мне делать!..

Можно проглотить таблеточку. Кругленькая такая малюсенькая облаточка. От одного этого крошечного беленького шарика я однажды на целых четырнадцать часов вырубилась полностью. Денис как назло именно в этот день умудрился забыть ключ от квартиры, но сколько он ни звонил, сколько ни ломился, я ничего не слышала. Абсолютно! Соседка этажом ниже проснулась, а я спала как убитая. Неудивительно, конечно, – в ту зиму на Эрика и Хеда (Фреда еще не было), на милых моих крошечных сыновей, обрушились все напасти: ангины, ветрянки, воспаление среднего уха, уж не помню что... Я совершенно отвыкла спать. Если и удавалось на несколько минут забыться, тут же начинались кошмары. Заботливый Мартин отправил меня к врачу, а врач прописал снотворное. Но я не могла принимать снотворное – мне требовалось быть начеку возле моих сыновей. Тогда Мартин предпринял героический шаг: несмотря на мои протесты, забрал четырехлетнего Эрика и двухлетнего Хеда к матери и сестре. Я сдалась: действительно, если моя свекровь смогла вырастить шестерых детей, авось, и с внуками как-нибудь управится. Я проводила их на вокзал, в пять часов вечера вернулась домой, проглотила одну крошечную таблеточку – одну из пятидесяти, имевшихся в пачке, – и провалилась в небытие до следующего утра. Даже третья мировая война не смогла бы разбудить меня.

Поеду прокачусь. Выведу нашу красавицу из гаража и поеду, куда глаза глядят. В конце концов, машина существует для того, чтобы на ней ездили. Ей тоже полезно иногда размяться.

Направо залив, налево море. Мы поедем налево. До залива рукой подать, до моря километров двадцать. Дальше – лучше. Ехать так ехать, путешествовать так путешествовать. Пустое шоссе, приятная музыка. Не хуже снотворного, но к тому же и

развлекает. «Я объездил многие дали и видел разные страны, все реки текут в море, а море не переполняется...» Море не переполняется. И не замерзает – теплое течение Гольфстрим.

10

Бабушка Нюра приехала на похороны отца – моя деревенская бабушка. На похоронах матери ее не было, видно, невестка не столь уж близка была ее сердцу, чтобы ради последнего прощания с ней тащиться по осенней распутице из Старостина в Ленинград. А, может, отец вообще не уведомил, счел излишним – с него станется. Но теперь бабушка приехала – все в тех же двух платках: тонком беленьком и сером полушерстяном. Погруженная в свое горе – привычное, застоявшееся горе, к которому смерть отца не так уж много добавила, – она почти не замечала меня. Отец был ее последний сын – последний из оставшихся в живых: трое других, Матвей, Николай и Семен, как мне было известно, погибли на фронте. Были еще две дочери: Настя, незамужняя, жила с ней, а Шура вышла за военного и уехала в Архангельск.

Настя побывала у нас после войны раза два или три – приезжала в Ленинград за покупками. Покупки были: чулки в резиночку, отрез штапеля, хозяйственное мыло, пшено и сахар, отец вручал ей от себя для матери несколько банок свиной тушенки и сгущенного молока. Не было в послевоенной деревне ни мяса, ни молока, даже на кур товарищ Сталин наложил такой налог, что бабе Нюре не по силам стало держать ее несушек. Отношения у Насти с моей матерью сложились прохладные, да и денег не хватало много разъезжать. Шура с мужем и сыном были у нас один раз – году в сорок седьмом, когда мама еще трудилась в своем техникуме.

Бабушка позаботилась, чтобы после похорон отца выставить на стол кутью, соседки помогли ей достать лапшу и сварить. На эту кутью и на несколько бутылок водки ушли все деньги, выданные нам профкомом в виде материальной помощи. Амира Григорьевна пыталась образумить бабушку, говорила, что это абсолютно лишнее, лучше пусть она подумает о себе и о ребенке – обо мне, то есть, – но бабушка видела в этой кутье исполнение своего материнского долга перед покойным сыном. «По тем не варила, – сказала она, – хоть этого помянем... А то перед людьми стыдно». «При чем тут стыд? – возмущалась Амира Григорьевна. – Завтра у вас на хлеб не будет! Поймите, больше никто вам ничего не даст!» Бабушка понимала, но сделала по-своему. «Небось, обойдемся, – решила она, – прежде не померли, и теперь, Бог даст, справимся».

Во все эти дни, включая день похорон, я не ходила в школу. Сами похороны прошли спокойно, заводской оркестр всю дорогу до кладбища исполнял печальное и торжественное, профорг сказал недлинную речь, партийный секретарь поклялся вечно всем коллективом хранить светлую память о фронтовике и коммунисте Сергее Архиповиче Тихвине, соседки, совсем недавно не уста-

вавшие порицать отца, теперь все до единой всплакнули, некоторые даже по деревенской привычке подвывали и причитали в голос, но я как-то не обращала ни на что внимания, я все еще стояла там, у кухонного окна, и пыталась задержать наезжавший на отца грузовик. Мне представлялось, как будто хоронят кого-то другого, не имеющего ко мне отношения.

Хоронили в закрытом гробу, поскольку лицо было слишком изуродовано, но я тогда не догадывалась о причине и вообще смотрела на опускавшийся в могилу гроб, как на предмет абсолютно посторонний. Потом бабушка уехала обратно в деревню, сдержанно и как-то официально со мной простившись. Из всего произошедшего в эти дни мне стало ясно, что главное в наших отношениях не то, что она моя бабушка, а я ее внучка, а то, что она деревенская, а я городская. Между нами лежала пропасть, которую не следовало даже пытаться преодолеть.

– Чего ж она девку-то нам оставила? – поинтересовалась после ее отъезда Клава, одна из соседок.

– Нам! – возмутилась другая. – Не нам, а государству. Государство позаботится.

– Все же бабушка! – заметила Клава.

– Так что – что бабушка? – вмешалась третья. – Им там в деревне самим жрать нечего. Еще девку на жмых да воду тащить?

Очень скоро выяснилось, что у меня нет никаких прав на нашу комнату. Право на прописку получали только с шестнадцати лет – с получением паспорта, а мне не исполнилось даже четырнадцати.

– Самый скверный возраст, – объяснила навестившая меня деятельница не то из райсовета, не то из собеса, – в детский дом поздно, а на завод рано. – При этом она с большим интересом оглядывала комнату и мебель и несколько раз переспросила, какая в точности площадь, сколько квадратных метров.

Меня должны были выселить. Дело задерживалось только из-за того, что на улицу выселить не могли, а подходящего для меня общежития не находилось. Поэтому я жила день и еще день, перестала совсем ходить в школу, перестала даже выходить в кухню, только ночью тайком прокрадывалась в уборную – мне казалось, что если я покину комнату, ее тут же кто-то займет, и меня уже не впустят обратно. Даже Амире Григорьевне, тихонько стучавшейся в дверь и требовавшей, чтобы я открыла, я не доверяла и пыталась убедить ее, что со мной все в порядке, просто я теперь сплю. «Спать недостаточно, – убеждала она, – нужно еще поесть. Ты хочешь упасть в обморок?» Я хотела в обморок – чтобы совсем ни о чем не думать и не чувствовать. Я не открывала ни соседям, ни своим подружкам, ни Ирине Трофимовне, нашей классной руководительнице, начавшей постепенно волноваться о моем здоровье. Конечно, вечно так не могло продолжаться. Но я знала точно, что никакое общежитие мне не грозит, что как только меня разлучат с нашей комнатой, с маминной кроватью и бабушкиной периной, с письменным столом и цветами на подоконнике, я тут же перестану быть. Не умру, а просто перестану быть. Это было страшно, ужасно страшно, но я успокаивала себя, что это только одна

секундочка, один короткий миг, а потом уже ничего не будет.

Меня спасла Люба.

Оказалось, что мой отец был вторично женат. Сразу же после смерти мамы взял и расписался с какой-то девушкой, удравшей из колхоза без разрешения председателя и желавшей во что бы то ни стало зацепиться в Ленинграде. Отец решил зачем-то вмешаться в ее судьбу – строптивый был человек, – поехал в ее колхоз, добился для нее паспорта, расписался и устроил к себе на завод. Более того, даже прописал на нашей жилплощади. Я ни о чем об этом не знала и не подозревала. Чем она его так растрогала, чем привлекла, и почему он вообще поверил в ее честность и порядочность, остается неясным. Но она не обманула его доверия. Звалась она Любой – как моя мама. Домой к нам он не привел ее ни разу, как выяснилось впоследствии, она снимала угол в Урицке и была довольна жизнью. По стечению обстоятельств, за день или за два до гибели отца Люба получила профсоюзную путевку в дом отдыха в Сестрорецке, и целых две недели никто ей ни о чем не рассказал. А вернувшись на работу и услышав о трагическом происшествии, она еще несколько дней раздумывала, стоит ли ей показываться мне на глаза. Боялась, как бы я не подумала, что она на что-то претендует. Но когда до нее дошли слухи, что меня собираются выбросить из комнаты, тут же возникла.

Я и ей не хотела открывать, но она убедила меня, что не врет: подсунула под дверь паспорт с печатью о браке и с пропиской.

– Ну да, – сказала она, перешагнув порог нашей комнаты, – ишь ты, какие шустрые! Жилплощадь им! А этого не хотите? Не трусь, девка, проживем!

Я ей поверила – она была славная и вдвое старше меня.

Я начала ходить в школу и даже записалась в шахматный кружок. Люба все перемыла и переставила в комнате, мою – бывшую мамину, кровать подвинула к окну, а себе купила новенькую блестящую полуторку. Между ними поместила гардероб и швейную машинку – благо комната длинная, места не занимать, – а диван откантовала к противоположной стене. Впоследствии на нем спал Денис.

Была ли действительно какая-то близость между Любой и моим отцом? Не думаю. Скорее всего, нет. Если бы она была одной из его многочисленных «приятельниц», он не стал бы за нее хлопотать и уж тем более не прописал бы у себя в комнате. В том-то и дело, что в данном случае он выступил в роли благородного и абсолютно бескорыстного рыцаря. Как Паулина в случае с Пятиверниковым.

Леонид Цоффе

ФОРМА БАРАБАНА

* * *

Еще не раз погоду разлинует
то ливнем, то лучами небосклон,
и облик мира юношу взволнует,
опять не раз, как было испокон,

и он, горя пытливостью, захочет
туда нащупать выход или лаз,
где откровенья бьет первоисточник,
даря нас тем, что видят ум и глаз.

И он взлетит путем воображенья,
его подхватит крыльями мечта,
и он всё ближе к тайне откровенья,
где будет смысл и будет красота.

СТИХОТВОРЕНИЕ СТАРОГО КРУЖКОВЦА

Загадка мира поманит, волнуя,
туманно правя зреньем и умом, –
тетрадку дня в окне дожди линуют,
и тёмн ход народов и времен.

И школьник смотрит в мартовское небо,
весь устремлен к разгадке впереди,
мечтает он путем, где разум не был,
до встречи с полным знанием дойти.

Обнять в закон материи устройство,
пружины правил, облики вещей,
и пусть число откликнется на свойства
растений, минералов и людей.

И он мечтает: люди и природа,
и полотно картинки за окном,
и долька талой мартовской погоды
сольются в мира полное панно.

И пусть невнятен мироздания эпос
и неразымчив, как сплошная тьма,
он смотрит в жизнь: загадок видит ребус,
и ломит грудь от счастья понимать.

* * *

Я захотел вернуться, хоть по памяти,
к тому себе, которым прежде был, –
я эпос «Что такое математика»
лет через двадцать пять опять открыл...

Вот по Новоарбатскому мосту
и над плескучею мозаикой
воды в Москва-реке я, как лечу, иду
в читальный зал библиотеки, за реку.

Там ожидает моего прихода
пространств и чисел эпос и сокровищница, –
кирпич издания сорок седьмого года
пера и Куранта и Роббинса.

Над ним и потрудившись, и устав,
уже соображая еле-еле,
берешь для отдыха Измайлова листву
или Шенгели.

Перед пародией Измайлова
строфа стояла пародируемая,
и я глотаю Леду Бальмонта,
и пьян Толедо и Мадридом я.

И мимо здания-машины
гостиницы высотной «Украины»,
до шпиля и герба подсвеченной,
лечу обратно поздним вечером,

как со свидания, восторженный, усталый,
на крыльях логоса, и Бальмонт в голове,
и мироздание сакральным представало
в бескрайнем холоде, пустынном вдаль и вверх

Готов рассказ, хотя и не окончен,
обрывочен и тёмнен, как и память, –
к себе какому ты вернуться хочешь,
вдыхая о коньках, задачах, марте?

ФОРМА БАРАБАНА

!

Ящик музыкальный полного набора
колебаний собственных мембраны
скажет ли, какая у мембраны форма,
«можно ли услышать форму барабана»?

Строчку многостопного хоря
ловко процитировал Арнольд, –
вспомнилось, как отзыв на пароль,
многолетней давности горенье...

II

Я был юным абитуриентом
и мечтал поступить в теремок
высотный университета,
и как-то смог.

Так приняли меня в студенты
(а потом и в аспиранты зачислят)
механико-математического факультета
гигантов мысли.

На третьем курсе я просил
Арнольда Владимира Игоревича
быть моим научным руководителем.
Он согласился.

Ныне он – член-корреспондент
Академии Наук СССР,
а я уже не студент
и еще не пенсионер

по трудовому статусу –
не тот еще возраст.
Но по весу усталости
и отсутствию бодрости

я давно уже пенсионер –
поверхность ума заржавела,
на душу хромая, на тело,
калекою ходишь теперь.

III

Я бы ожил опять – многообразия, маятники –
Владимир Игоревич, сегодня бы Ваш
лекций курс «Классическая механика»
сидя и слушая в аудитории ноль-два

главного здания
Московского Государственного
Университета
на Ленинских Горах.
(Несколько даже странно
излагать всё это –
ордена кого, имени –
в стихах.)

Боже, с каким бы рвением
сегодня бы слушал я
курс Ваш «Обыкновенные
дифференциальные уравнения»

IV

Не стыдно говорить на бы
и давним обольщаться снова,
но обстоятельствам былого
вернуться не дано, увы.

* * *

Кружок танцев,
годы школьные ранние;
скоростной бег
на коньках,
отрочество;
как в проявителе,
в уме полоскание
задач,
юность;
отечество, отчество,

флаг чистой правды,
иврит язык,
и судьба загорелась,
пожар перелета
был, видимо, пик
молодости;
и пошла зрелость;

танцы,
лед горячей заливки,
лица рядом,
истины брызги, —
всех потерял я,
сиротливо
жить, их утратив,
родных и близких.

Сама Щерба

ЕВРЕЙ ГОВОРОВ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

ЕВРЕЙ ГОВОРОВ...

У врача Говорова, тихого интеллигента, жена-программистка выбросилась из окна, оставила ему, на него ли, сумасшедшего сына, который, когда везли в катафалке мать, первый раз в жизни поцеловался со всеми родственниками и своей, сказать, по знакомству, одноклассницей. Она разрешила себя поцеловать, взять за руку... Жалела его, и ему вдруг не стало стыдно того, что он целуется над гробом матери: в сущности, совсем больной...

Сестричка была очень еще мала, но сказала Мише: «Мама теперь мертвая, а ты не понимаешь!»

– Я понимаю! – ответил тогда Миша.

Семья теперь жила бедно, уехали они – Говоров повез детей...

Он все еще любил жену, новую женщину не привел... Миша с ним как-то подрался: Говорову это было не внове – он работал, не сдав экзамен, какого требовали на врача, санитаром в доме престарелых... Говоров выгнал Мишу в психушку на третий этаж, чтобы дочь не видела этого.

Жуткой красоты был когда-то Говоров... Красоты обжигающей когда-то... Счастливой... Потерять для себя сына, но вырастить, вылизать дочь.

Как-то Говорова видели в городе совсем пьяным и грязным – это в Иерусалиме, – плечи опущены, щетина на лице лезла напролом... Миша выбросился в лестничный проем... Говоров пил неделю, подошел как-то к старику-нищему на Базаре и сказал спьяну: «Хороший человек... А ведь ты меня обворовал...», – перед этим только бросил ему в руки медяк... «И что?.. Ведь счастья нет...»

ДОКТОР ДВОРЯНКИН...

Профессура в Институте называла его «Нечто лысое», еще: «Нечто лысое и худое», – старого еврея доктора наук Дворянкина... Вот история про него.

Женитьба

Говорили, его будущая жена ходила сдавать ему Зачет по Начертательной геометрии десять раз, на одиннадцатый он сделал ей предложение. Она его приняла, и они неплохо жили...

Как он одевался...

Можно сказать, он вообще не одевался – подавал студентам пример – зимой в рубашке, летом в рубашке – жил недалеко, в Доме профессуры, возле которого отчего-то все время дрались алкаши и из-за этого там постоянно дежурила машина... И в пир, и в мир все в той же рубашке, легких ботинках... А иногда мороз за тридцать...

Мы с Гордоном...

Все тогда технари в Стране учились по Гордону – «Учебник Начертательной Геометрии», – а Дворянкин все говорил на лекциях: «Мы с Гордоном», «Гордон как-то сказал мне», или «Я как-то сказал Гордону». У нас у всех волосы дыбом вставали – легенда-человек... Скала...

Закидоны...

Один раз студент стукнул Дворянкина по голове тубусом за то, что Дворянкин, не вынимая чертежи из тубуса, заглянув только в него, сказал студенту: «Незачет!..»

Закидоны...

Очень любил спортсменов... Видит, человек – шахматист, сидит тут же играть «на зачет»... Проверяет...

Если человек – боксер, Дворянкин приносил тут же перчатки... Это в семьдесят-то лет... Один раз Мастер Спорта его задел так, что Доктора Дворянкина спасали...

Как он видел, что человек – спортсмен?.. А люди цепляли значки на грудь – хотели скидки, снисхождения...

Драма...

Как-то Дворянкина сбил мотоцикл – специально, нет ли... но он отлежал в больнице полгода... вышел и стал тише, и на зачетах приговаривал: «Всем вдруг стал нужен доктор Дворянкин... А где вы были, когда старый доктор умирал в больнице?..»

Прощанье...

Ах, где Вы сейчас, милый Вы наш, милый Вы наш Старик? Живы?..

УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО

Учитель давно одолел ту стадию учительства, за которой перестают бояться каверзных вопросов. Учитель хорошо знает язык, но кое-что подзабыл, что, однако, не мешает ему отвечать на каверзные вопросы...

Учитель занимается в свободное время сочинительством, речь его в компании или на улице проста – он бережет слова для бумаги...

Учитель не любит прочих литераторов в городе и говорит про них: титаны! им в день по Революции – мало...

Учитель – человек тихий, странный... Расцвет тихой его карьеры пришелся на время маленьких алкоголиков – тогда они были не редкость, и теперь ему трудно среди нормальных...

Тогда, во время его взлета, учитель отнял у второгодника на уроке нож-складник, и за это его грозились зарезать. Учитель этим гордится, едва ли не единственным... в жизни... Бесцветные уроки его прошли для трех поколений – четвертое он недоучил... Теперь, это, правда, другое время, но чего они все в з б е с и л и с ь ?.. Как было, так и будет – может, чуть-чуть хуже...

С некоторых пор у Учителя появился страх – это началось, когда он проснулся как-то оттого, что капли дождя, сносимые ветром, барабанили в окна почти им перпендикулярно... Учитель спросил у жены, которая была тут же в двуспальной кровати: «Что, дождь?» Тогда она ответила: «Да, наверное... Что-то темно...»

«Скорую» вызывали через день, в больницу жена учителя не захотела.

Учитель давно не любит жену, но когда тихое утреннее солнце трогает стены и потолок в комнате, он пробуждается, сидя на стуле, и затаенно, боясь увидеть непоправимое, смотрит на одеяло, которым укрыта супруга... Заметив, что одеяло над полным телом ходит чуть вверх, чуть вниз, учитель ненадолго успокаивается и идет на кухню, потом в магазин... Учитель ночует на стуле, боясь крепкого сна, а с ним и невольной подлости не позвонить врачам вовремя...

В часы молчаливого бдения у кровати жены, учитель, когда его сковывает полудрема, на границе сна задает себе вечные вопросы...

Типа: «В чем все-таки смысл всего этого?..»

Или: «Кто я?..»

Или: «Что я здесь успел?..»

На первый вопрос учитель или не отвечает, или отвечает так: «Пусть об этом думают те, у кого этот смысл еще впереди...»

На второй вопрос учитель говорит нарастяжку: «Коо-смос!..»

А на третий вопрос учитель отвечает себе воспоминанием...

Учитель чуть не плачет, вспоминая, что у него нет своих детей, и тут обычнее всего начинает думать о Девятикласснице... У нее огромные серые глаза, полные губы и фигура начинающей женщины... Иногда учитель сквозь полудрему бормочет что-то типа: «Цветок... Ручей... Тоже, хотя заезженно... Зимняя ночь в охотничьей сторожке...»

В это время жена учителя просыпается и смотрит на него, пытаясь расслышать то, о чем он думает...

Учителю уже грезятся и лес, и метель, и сторожка... На бревенчатых стенах скачут отблески, полешки в печке трещат, запах непонятный, кажется, что сам Домовой опалил шерстку... Учитель улыбается... Крохи огня падают на пол, гаснут и перестают быть... Гаснут и перестают быть... Появляются другие крохи, и гаснут, и опять хорошо...

А что плохо?... Плохо, что метель кончается, что все возвращается на круги, что скоро ночи конец... Что настанет день, что нужно просыпаться... Что девочка-девятиклассница смотрит иногда не туда... Смотрит ему вниз... Что пора куда-то идти, не разбирая дороги, не зная... И хочется спать... Так хочется не просыпаться... Девятиклассница любит духи «Москва – Париж», заплетает волосы в косу... Конечно, курит...

* * *

Как-то она прислонилась к учителю крепкой тугой грудью, и учитель не одернул ее. Он сидел за учительским столом и смотрел на перевод... В комнате, кроме них, никого не было. Учитель чувствовал ее горячее дыхание – она стояла у него за спиной, наклонясь над ним, и смотрела в свою тетрадь... Ему нужно было сказать ей: «Сядьте!..» Но он не сказал, и она сама отстранилась от него. Он поставил ей, а может, и себе тоже «неуд», и она очень хорошо поняла, за что... Поняла и вышла вон...

А потом и он засобирился домой... Он пошел домой не обычной своей дорогой – через дырку в сетчатом заборе, – он пошел через главный вход. Он слился со спешившими покинуть школьный двор подростками – их было много, двор наполнился их голосами, как наполняется звуками оркестровая яма за пять минут до начала оперы... Она была среди них... Они шли к главному выходу мимо выросших кое-как тополей и акаций, наполовину голых, они смеялись и не оглядывались назад...

Учитель шел сзади всех и держал тяжелый портфель в левой руке... Он курил и думал, и смотрел на них, и не мог понять, какие они... А на выходе, за школьным забором, возле запрещающего знака, стояли легковые машины... Восемь или семь... Или десять... Стояли, как готовые сорваться с места кони, на которых крадут невест... В машинах сидели разные люди, но на их лицах сидели какие-то одинаковые улыбки... Одинаковая кожа прикрывала их тела, жесты тоже были почти одинаковы...

Они сыто открывали дверцы машин, и школьницы лезли в них – на заднее сиденье... Учитель невольно стал на месте – картина эта неожиданно захватила его... Школьницы целовались, курили, мяли платица, пошитые на один школьный манер... Она тоже сидела у кого-то в машине на коленях, она положила свою голову ему на плечо... Что-то говорила ему в ухо, показывала пальцем на учителя... Тот, у кого она сидела на коленях, кивал и смотрел на учителя зло и насмешливо... (Что – за – дурак – не – захотел...). (Смотри, Платон...).

В понедельник у Учителя в портфеле лежали бутылка дешевого вина, пачка папирос, классный журнал и три учебника для тех, у кого не было их сегодня, он нес, забыв их выложить в классе... Учитель держал портфель сильно... но сигнал машины, сначала резкий и короткий, потом непрерывный, оглушительный, заставил пальцы руки разжаться... Учитель, было, нагнулся за портфелем, наверняка зная, что бутылка разбилась и вино залило всё, что было в нем, но тут, как по команде, засигналили все стоящие у забора машины...

Образовался рев.

Так ревут в неволе полные сил сивучи, если хотят есть.

Так ревут в роддоме жутким живым хором только народившиеся дети...

Учитель стоял, оглушенный этим ревом, и несколько секунд боролся с желанием бежать, так как понял, что этот рев из-за него... но потом вспомнил, что он учитель, и улыбнулся... Он не поднял с земли портфель и так, налегке, пошел сквозь рев между машин с сидящими в них людьми... Он поймал ее насмешливые глаза и нашел в себе силы ответить улыбкой и ей...

* * *

Учитель хорошо знает язык, кое-что, правда, подзабыв... Хорошо помнит ругательства...

Он день-деньской сидит у постели жены. Он теперь на пенсии... Когда его спрашивают: «Пишете?» – он отвечает: «О чем, о проклятом прошлом?..» И тогда ему советуют: «Ну, пишите тогда о проклятом будущем!» – и он согласно с этим кивает...

Астрахань, 1990 – Иерусалим, 1999

В МОСКВУ ЗА ПИРОГАМИ

Посвящается отцу и матери моим...

Пролог

Не знаю почему, но Столица нашей Родины Москва в детстве моем всегда ассоциировалась у меня с Клоуном, Народным Артистом. И как-то, когда моя тоска по ним – по Москве, Столице нашей Родины, и Клоуну стала в моем детстве мне невыносима, я сбежал из дома и направился искать их, точно себе еще не представляя трудностей пути, но всем сердцем желая его проделать. Предприятие это было настолько тяжело, насколько и интересно, заманчиво и таинственно... И где-то тогда уже, в детстве, я, по сути, догадывался о философской подоплеке моих ассоциаций: Клоун и Столица... (Может, кто-то усмотрит в этом нечто для себя оскорбительное, издевательское, но я уверяю, у меня и в мыслях не было никого оскорблять, и Клоун, ассоциировавшийся у меня с Москвой, Столицей нашей Родины... или наоборот: я опять все напутал... всего лишь образ вечного социалистического человека, который

плюет на всех свысока, и, если хочет, пьет, или, если хочет, смеется, или ходит без штанов и мочится с дерева на лейтенанта. И все это – со спокойным каменным, с непроницаемым лицом и при недюжинной физической силе... Сохранять безмятежность в складывающейся не в твою пользу обстановке – вот искусство, вот позиция... и мораль победителя...

На вокзале...

Вокзал не имеет возраста – уж это я усвоил до конца... Едут все... И потому и на кулак не боялся того, что меня задержат сразу, на Вокзале, когда я еще, можно сказать, был совсем не виноват... Какие-то разные люди, похожие люди – сновали в брюхе Вокзала туда-сюда безо всякой системы, и в то же время всё было как-то при этом в порядке – кто-то ел, кто-то пил, кто-то спал, кто-то несся с чемоданами наперевес к поезду, кто-то стоял в очереди за билетами, а кого-то встречали еще какие-то «кто-то», самые, казалось, из всех перечисленных беспокорные.

Я с моей сумкой был никому здесь не нужен. Набежала обида за то, что человек, оказывается, живой вот такой человек, как я, например, один такой в мире, может затеряться среди других людей, которые, ведь, тоже поодиночке, одни такие в мире...

Глухой музыкант...

Поезд плавно остановился, пропуская «встречный», который на всех парах, наверное, летел и вез на себе... да откуда же знать что?.. Может три лесовоза дров, а может, одного начальника со всем его содержимым – охраной, кухней, машиной – всё, в общем, самое необходимое...

Я ехал, наконец, в поезде!.. Я ехал...

Как хорошо, что есть еще в мире пьяные проводники!..

Я бежал от вагона к вагону. Я надеялся на чудо. Я читал таблицы на вагонах: АСТРАХАНЬ – МОСКВА

Да только за одно это – за то, что кто-то в далеком моем пути увидел в окне вагона меня, а после прочел: «Астрахань – Москва» на вагоне и подумал, что мальчик-астраханец едет в Москву, и как же ему везет! – я отдал бы тогда четверть жизни...

В одном из последних вагонов, я знал – это «плацкарта», то есть, когда купе не запирается, потому что в купе нет двери... и есть боковые полки, – был пьяный проводник... Такой рыжий, средних лет, невысокий... Я встал перед его тамбуром – это такое место в вагоне, через которое нужно в конце концов зайти в вагон, чтобы ехать в поезде – место со ступенями, – а больше мест со ступенями в вагоне нет, так что по-другому в поезд никак не попадешь, если хочешь быть цел... Проводник посмотрел на меня, посмотрел... а потом сделал рукой предупреждающий жест, скривил губу и крякнул. Был он совсем не страшен.

Он пошел к другому проводнику – в соседний вагон, – а я быстро влез по ступеням в вагон и понял, что пьяный этот проводник проспит в полупустой «плацкарте», исполняя минимум положенного – постель, чай, вода – кипяток – до самой, может, Москвы...

Конечно, я не мог тогда всего этого знать – что в поездах поят чаем, что дают постель, – подробности эти я узнал позже, но я точно знал, что если в вагоне есть проводник, то неспроста, и что, ведь, какую-то работу он делает... И вот минимум работы, которую я не знал еще, но догадывался, что она есть, и должен был сделать этот рыжий проводник в перерывах между сном, по моему разумению.

Я вошел в вагон и, посчитав за лучшее, остался стоять в тамбуре.

В вагоне люди засуетились – скоро был отъезд. Проводник к отправлению не опоздал, и когда поезд тронулся... О, этот толчок!.. Этот рывок с места в путь! Сладостный, как неизвестность!.. Крики... Слезы... Крики... Проводник меня не заметил...

Стеклянный от выпитого, как я понял, ушел к себе в купе, каким-то чудом раздал постели...

Дикие звуки скрипки раздались из перехода между нашим и соседним вагонами. Дикие звуки!.. Жуткие!.. Круглый, как лысина, пожилой человек ломился в наш вагон, водил смычком по струнам, а скрипку держал одной рукой на весу. Он прошел, извлекая из ворованной, наверняка, скрипки нечеловеческие звуки, можно сказать, сквозь меня – то есть не обратил на меня никакого внимания, так как денег – понял, у меня, конечно, нет, а он своей скрипкой просил денег, милостыню просил...

Он пошел вдоль по вагону...

– Заткнись же ты, наконец! – кто-то заорал на него, но он, не обращая внимания, продолжал извлекать из скрипки непотребные авангардные (то есть нехорошие), одному ему покорные звуки.

– Да ты глухой, что ли? – заорал опять тот же, что и в первый раз. – Глухой, – изумился он же. – Глухой музыкант!..

Я заглянул в проход, мне было интересно, дадут глухому за его музыку денег или нет...

– Иди! Иди с богом! – здоровый мужик в тельняшке выталкивал Глухого Музыканта подальше от своего купе... – Моя милиция тебя бережет... – пожалел он вслух. – Иди, иди, неровен час...

Он очень резко, чтобы никто не заметил, пихнул Глухого в бок кулаком:

– Самим жрать нечего...

Глухой пошел дальше, я скоро потерял его из виду, и не знал, дали ли ему хоть что-то...

Призрак Дедушки Ленина, или «Цирк уехал, клоуны восстали»...

– Все воюют... со смертью... – сказал вдруг абсолютно трезвым голосом мой «стеклянный» проводник. – Ты видел, – сказал он мне, – как они его?.. Работяги!..

Что-то в нем все-таки было неестественное...

– Ну, конечно же, – подумал я, – есть такие пьяницы, что ведут себя, как трезвые, а спроси такого, что он вчера делал, и он не вспомнит.

– Работяги... – повторил он. – А по-другому нельзя... с этими... Дай ему милостыню, он завтра и ее от лени просить перестанет... Добро с кулачищами, – сказал он брезгливо...

– Всё, ты меня извини, Цирк. Цирк уехал, клоуны восстали... Ну, скажи мне!.. – сказал он. – Зачем все это устроили – колхозы, совхозы, «Красную прядильщицу»?.. Не выпорол я его во время! – и он рассмеялся...

Я совсем ничего не понимал...

– А и выпорол... – сказал мой проводник, подумав, – Все равно бы он сделал, что хотел... Ведь это он все начал... в Питере...

Я стал догадываться, о чем идет речь, и все удивлялся, как э т о т проводник не похож на того, что был в начале. Как будто тело одно у них, а души разные, хотя я не знал, что такое душа.

– Я дед его! – сказал проводник. – Дед, а в мавзолеи не ложился! – он вдруг стал трясти меня мелко за плечи, а я очень испугался того, что он сказал «мавзолей»: у нас в школе это слово произносили только по праздникам.

Я стоял, а он тряс меня за плечи...

– Я его дед! – кричал он всё громче. – Докажи другое!..

Я опять не понял, что он имеет ввиду – я не знал, что такое «докажи другое». И возраст у него был – до «дедушки» еще далеко... Ну, сорок лет...

– Заповедь проститутки (я покраснел) – не суетись под клиентом!.. А эти?.. Работяги?.. Вот они вам пе-ре-во-ро-ты!.. – последнее слово он произнес нарастая. – Я из этих, из тех, что ты воткнешь в траву окурков, а я его – обратно, о т т у д а ... Я Время лечу...

Он опять взялся меня трясти.

– Вовка, сука!.. – кричал он почему-то на меня...

– Мне плохо! – выдавил я из себя. – Отпустите меня!..

– А ты вообще не любишь, когда кому-то хорошо! – кричал мне странный проводник.

Потом он как-то так выбился из сил, перестал меня трясти, поднял глаза вверх и ткнул пальцем в крышу.

– Космические страны! – доверительно сообщил лукавый проводник, снизил голос до шепота и произнес какое-то абсолютно глупое, но от этого такое запоминающееся слово, что я его до сих пор помню: «Пендрифуца!..»

Бой с тенью, или Монолог человека, обращенный к невидимому Дураку...

Проводник с чужими глазами все-таки ушел к себе в купе... Я некоторое время постоял один. Мне стало скучно, я подумал, что пусть бы уж проводник говорил свои глупости, лишь бы не тряс за

плечи... и не заметил, как в тамбуре оказался крупный интеллигент... то есть я хотел сказать, интеллигентный человек...

– Целуется, а сама языком выискивает, какие зубы с дуплом», – начал он, и голос его завибрировал. – Я – медведь с указкой, а ты дерьмо собачье, – сказал он и сбавил в голосе высоты.

– Мир замкнулся на жене, с которой двадцать лет, как не живешь, и на дочери, что совсем не помнит тебя.

Мужчина стоял, повернувшись лицом к тому углу тамбура, в котором лежал кучкой каменный уголь. Казалось он к углю обращается... (Или... к себе?... Бред!..)

– Может, он и идиот, да, видно, не такой уж идиот, если у него хватило ума дать тебе в рожу! Приятно, что вы покупаете дом с вишневым садиком!

Мужчина сделал паузу, во время которой, видно, что-то вспоминал... Заговорил опять:

– Чего ты ищешь здесь опять, Ду-рак?... Кого ты опять хочешь обмануть?... Смотри, убьешься, писатель! Никому не нужна твоя ложь, сладкая, как арбуз! Люди будут лучше гадать по сигарете!.. А про тебя лет через двадцать скажут: «Мысли он что? Из штанов достает?»

Мужчина говорить кончил, вздохнул и тяжело пошел... Когда он открыл дверь, что вела внутрь вагона, я увидел, как тот самый мужик в тельняшке пинками гонит вдоль прохода моего «стеклянного» проводника, который бегаёт на четвереньках и лает, как собака.

– Наверное, – подумал я, – проводник и ему сказал, что он дедушка Буденного, – его, наверняка, только что побили...

Я стал думать о том Дураке, про которого говорил культурный мужик... Видно, он ему кажется... Или... Я так до конца и не додумал тогда – что «или»? Не додумаюсь, должно быть, и теперь... Но думать было приятно и тогда, и сейчас... Поезд ехал, ехал поезд, вез меня в неизвестность, какая заранее нравилась.

Одноногий Папанасис

Поезд слегка качнуло...

Поезд слегка качнуло, потом он очень медленно остановился – опять выжидал встречного, – в дверь снаружи забарабанили. Я увидел старика на деревянной ноге, который показывал знаками, что хочет войти. Я удивился – как он, я думал, хочет войти сюда на своей деревянной ноге, но дверь послушно открыл, а старик быстро схватил меня за ногу и, совсем не заботясь о том, хочу я этого или нет, перебирая по мне руками – снизу вверх, почти до шеи, как-то странно ловко вполз в вагон.

Обличья он был южного, и потом, вспоминая о нем много после того, я назвал его для себя «Папанасис».

Одноногий Папанасис.

Одноногий старик молча сунул мне в руку что-то легкое, сам пошел дальше. Я проводил его взглядом. Он и в вагоне, вернее,

он и внутри вагона раздавал молча что-то в каждом купе, торопясь, но так уверенно, что было видно – это не первый его поезд...

Я посмотрел на то, что он мне дал. Голые женщины представляли в Календаре на следующий год – каждая свой месяц...

Это было так великолепно, что я испугался и выпустил Календарь из рук, будто им ошпарившись.

Календарь лежал на полу тамбура, я боялся его поднять – мне было стыдно, что мне нравятся голые женщины в нем... Я стоял и смотрел на фото сверху вниз...

Старик вернулся внезапно, сделал рукой вопрошающий жест... Я не понял. Потом дошло – спрашивает, куплю ли голых женщин, а если нет, то где Календарь?..

Встречный мелькал мимо нас вагонами. Старик заторопился, опять схватил меня и потащил к двери, чтобы по мне спуститься так же, как он залазил. Шагая, он наступил деревянной ногой на фото, и на нем остался после грязный круглый след, как раз в том месте, где улыбалась, выпятив зад, одна из женщин.

Старик за всё время не сказал ни слова, из чего я заключил, что он немой, а то и глухой, как тот Музыкант с невыносимой скрипкой.

Я запомнил глаза – черные как ночь, глубокие...

Зверский Убийца Шведов

Я стоял в моем (теперь уже моем) тамбуре, уткнувшись носом в стекло на двери, и смотрел, как мелькают быстро фермы мостов, больших мостов, маленьких мостов, опять больших...

Скрипнула дверь, и со стороны соседнего вагона в мой тамбур вошел старичок лет восьмидесяти, маленький, как все старички... (Или как все такие старички). Синий пиджак, лоснящийся на локтях, старые черные брюки, полугрязная рубашка под пиджаком, туфли со стоптанными – было заметно – каблуками. На лацкане пиджака темнел (конечно, конечно же, чужой) Орден Революции, похожий, впрочем, почему-то на знак человека, закончившего ВУЗ.

Лицо его было кругло, как монета, стрижен он был, ясно, дешево, где-нибудь в колхозной парикмахерской у пьяного парикмахера. Одно плечо выпирало как-то так из-под пиджака сильно вперед.

Он осмотрел меня липким взглядом, покивал головой, как бы давая понять, что всё обо мне (давно) знает...

Он вынул из кармана грязный до черноты большой, как скатерть, носовой платок и стал часто и зычно в него сморкаться.

Поезд шел теперь медленно – скоро должна была быть станция, самая первая после Астрахани – «Астрахань-2».

Старик этот, старичок, странный дедушка этот мне, непонятно отчего, нравился. Сказки о волшебниках, которые иногда ходят среди людей и исполняют их желания, отчего-то вспоминались мне именно сейчас.

– Кто ты, дедушка? – спросил я его, надеясь, конечно, где-то в душе, что он и есть один из них, из них, из волшебников...

– Я – Зверский Убийца Шведов! – ответил он, улыбаясь вставной челюстью, и зацокал языком быстро-быстро, как будто запела цикада...

Все старики, которых я до этого уже видел, и этот, слились для меня в единое целое, у меня страшно заболела вдруг голова...

Я не помню, как я бежал из моего тамбура, как распахнул дверь, как оказался на земле, как бежал к Станции... («Чума!» – неслось мне вдогонку.)

– Там! Там! – кричал я милиционеру и тянул его за штанину.

Милиционер не мог понять, чего я от него хочу, а я задыхался, захлебывался словами и всё тянул его за штанину к поезду...

Между тем, поезд, было слышно, тронулся и, я понял, увез от справедливого возмездия ужасного этого Шведова, который, я думал, конечно, обидел не одного меня.

Домой на «Козле»

Люди в милиции оказались хорошие... Дали мне стакан чая, спросили, чей я. (Я сначала не хотел говорить, но потом подумал, что они могут сейчас же запереть меня в своей тюрьме, а то и дать перед этим пару подзатыльников.) Я назвал имя и адрес, они куда-то позвонили и закивали, когда им с того конца телефонного провода ответили.

– Так, значит, ты сбежал! – сказал милиционер с двумя звездами на погонах, в чине лейтенанта. – Сбежал... – вздохнул он. – А жаль.

Я молчал.

– Господи, бегут!.. сказал лейтенант, обращаясь к высоченному сержанту... – В прошлом месяце сбежал Колька – Вий, – добавил он.

У меня побежали по спине мурашки.

– Черт! – сказал лейтенант. – А чего бежать?..

Он сказал это так спокойно, что, действительно, возникло ощущение, что бегство – вообще – занятие абсолютно бесполезное, нездоровое, никому ненужное. «Вот, например, он сам, – как бы говорил о себе милиционер, – никуда не бежит...»

– Единорог! – Проговорил, добавив в голос хрипотцы, лейтенант. – А если бы ты попал в свою Москву?!..

Я не знал, что ответить. А действительно, если бы попал?.. Что ел бы? Где спал?.. С другой стороны, подумал я, собаки, ведь, едят там что-то, кошки – находят... Птицы...

Между тем, надвигался вечер. Ветер дул в распахнутое окно комнаты, шевелил волосы на голове лейтенанта. (Фуражка его висела на стене, и казалось, что лейтенант чего-то сильно испугался, и от этого у него волосы и встанут дыбом... Чего, к примеру, мог испугаться на свете лейтенант Советской Милиции? – Ничего, сказал я себе. А впрочем, он может испугаться самого себя.)

– Поедешь на козле! – сказал милиционер. – Бедные твои родители!..

Я сначала подумал, что он сумасшедший, потому что я в жизни не видел ни разу, чтобы ездили на козле.

Милиционер с сержантскими погонами, двухметровый, как я потом узнал, «Милицейский Вася», подтолкнул меня легонько к выходу...

«Ехать на козле, – подумал я, – это, наверное, такой ритуал для особо провинившихся детей... Наказание, которое здесь только и есть».

Мы вышли из милиции на улицу. (Злой лейтенант, кроме того, что я должен больше сорока километров проехать верхом на их, милицейском, ведомственном, надо полагать, животном, ничего мне не сказал, а Милицейский Вася, увидев во мне недоумение оттого, что никакого козла я здесь не видел, спросил меня: «В чем дело, Борода?»...) Я провел ладонью по подбородку, проверяя, не выросла ли у меня на самом деле в странный этот день борода, и спросил: «А где козел?..»

– Да вот!.. – сказал Милицейский Вася и хлопнул ладонью по капоту приземистой машины-фургона. – Вот.

Только через двадцать минут, когда я понял, что он хороший человек, этот Милицейский Вася, я решился спросить, отчего такую хорошую послушную машину зовут, как зверя?..

– Знаешь! – сказал Милицейский Вася. – А я и сам не знаю!.. Какой-то дурак назвал, наверное, как-то ее так, и все согласилось... То есть, подхватили.

О том, как папа снял и одел ремень

Милицейский Вася растолкал меня, чтобы я показал, какой дом на улице мой. Я сказал, что, наверное, тот, в котором до сих пор горит свет и в котором кричат и плачут.

Милицейский Вася сказал, что это еще не показатель, что таких домов может быть и несколько – ведь не я один такой фрукт, что сбежал из дома; наверняка, есть и такие, что пришли домой с именин или такие, у которых дома у самих именины, или же так – без именин, горит свет, кричат и плачут... А то и дерутся стульями, что законом возбраняется...

– Вот! Вот он, мой дом! – закричал я тогда. – С грязными окнами!

Мы вошли – дверь была не заперта на цепочку. Причем, сначала я, а потом Милицейский Вася... Мама лежала на диване, а папа брызгал на нее изо рта водой. Они не сразу меня заметили.

– Вот, папа! – сказал я, стараясь отвлечь его от его занятия...

Мне не хотелось, чтобы он брызгал на маму изо рта – это было, как будто он плюет ей в лицо...

– Вот, папа! – сказал я.

– Ты?!.. – сказал папа, повернувшись ко мне и выплюнув при этом изо рта воду...

Он поднялся с колен и молча стал снимать с себя ремень.

– Всыпь ему, Коля, по заднице! – сказала, открыв глаза, моя мама, районный врач, и опять закрыла глаза.

Милицейский Вася хмыкнул, обращая на себя внимание, и папа его только теперь разглядел в темноте прихожей. Рост Милицейского Васи сливал его со стеной в коридоре, так как Милицейский Вася был почти до потолка...

Папа посмотрел на него и стал вдевать ремень обратно в брюки, на место.

– Чаю?.. – спросил Васю папа.

– Нет, расписку! – сказал Вася. – Что я вам его привез. – И он кивнул головой в меня. То есть в мою сторону.

– Куда же вы теперь? – спросил Милицейского Васю папа, как только написал ему расписку...

Со мной он не говорил вовсе, будто меня и не было вовсе, и расписку о получении он писал не обо мне, а о ком-то другом.

– Заночую в машине, – сказал Милицейский Вася и поехал.

– Так, может... – недоговорил папа.

– Можно... – недоговорил Вася.

– И мне водки! – потребовала через полчаса мама, про которую как будто на это время забыли, а, может, думали, что она спит и не нужно ее беспокоить по пустякам... Я спал, а просыпался иногда оттого, что они все трое громко пели песню композитора Шаинского из мультипликационного фильма про Чебурашку – «Голубой Вагон...»

Вместо эпилога

Прошло время. Я отучился в школе, получил свою законную долю тумаков и отметок, закончил техникум по специальности «Технология пищевых продуктов», научился в нем целоваться и курить, отслужил в Армии в Строительных Войсках, где здорово обжег как-то в холод чистым спиртом рот... Вернулся благополучно домой, женился, у меня родился сын... Хорошо работал и скоро стал начальником... И вдруг во мне опять проснулось то, детское – поехать в Москву и хоть краем глаза увидеть Клоуна, который ассоциировался у меня с Москвой... (Я ведь так за всё время и не видел Москвы...) Я взял отпуск за свой счет, купил билет до Москвы и, сидя в поезде в купейном вагоне, думал о том, что приеду и первым делом, никуда не заходя, пойду в Цирк, директором которого был теперь Клоун, и я увижу его, когда он выйдет приветствовать перед началом представления публику...

Я приехал в Москву... Я опоздал всего на день... Клоун умер.

Иерусалим, 1998

Илья Беркович
ДВА РАССКАЗА

ЯПОНСКАЯ ПРОЗА

1

Старуха в надвинутом на глаза платке сидит на асфальте, брэнча консервной банкой с медяками, шевеля губами над раскрытым молитвенником, в котором она не разбирает даже букв.

Толкаясь, шурша, волоча тяжелые гроздья белых пакетов, толпа пап и мам лезет в переднюю дверь автобуса.

Лысоватый мужчина в ветровке прислонился сбоку к прилавку пекарни и одну за другой сосредоточенно ест свежие печеные палочки. Продавец бананов держит двумя пальцами, оттопырив мизинец, стеклянный стаканчик с черным кофе.

Устье рынка, рот рынка, влагилице рынка слабо пульсирует в такт барабанам с другого конца, из магазина кассет.

Шагнул – и ты всосан, ты в: дождевая свежесть пучков сельдерея тянет к себе, темный холод мяты и странная, бледная желтизна кусков тыквы тянут к себе, цветовой ксилофон мешочков с пылью пряностей тянет к себе, глаз бежит по клавишам цветов глины и земли от бурого к карминному. Это затянуло тебя в квадрат зеленщиков-персов, где самые дешевые салат, огурцы, помидоры, чеснок, перец, редиска, бататы. Как-то в пятницу перс привез из Газы грузовик помидоров, поставил посреди центрального ряда и стал продавать по шекелю кило, а у всех – по два – три. Торговцы подступили к грузовику, говорят: «А ну прекрати!» Перс вытащил пистолет: «Шаг – убью».

А то вынесет тебя мимо селедок, мимо лучащихся чистым маслом маслин на мощный пятачок с туалетом в центре, с открытыми дверями голых комнат, где всегда горит свет, откуда слышен стук игральные костей, где за пластиковыми столами, перед стаканами с анисовой водкой на донышке сидят желтолицые старики.

Ба-ба-ба, где это я? И зачем я здесь? Достанешь из кармана куртки ввосьмеро сложенный листок, развернешь и под толчки с трех сторон, под крики и свист толкачей тележек читаешь наказ жены:

Помидоры

Огурцы

Гамба (перец)

Халва (полкило)

Сухофрукты

2 небольших карпа

Свечи

Пачка пакетов

Пакеты – это в центральном ряду, ниже рыбы. Там же, где свечи.

Центральный, открытый ряд шире, медленней других рядов, народ течет по нему сгустками, по двое – трое – четверо: восточ-

ные матери со взрослыми дочерьми – пышночерноволосые, с потасканными лицами и тяжелыми взглядами окруженных желтизной глаз, рыхловатые русские тетки в кожаных пальто, с сумками на колесиках, компании рабочих-румын налегке: пришли за пивом и водкой.

– Три с полтиной! – орут сбоку, из рядов. – Авокадо без косточек!!!

– Картошка – мед!!! Мед!!!

Незаметно вечереет. В городе закрываются конторы. Сплошные потоки валят навстречу друг другу по улицам рынка. Над прилавками, подсвечивая блестящие бока помидоров и яблок, зажигаются плоские железные лампы. Десятки рук роются в грудах плодов, вертят, отбрасывают, наполняют пакеты самыми совершенными, без крапинок и ссадин.

Бесчисленные стаканчики кофе сделали свое дело: из глоток торговцев вырываются вопли, от которых они должны были бы откатываться назад, как старинные пушки после выстрела, но, оглушенные собственным криком, они лишь стоят минуту зажмурившись, чтобы отдышаться и снова зареветь:

– Шекель!!! Только сегодня – шекель!!! Хозяин женится! Шекель!!!

Висячие железные лампы уже с трудом отталкивают сгустившуюся над ними темноту. Кажется, что толпа не течет, как днем, между рядами, а топчется на месте. Через нее, ни на кого не глядя и никого не задевая, движется молодой коренастый араб в синем комбинезоне и гонит шваброй по черному полу какую-то картонную полоску.

За арабом, на некотором расстоянии от него плывет по рынку коренастый молодой еврей в штатском, но с глазами, не оставляющими никаких сомнений в профессии их обладателя, и веерообразно ощупывает этими глазами толпу.

Прилавки со сдобой выкатываются на улицу Яффо. Сладкий, жирный запах тянется в холодном ночном воздухе, как сеть, ловя прохожих.

Толпа между рядов редет, образуя плешины, поляны; на них скапливаются кучки рваных картонных коробок, раздавленных овощей, консервных банок.

Уже слышен глухой лязг запираемых рундуков.

Продавец пит с луком тупо смотрит на свой товар, который, если за полчаса не продашь, – можно только собрать в полиэтиленовые мешки и повесить на торчащих из стен железяках, потому что выкидывать хлеб не принято. Рядом кружат по своей лавке зеленщик и два его помощника, подходя время от времени к прилавку и с ненавистью крича: «Шекель!!! Шекель!!!»

Внезапно все затихает, пустеет, гаснет. Фонари под потолком крытых рядов освещают каменные серые стены в разнокалиберных заплатах створчатых, рифленых, гладких задраенных дверей. Рундуки с товарами перехвачены двухметровыми щеколдами.

С каменного выступа, наконец решившись, прыгивает и прыскает в переулочек кошка.

На открытом ряду полутемно. Начинается дождь. Хотя облака целый вечер дожидались конца торговли, они выбрасывают воду без остервенения, терпеливо, равномерно. Если есть зонтик, можно неторопливо идти под ним и рассматривать прилавки, похожие

на станины выброшенных на свалку станков, свисающие с черных проводов гирлянды плоских железных ламп, грязные пологи, плакаты с псалмами Давида.

Вода уже пузырится под ногой. Ветер рвет из руки зонт. Струя бьет по шее. Надо бежать. И вдруг замечаешь, что под пологом, у стены, четко чернея на фоне закрытой белой двери, стоит молодая женщина.

2

По случаю открытия выставки одного художника за столом в его квартире сидели: сам художник с женой, коренастый писатель в синем костюме (он представлял в Израиле молодую немецкую фирму по продаже компьютеров), жена писателя и мы с Димой. Мы выпили по второй рюмке водки и, сосредоточенно закусив розовой селедкой, колбасой и салатом оливье, прислушивались к кайфу, который, подобно теплому пару, начинал подниматься из глубины наших тел, и ждали: кто же заведет беседу.

Беседу завел Дима. – Вы любите гулять по рынку? – громким голосом спросил он. Жена хозяина хмыкнула. Хозяин озабоченно посмотрел на писателя. Диму обычно снабжали предисловием: «Очень хороший художник. На остальное не обращайте внимания». Писатель, новый гость, разъяснений еще не получил и мог заключить, что если мы терпим такого человека, то мы и сами такие.

– ...А я люблю, – продолжал Дима. – У меня за рынком мастерская. Можно идти по Агриппас, вокруг, но я всегда иду через рынок. Посмотришь – и сыт. Недавно возвращался я вечером после очередного шидуха¹. Ох, думаю: приду в мастерскую, посмотрю на живопись и успокоюсь. Лил дождь, и на рынке было совершенно пусто. Только возле одного лотка под навесом стояла девушка. Я ее знаю, то есть встречал раньше на улице. Мне кажется – она проститутка, потому что она все время там ходит по вечерам. Она живет где-то рядом со мной. И вдруг понимаю, что она не может дойти до дому, потому что ливень страшный, а у нее нет зонтика. Я отошел уже от нее метров на тридцать, потом почему-то вернулся, подхожу к этой девушке и предлагаю ей зонтик. И думаю: Господи, какое право я вообще имею с ней разговаривать! Что бы мне сказала моя мама? Ведь я когэн!²

Она становится под зонтик, и мы идем, а она мне все что-то говорит, кажется, про одеяло, что она никак не может купить себе одеяло. Доходим до моего переулочка, она сворачивает под арку, а я иду дальше, к себе, и думаю: «Какое право я вообще имел с ней разговаривать? Зачем я это сделал?»

– По-тря-сающе! – звонко воскликнул писатель. – Воплощенная теория прозы! Ведь если действительно каждый из нас – воплощение чего-нибудь, может же человек быть воплощением японской прозы!

– Я бы убил вас! – вырвалось у меня.

– Да-да, я вас понимаю, – согласился писатель, а я с омерзением подумал: Господи, ведь и это – японская проза.

¹ Шидух (иврит) – здесь: встреча в брачном агентстве между потенциальными женихом и невестой.

² Козны – потомки священников, служивших в Иерусалимском Храме.

НАДЕЖДА

Без пяти четыре, крепко держа дочку за руку, Вова подошел к дому, в одном из подъездов которого располагался Отдел социального обеспечения. Участок перед правым подъездом зеленым облаком поднимался до самой крыши. Земля Израиля произвела хозяину правого участка виноград, гранаты, персики, инжир; перед левым подъездом над выжженными колючками одиноко возвышался серый бетонный стол. За столом на самом солнцепеке сидели Паша и Социальный Случай.¹ До Вовы донеслась лишенная интонаций скороговорка Случая: «...давали ветчину нарезанную, пирог к чаю, огурцы...»

Паша морщил маленькую красную облупленную мордочку. Одной рукой он потирал нос, в другой держал на отлете дымящийся окурок. При виде Вовы Паша закричал: «О! Капитан! Ты куда пропал? Что вчера не вышел?»

Не взглянув на этих, Вова сверился с табличкой на двери, хотя мог и не сверяться: пара за столом рекламировала собес не хуже, чем манекены в джинсах – магазин молодежной одежды.

Собес занимал трехкомнатную квартиру. Вова с дочкой оказались в гостиной, куда выходили двери остальных двух комнат. Сквозь открытую дверь одной из них был виден седой мужик с мясистым носом, который, сидя за столом, говорил по телефону. Видимо, это был Соцработник, хорошо известный Вове по рассказам Социального Случая.

– Простите, где принимает психолог? – спросил Вова.

Не переставая тихо говорить в трубку, Соцработник пальцем показал на закрытую дверь напротив.

У окна в гостиной стоял журнальный столик, по сторонам два низких коричневых кресла. Вова провалился в одно из них и строго сказал дочке: «Садись!» Дочка послушно провалилась в другое. На столе лежала пачка узких проспектов с надписью по-русски: «Здравоохранение в Израиле» и смеющейся куклой в белом колпаке на обложке, и пачка проспектов с такой же куклой, подписанная круглыми амхарскими буквами.²

Вова достал из нагрудного кармана рубашки сложенный вчетверо листок, развернул, еще раз промерил ненавистный смысл черточками и закорючками. Получалось все то же: «Родителям Анат. Прошу вас завтра, в 4.00, зайти с Анат к психологу, в Отдел Соцобеспечения, дом 304, кв. 2. Если время вам неудобно, позвоните по тел. ... Яэль».

Вчера в обед, открыв дочке дверь, Вова сразу заметил приколотый к груди ее кофточки листок – обычный вид почты от воспитателей к родителям. Вова всегда оставлял эти послания до прихода своей грамотной жены: иврит он знал плохо, почерков израильских и вовсе не разбирал, – но на этот раз что-то притянуло его к бумажке. Стоя на кухне в синем комбинезоне электрика, с кастрюлькой

¹ «Социальный случай» (калька с иврита) – человек, неспособный обеспечить себя самостоятельно по причине инвалидности, хронических болезней или тяжелого семейного положения и живущий на социальное пособие.

² Амхарский язык – родной язык репатриантов из Эфиопии.

супа в руках (зашел домой пообедать), Вова, шевеля губами, высосал из бумажки смысл – и сел на табуретку. Кастрюльку с супом поставил на стол. Дочка пускала по полу красный волчок. Почувствовав неладное, она подняла голову и посмотрела на отца долгим взглядом. На лице ее отразилось скорее удивление, чем испуг: ничего плохого она за собой не знала.

– Что ты сделала?! – спросил Вова почти шепотом.

– Ниче-го, – ответила дочка, растягивая слоги и с усилием проговаривая гласные, как делают израильские дети, говоря по-русски.

Вова понял, что Анат не врет. Мелькнувшая было надежда на то, что она просто с кем-то подралась или назвала воспитательницу дурой, испарилась.

Кое-как добив смену (крепили проводку в новом цеху промзоны), Вова вернулся домой и, не переодеваясь, сел в кресло. Дети, как всегда, бегали где-то, теща сидела со старухами на скамейке у подъезда.

Когда начало уже темнеть, распахнулась дверь, и жена, пыхтя, втащила пакеты с покупками, Вова протянул ей записку и сказал: «Позвони воспитательнице». Жена хотела было, как всегда, отругнуться, но странный вид мужа, сидящего в полутемной комнате в рабочей одежде и при этом не пьяного, смутил ее. Она пробежала глазами текст записки, включила на кухне свет, нашла нужный телефон и позвонила. Телефон воспитательницы не отвечал.

Вова сидел у открытого окна, против темного экрана телевизора, завешенного кисейной салфеткой, как в дни траура. Весенний воздух волнами доносил с улицы крики детей – русские слова с украинским произношением, размытые, разъеденные соленым морем иврита, но еще узнаваемые.

– Эй, джиджи! Выходи быстро, а то мордон набыю! Эванта?! – завизжали во дворе. Ударили по мячу. Побежали. Столкнулись. Дискант сына протянул сошедшую в плаксивый вой матерную фразу. В освещенном проеме кухни показалась жена с половником в руке.

– Что ж ты не идешь? – спросила она. – Тебя уж заждались. – Вова выщелкнул окурок в окно. Идти было недалеко.

За квартал от их дома, там, где кончалась застройка и улица поворачивала в промзону, под густыми соснами стояли шахматные столы. В городе было три мастера спорта по шахматам и гроссмейстер, но они на площадке не появлялись.

Социальный Случай и Паша всегда занимали крайний, угловой боковой стол. Сидений было всего два: друг против друга. Вова присаживался третьим на высокий бетонный поребрик. В магазин всегда посылали Пашу, он сам вызывался, хотя был старше их.

Когда Паша, выпив первые сто грамм и облегченно закурив, рассказывал, как в шестьдесят седьмом году в Бишкеке сдавали объект, Вова думал: «Сколько ж ему лет? Шестьдесят? Не может быть. А почему не может быть? Да не один ли хрен...»

Тем временем к беседе присоединился выпивший полстакана Социальный Случай. Не меняясь в лице – только речь становилась быстрее и еще невнятнее, чем обычно, – Случай сообщал о событиях прошедшего дня, например, как пришел к Гершону, социаль-

ному работнику, а у того прямо возле стола стоят коробки с ботинками, целый штабель. Спросил у него: ты можешь мне дать? А Гершон говорит: это только для мальчиков, у которых бар-мицва. Говорю: у меня маленький размер, 38, мне подойдет. Нет, нельзя.

А Вова смотрел на закатное небо между соснами. Темнота всегда наступала внезапно, как опьянение. Бух – и уже фонарь нас освещает. Ну и что? И прекрасно.

Нормально становилось Вова. Без злобы слушал он стрекотание собутыльников, вставал на легких ногах, подходил к другим столам, опирался о плечи сидящих, смотрел, как ходит слон. Вова не дрожал, как Паша, при виде стакана, и не был одиноким бездельником, вроде Социального Случая, но каждый день, как только кончался сериал и темнеющий воздух за окном закипал криками далеких муэдзинов, ноги несли его на площадку.

А вчера, впервые за месяцы – не пошел. Вошла жена с дымящейся в темноте тарелкой, включила свет, поставила тарелку на журнальный столик. Стихли крики за окном, вползла теща, вернулись со двора и проскользнули в свою комнату дети. Вова смотрел на лакированный сосискин бок.

И вот прошла ночь, проползла рабочая смена, и Вова с дочкой, как шары в лузах, сидят в продавленных креслах и ждут психолога.

Внезапно, без прелюдии шагов на лестнице, без скрипа дверной ручки дверь распахнулась, и в собес вошла огромного роста американка в коротком платье, с полудетским лицом в крупных оспинах и курчавыми черными волосами. Вова несколько раз встречал ее на улице.

– Шалом, – сказала психолог с густым английским акцентом, отпирая дверь своего кабинета. – Анат! Ты можешь заходить.

– Папа, пусть она не закрывает дверь, – тихо попросила Анат.

– Хорошо, – согласилась психолог. – Заходи.

Дочка зашла за ней в кабинет. Вова остался в приемной. Зашуршали бумаги.

– Well? – сказала психолог глубоким баритоном. – Назови мне животных на картинке.

«Ну, – с облегчением подумал Вова, – это она знает». Он вспомнил, как года три назад впервые остался с дочкой. Жена задержалась в городе, теща лежала в больнице. По TV ничего не было. Ребенок ползал по ковру. Вова, кряхтя, сел с ней рядом, раскрыл книжку с толстыми страницами и от скуки начал спрашивать: «Где киска? Где собачка?» И дивился не столько тому, что ребенок знает, сколько твердой уверенности, с которой крохотный палец тыкал в нужную картинку.

– Хорошо, – послышалось из кабинета. – Теперь круг. Хорошо.

С того вечера Вова стал присматриваться к дочке, открывать в ней новые (удивительные) качества.

Первым из них была хитрость: чудесная способность всегда, когда ей что-нибудь светило или, наоборот, грозило, вести себя не импульсивно, а обдуманно, т.е., оценив ситуацию, выбрать самую короткую дорогу к цели, скрыть свои намерения, пытаться использовать замысленность глаз, усталость и спешку окружающих.

– Саша хотел, чтобы ты купил этот мастик, – говорила дочка, когда хотела мастик. – Я уже ела такой, а он еще нет. – Бесхитростного Вову восхищали эти младенческие построения.

Анат была необыкновенно, как никто в семье, общительна, и в общении тоже проявлялась ее умная хитрость. Увидев на детской площадке в песочнице незнакомую девочку, а на скамейке рядом – ее мать, Анат тихонько спрашивала женщину: «Ты чья мама?», и, получив ответ, непринужденно подсаживалась к незнакомой девочке со словами: «Привет, Лиати!»

Людям нравилось это существо, дети все время кричали под окнами: «Анат! Анат! Выходи!» – и Вова читал в ней основу, секрет обаяния: здоровье и растворенная в нем щепотка ума.

Здоровье рождает улыбку. Люди тянутся к теплу улыбки, не разбирая, чем она вызвана – любовью к ним или любовью к себе. И если ты не дурак, ты получишь от людей все, чего только захочешь.

– Я люблю папу и маму, – говорила Анат вечно хмурым и злым друг на друга родителям, и так потрясали их эти нездешие слова, что не могли они уже ни дать дочке оплеуху, ни крикнуть на нее.

Ночью, когда Вова возвращался с площадки, дочка иногда просыпалась от стука двери и звала мать, но мать спала крепко. Вова брал ребенка на руки и с удивлением думал: «В кого этот ясный, осмысленный даже со сна взгляд? Откуда это новое существо, так непохожее ни на него, ни на жену с тещей, ни на злого уличного мальчишку Сашку?» Как породистая собака в стае дворняг, как красивая цветная рыба, выплывающая из мутных глубин, как прямая сосна среди густого, глухого, самого в себе полузадохнувшегося кустарника.

Вову так восхищала дочка, что он даже робел перед ней. Чему ее учить? Она и так знала то, чего не знал он, например, иврит, и как человек, родившийся здесь, в стране, стояла на ступень выше его, приезжего.

Проходя по дороге с работы через двор, где играли дети, Вова гладил дочь, когда она подбегала к нему, по каштановой головке, спрашивал, как дела, глядя на вывешенное на просушку под окном их квартиры розовое махровое полотенце с белой надписью: «МОСКВА-80», и шел есть свои шницели и смотреть свой сериал.

А вечером, сидя на площадке за каменным шахматным столом, Вова смотрел на собутыльников снисходительно: у него-то был уголок успеха в душе, была батарейка: человек из его семьи, его человек, вырвался из глухого тамбура, из бокса, где они все застряли, и свободно пошел вперед, в светлые комнаты.

А теперь вот и этого человека вытолкнули обратно, в бокс. Даже хуже. К психологу вызывают психов. Это как Таня из тринадцатого дома с сыном-полиомиелитиком.

Вова прислушался: в кабинете было тихо. Видно, психолог искала, какие бы еще задать вопросы.

– Из чего делают хлеб? – спросил баритон с английским акцентом. Дочка молчала.

– Ты знаешь, из чего делают хлеб? – Ребенок молчал.

– Боже, – подумал Вова, – не знает, что хлеб пекут из пшеницы! А кто ей рассказал? Бегает по двору целый день. А ты тоже, козел, вместо того, чтобы слушать каждый вечер, как сдавали объект в Бишкеке, когда тебе было шесть лет, почитал бы ребенку книгу. Вдруг скажут, что это обратимо? Можно решать с ней примеры. Можно буквы показать. Рассказать, что зима и лето бывают оттого, что земная ось с наклоном.

– Well, – сказали за дверью. – Ты можешь идти, Анат.

Дверь открылась, в проеме встала огромная фигура психолога, а на фоне ее, головой не доставая фигуре до пояса, – дочка, – и Вова вдруг увидел, какая она еще маленькая.

– Зайдите, – сказала психолог.

Вова поднялся из кресла и легонько толкнул дочку к выходу: пожди на улице.

Они зашли в кабинет. Вова сел за стол напротив психолога. Он смотрел на карандаш, постукивавший по пачке исписанных листов в такт словам приговора.

– Во-первых, я хочу вам сказать, и вы, наверно, сами знаете, что Анат – очень умная девочка. Оценки по логике, счету – гораздо выше средних. Узнавание предметов – прекрасное. Показатель развития речи... – нормальный. Воспитательница направила ее ко мне потому, что ей показалось, будто Анат ее не понимает, – тут психолог начала собираться: прикрыла исписанными листами стопку бланков на краю стола, параллельно стопке положила карандаш, – но, по-моему, Анат все прекрасно понимает, просто иногда притворяется.

Психолог открыла сумочку, посмотрела внутрь, щелкнула замочком и встала. Вова тоже встал.

– Немного жаль, что средний уровень развития речи, – продолжала психолог в приемной, запирая дверь, – не соответствует такому высокому уровню интеллекта.

– Если хотите, – они стояли уже на крыльце, – вы можете послать Анат в лабораторию связи...

Но Вова уже не слушал. Его внимание было поглощено Пашей и Случаем, которые, видимо, решив, что сегодня ничего в беседе не поймашь, медленно отваливали в сторону автобусной остановки.

– Эй! – крикнул Вова, и, когда Паша с готовностью обернулся, как обернулся бы на любой звук, возможно, обращенный к нему и способный хоть на минуту привязать его к чему-то, остановить их медленное, постоянное, бессмысленное движение; когда Паша и Случай обернулись, Вова вприпрыжку бросился к ним с крыльца.

Уже внизу он заметил дочку, которая ждала его, стоя у дверей собеса, спиной к стене. Вова вспомнил, что надо отдать ей ключ: дома-то никого нет, – но возвращаться не хотелось.

– Лови! – крикнул Вова, – и кинул ей ключ. Дочка испуганно выставила ладони, как будто защищаясь от камня. Ключ пролетел мимо нее и упал на асфальт.

Ну и что страшного-то? Не в колодец же упал. А с асфальта можно и поднять. И действительно, девочка подняла ключ и побрела во дворы, к дому.

Шмуэль Йосеф АТНОН

ОВАДИЯ-УВЕЧНЫЙ

Из книги «За семью замками»

I

Никогда не роптал Овадия-водовоз на судьбу, напротив, находил даже некое благое предначертание в своем увечье – был бы он, допустим, как все прочие люди, разве обручился бы с девушкой, о которой болтают дурное? Теперь же, когда он калека и отчаялся найти жену (а Тора говорит: нехорошо быть человеку одному), – сподобился невесты. Нашел невесту – нашел благо. Разве не молился о ней? Молись о девице, покуда не встала под хупу, встала под хупу – чиста от всякого греха. Одно лишь заставляло Овадию печалиться: чуяло его сердце, что не позабыла Шейне Сарел старых своих повадок, по-прежнему липнет, как мед, к любому парню, и не только что милуется с ними, и прячется по укромным углам, и пляшет, и многое другое, но даже нисколько не заботится, что скажут люди. А люди говорят: не разбивай стакана на своей свадьбе, Овадия, не то испугается Сареле, вздрогнет да и скинет.

Направился было Овадия в одну из суббот в тот дом, где устраивают танцульки. Сказал себе: кто виной тому, что она путается, как презренная рабыня, с любимым и каждым? Не тот ли, что покинул ее и предоставил самой себе? Теперь явится он перед ней и устыдит ее. И слова нужные заготовил – те, что скажет ей. Скажет ей: Шейне Сарел, жизнь моя! Зачем тебе эти вещи? Хорошо ли это? Завтра ты идешь под хупу, как чистая дочь Израиля, а сегодня ты пляшешь, как дерзкая служанка? Лучше посиди дома да поучись женским премудростям, глядя на госпожу твою, и если благословит нас Господь, будешь знать, как держать себя хозяйкой в доме. Но дорогой вспомнил, что нет у него подходящей одежды. Всякий раз, как собирался купить себе хороший костюм, тут же спохватывался: лучше пусть она сперва сошьет себе платье. Прежде надо думать о девушке, а уж потом о парне. И отдавал ей деньги. Так что теперь, если явится туда, опозорит ее и заставит стыдиться. И поскольку испугался Овадия, что заставит ее стыдиться, повернул назад.

Но в следующую субботу не смог усидеть на месте. Шесть дней недели озабочен человек трудами ради пропитания, и напрягает руки свои, так что кровь выступает из-под ногтей. Но приходит суббота – приходит покой, приходит покой – одолевают размышления. Лежит себе Овадия между печкой и плитой или сидит в синагоге и отчитывается перед Создателем в поступках своих, – все возвращается мыслями к предстоящим переменам. «Теперь про-

живаю я в углу у добрых людей, и она прислуживает в чужой семье, а завтра я беру ее в жены, и мы вместе – она и я – должны устраивать собственное гнездо. Теперь я не что иное, как создание легковесное и ничтожное, и она – жалкая рабыня, но завтра я везу воду на телеге, и я хозяин в собственном доме, и она хозяйка в нем.

Сподобился человек постели – тотчас наскочут в нее блохи, сподобился Овадия невесты – тотчас принялись обхаживать ее другие. Сказал Овадия: до каких пор будут они делать, что им вздумается, а я буду помалкивать? Если человек ценит себя не более чем прах под ногами, не диво, что каждый его растопчет и обгадит. Схватил Овадия свой костыль и отправился в тот дом. Но тут же снова начал в душе сомневаться: следует ли ему идти? Ведь они там наряжены, как царские дети, а он гол и бос, он нищий в латаных лохмотьях и дырявых башмаках, и капот его гонится разве что для пугала, а не для человека. Но под конец пнул ногой дверь и вошел. Сказал себе: перед кем? Перед этими попрошайками должен я стыдиться?!

II

Не ошибся Овадия, заглянув сюда. Все находившиеся в доме были увлечены пляской, и не нашлось никого, кто бы повернул к нему голову. И потому успокоилась его тревога. Стоял Овадия и оглядывал собрание. Смотрел он перед собой и видел: комната полна парней и девиц, лица у всех горят и пылают, как раскаленные угли, пара проносится в танце за парой. Молнией проносятся пары, разгоряченные и потные, а хозяйка стоит и командует весельем, поет и приплясывает, и приговаривает в такт:

*Когда понюхает раввин табак,
Раввинша тут же утирает нос.
А если в этом доме нет парней –
Тогда девица спляшет и сама!*

И хотя дом полон людей, тотчас видит Овадия свою Шейне Сарел, едва переступив порог, видит ее – ведь Шейне Сарел ростом выше всех подруг. Стоял Овадия так и любовался красотой ее, и не приблизился к ней, чтобы не осрамить ее. И пока стоял, заметил помощника того меламеда, у которого оставлял свои бочки. Подивился Овадия, увидев его, – что вещающему слово Божье до плясок и хороводов? Но в ту же минуту возгордился, как человек, который прибыл в большой город и встретил там знакомого. И поскольку в эту минуту окончился танец, потеснили Овадию от дверей, и оказался он возле Шейне Сарел. А Шейне Сарел все еще парила в воздухе, как та мелодия, что витает над скрипкой, и раздумянившееся ее лицо было прикрыто цветастым платком, так что не увидела она Овадию, пока не коснулась его нога ее ноги. Тут она вздрогнула.

Заговорил с ней Овадия, поприветствовал ее, оперся о костыль и стоял, вдыхая запах, что шел от ее платка. Сдвинула Шейне Сарел платок с лица и промолвила с удивлением:

– Благословен входящий... Добро пожаловать.

И уже раскаялся Овадия, что явился сюда. Если бы мог исчезнуть, тотчас исчез бы с глаз ее. А если и пляшет, так что? Ведь еще не мужняя жена! Но поскольку видел так близко пылающие ее щеки, вспылало сердце его. Приблизил он лицо к ее лицу и прошептал:

– Нехорошо, Сареле, позоришь ты еврейство мое.

В эту минуту взмахнула хозяйка дома белым шарфиком – в одну сторону повела рукой и в другую повела. Сплюнули парни с губ шелуху от арбузных семечек, приступили к девицам и замерли перед ними, и каждый пригласил ту, с которой желал поплясать. Увидел Овадия, что время поджигает – сейчас исчезнет она, понизил голос, как человек, молящий о пощаде, и сказал:

– Сареле!

Подняла Шейне Сарел на него глаза, будто в жизни не видывала, и сказала:

– Овадия, ты не хочешь, чтобы я танцевала с ними?

Решился Овадия и сказал:

– Нет, не хочу.

Наклонилась Шейне Сарел к Овадии и засмеялась:

– Если так – давай ты станцуй со мной!

И в тот же миг отвернулась от него и пошла прочь.

Как только заметили парни, что Шейне Сарел отвергла его, тотчас приступили к нему и принялись насмешничать – отнимать костыль. Качнулся Овадия, но подхватили его. Не успел он утвердиться на ногах, снова стал падать – едва не коснулся земли. Начали вопить проказники со всех сторон:

– Остерегись, Овадия, чтобы не пробил твой горб дыру в полу!

Подскочил к нему помощник меламеда и заорал во все горло:

– Добро пожаловать, господин Халевлейб! – И веселился, будто вот – чудо какое: человек вроде Овадии – однако ж есть у него имя!

И похлопал по горбу, прибавляя:

– Господин желает поплясать?

Затянул один из компании на мотив Симхат-Тора:

– Вот стоит жених Овадия, почествуем его, спляшем ради него!

Не прошло и минуты, как окружили девицы Овадию и сомкнули вокруг него обнаженные руки – обдало его терпким запахом горячих девичьих тел, и каждая принялась тянуть его в свою сторону – эта туда, а эта сюда, и заспорили друг с дружкой, и каждая хохотала:

– Со мной! Со мной Овадия будет плясать!

Навис над ним Реувен-рыжий и заорал грозно:

– А ну-ка, парни!

Тотчас явились двое и выдернули костыль у Овадии из-под руки и просунули его несчастному между ног, подняли его на воздух и принялись качать и подбрасывать, и распевать песню, которую тут же и сочинили:

Новый танцор!

Экое диво!

Что за горб –

как спелая слива!

*Вот он тут,
вот он там!
Бим-бам-бом!
Бим-бам-бам!*

*Жених – он принц!
Расступись, народ!
Царский сын
идет в хоровод!
Вот он тут,
вот он там!
Бим-бам-бом!
Бим-бам-бам!*

Болтался Овадия в воздухе меж небом и землей, взмахивал руками и колотил ногами, кусался зубами и впивался в своих мучителей ногтями – опустили его наконец на землю и вернули ему костыль. Ухватился он за костыль обеими руками и оперся на него изо всех сил. Подскочил Реувен-рыжий и отнял костыль. Рыжие брови торчат клочками и едва не впиваются Овадии в глаза. И великой ненавистью пылает его лицо. Испугался Овадия и закричал:

– Евреи, помилосердствуйте! Не делайте мне зла!

Схватил Рыжий костыль и положил его себе на колено, надавил изо всех сил, чтобы переломить. Но крепок был костыль, и затрещали у Рыжего суставы. От боли ударила ему кровь в голову, поднялась и закипела в нем злоба, размахнулся он и швырнул костыль в печь. Объяло пламя костыль и принялось пожирать его. Вытянул Овадия вперед трепещущую руку и бил ею в воздухе, как человек, тонущий в великих водах – пока не подкосились у него ноги, и не потемнело в глазах. Повалился он на землю замертво.

Лежал Овадия посреди комнаты, и те, что стояли поблизости, стали пятиться, а те, что были подальше, приблизились. Принесла хозяйка дома кувшин с уксусом, чтобы потереть виски «убитому». Смочили ему лицо, побрызгали на грудь и ждали, чтобы очнулся. Шейне Сарел высвободилась из объятий кавалера, подошла и склонилась над Овадией. Приоткрыл Овадия слегка глаза – как близка она! Как близко ее тело к его телу! Водопад горячих ее грудей едва не касается его сердца, как он чувствует их тепло!.. Плечи его вздрогнули – будто коснулся лампы, которую только что затушили, и не успело еще стекло утратить своего жара. Мысли его начали сбиваться и путаться, пока не прервались вовсе. Люди хлопотали вокруг него, он глядел на них, но все, что они делали, будто никак не касалось его. Через полчаса доставили его в новую больницу.

III

Овадия не хотел в новую больницу: против воли затащили его туда. Всю дорогу он кричал им:

– Я здоров! Я ведь здоров!

Но когда сняли с него одежду и уложили на кровать, почувствовал, будто все суставы в нем расчлениются и позвонки расходятся. Падение это, когда потерял он сознание, сильно повредило ему, и если бы не доставили его тотчас в больницу, могло бы все это плохо кончиться. А чего опасался Овадия, почему не хотел идти в больницу? Страх перед бальзамированием владел им. Люди рассказывали, что тела тех, кто умирает в этих новых больницах, заспиртовывают. А больница эта была самой что ни на есть новой, и служители богадельни, что оказались из-за нее отставленными от дел, часто качали головами и сокрушались о нынешних нравах и всеобщей порче творений, так что запомнились Овадии их слова.

Прежде на этом месте стояла богадельня, и хватало в ней места любому хворому и страждущему, пусть даже и прокаженному, пусть и больному скверной болезнью – вообще всякой сволочи, любому вору и бездельнику, что таскается из края в край земли, из страны в страну, и самому безнадежному больному, для которого не осталось никакой надежды. Но обеднело заведение, и обветшали стены. Явились власти и вынесли заключение: закрыть богадельню! Обезлюдело здание. И если кто строил в том городе дом, брал что хотел от камней и от балок, и от дверей и от окон, от всего, чем была богадельня раньше богата, так что вытащили под конец все, что было в ней маломальски стоящего: и резьбу, и отделку, и пороги и рамы, – пока не случился большой пожар и не пожрал сохранившееся. И не осталось от прежнего дома ничего, кроме груды развалин.

Случилось, что заболела служанка главы общины, лежала в доме хозяев своих неделю и еще неделю, и не видно было конца болезни, и не ведали уже, когда избавит ее Господь от мучений. Поднялся хозяин и пошел посоветоваться с уважаемыми гражданами города. И постановили: учредить больницу, как принято в прочих общинах Израиля. Тотчас сыскались важные деятели и вершители, и соорудили общими силами нечто вроде дома призрения для бедных больных. И любой страждущий, у которого имелась «рука» между служителями больницы, находил себе здесь койку и целителей вплоть до самой своей кончины. Раз в день заходил городской врач осмотреть больных, а два-три раза в неделю являлись члены похоронного братства освятить покойника. И знатные попечители проводили там те дни, в которые не находилось других, более существенных дел.

Однажды занемог городской врач, и пригласили на время молодого его коллегу – заменить больного. Намеревался этот молодой врач совершить восхождение в Эрец-Исраэль, Землю Израиля, и устроить там образцово-показательную лечебницу, но когда увидел нищету здешней больницы, приняля день и ночь хлопотать и исправлять, что можно было исправить, а поскольку старый доктор вскоре скончался, назначили молодого вместо него. И когда занял должность, ввел новые правила, так что стала его больница такой, как все лучшие больницы. Не ле-

жало у стариков сердце к этим нынешним порядкам, и покинули они место. Пришли вместо них молодые, дельные и рассудительные, ученые и жаждущие трудиться, и добыли нужные средства и сделали все возможное. И не успокоились, пока не превратили больницу в истинное благословение города.

IV

Принесли Овадию в больницу – под вечер доставили его туда. Икупал его больничный служитель в теплой ванне и выдал свежую рубаху. Смутился Овадия – разве не мылся он в пятницу и не переменял рубахи в честь царицы-субботы? А когда хотел надеть малый талес, остановил его служитель и сказал:

– погоди, сперва пусть постирают...

Привел в особое отделение, уложил на чистую постель, а сам вышел. Увидел Овадия, что нет вокруг никого, и сказал себе: горе мне! Неужто буду лежать тут всю ночь один? Пошарил вокруг в поисках Торы или молитвенника, но не нашел. Принялся от горя накручивать на пальцы пейсы и успокоился понемногу.

Явилась сестра милосердия, водрузила очки на нос – успела испортить себе зрение усердным учением и многими экзаменами, – поглядела на дощечку, что подвешена на спинке кровати. А так как имя больного еще не было вписано, спросила, как его зовут. Сказал ей:

– Овадия.

Удивилась сестра и сказала:

– Обадия? Пророк Обадия? Ты слышал о пророке Обадии?

– Еще бы! Из него читают в заключение «И послал Яков посланцев...»

Хоть и была она евангелистка, но ничего не поняла из его слов. А все-таки поглядела приветливо и кивнула головой. И снова спросила:

– А фамилия?

Сказал ей Овадия и фамилию. Записала и то и другое. Потом обвела взглядом палату, убедилась, что всего хватает, ни в чем нет недостатка, и вышла, пожелав ему спокойной ночи. Вертелся Овадия на своем ложе и не мог уснуть. Позабыл уже о всех горестях этого дня, только беспокоился: может, ошиблась госпожа сестрица на его счет? Завтра, как узнает, кто он на самом деле, рассердится. Ведь поглядела на стул, что возле кровати, верно, думала увидеть его одежду – чтобы по одежде определить род занятий и характер... Однако, в конце концов, боли и усталость пересилили все тревоги, и он уснул.

V

Овадия еще не проснулся, когда та же сестра зашла в палату и поприветствовала его, спросила, как ему спалось, хорошие ли сны он видел? И беседуя так, сунула ему под мышку градусник – измерить температуру. Взяла его руку в свою – посчитать пульс,

а после нанесла на ту дощечку какие-то буквы и значки. Узнал Овадия, что нет у него особо опасных повреждений – ничего такого. Ткнул пальцем в градусник и спросил:

– Что это?

Сказала:

– Градусник. – Спокойно и ласково ответила, тоном, который не заставляет сомневаться в добром отношении.

Постеснялся Овадия снова спросить: а что такое градусник? Решил оставить этот вопрос до другого раза.

Всех больных подняли с постелей, чтобы проветрить и убрать палату, прежде чем придет доктор. Опорожнили судна, вытряхнули и перестелили постели, вытерли повсюду пыль и вымыли пол. Одного Овадию, как только что поступившего, которого ни разу еще не видел врач, оставили лежать. Собрались к нему остальные больные – по-разному одетые, некоторые поглядели на него и обсудили что-то между собой, другие поинтересовались, что за болезнь у него. И тоже сказали:

– Что тебе делать в больнице, зачем лежать тут, если ты здоров? – И стали подучивать, как притвориться больным.

Хотел Овадия спросить: что там высматривала эта сестрица, зачем щекотала под мышкой стеклянным градусником? Для чего искала пульс? Что написала на своей дощечке? Не кроется ли тут какой опасности? Не сдадут ли меня властям? Но вспомнил вдруг про врача, и охватили его новые страхи: что, если врач возьмет да разрежет ему ногу? И застыли вопросы у него в гортани, ни один не сошел с языка.

Больные, которым разрешали вставать, пошли и уселись в коридоре за стол. И сестра оказалась там – кормила их завтраком. И не так, чтобы всем дала одно и то же, чтобы то, что дала одному, то же самое дала и другому. Нет, – этому дала молоко, а тому чай, этому – кофе, а тому – какао. И с едой то же самое. Этому – хлеб с маслом, а тому – лепешки или сухарики. И все, как записано на дощечке и согласно болезни. А были и такие, которым не досталось ни хлеба, ни сухарей, ни лепешек, а только зеленоватое питье – чтобы очистить желудок и промыть кишки. Как только отвернулась от них сестра, тотчас начали меняться между собой. Этот, которому дала молоко, желал получить кофе, тот, которому достались лепешки, нуждался в хлебе (поскольку родные тайно доставили ему из дому острый сыр). Кончили все есть и пить и вернулись к своим койкам. И Овадию перевели в общую палату, где все остальные больные. Благословен Господь! Если бы не поместили его теперь вместе с другими, умер бы в одиночестве от тоски и страха. Слыханное ли дело – отделять сына Израиля от общины! Растянулись больные на своих постелях, и оказались среди них такие, что громко стонали и охали. Но кто уже отчасти поправился, или болезнь его была несерьезной, делал, что ему вздумается. Этот изучал, как выглядит его моча, а тот занимался компрессом на ушибе. Но главное, и те и другие вместе старались угадать, что будет сегодня на обед.

VI

Раны Овадии оказались не опасными. Мог бы он дня через два-три встать и вернуться к трудам своим. Избалован с детства не был, если случалось когда заболеть – ну, так болел. Хуже, что ли, он от этого сделался? Только вот беда: проверила сестра его мочу и нашла в ней белок. Посмотрела во врачебный микроскоп и увидела, что есть в моче сгустки и белые крупички. Простудился однажды Овадия и схватил воспаление почек. А когда пришел врач и стал проверять его, обнаружил на позвоночнике, на пояснице, вздутие и покраснение. Набухло все это место, и жидкость собралась между кожей и мясом. Сказал врач сестре:

– Дерматит у него. – И велел, чтобы не вставал Овадия с постели. Распорядился давать ему такую еду, чтобы не затрудняла пищеварения: молоко и рис, кашу и суп, булочки и мучной соус, но без всяких острых приправ.

Лежит Овадия и думает, что это еще за дерматит, что за дракон такой у него приключился? Лицо его деревенеет и пухнет и становится, как стекло. Веки набрякли, и взгляд затуманен. Моча мутная, и поначалу был в ней даже большой осадок, и вес состава больше тысячи тридцати. Но Овадия не стал отчаиваться. Можно даже сказать: вовсе не чувствовал своих болезней. Полеживал себе, как царский сын, на чистой постели, и кормили его лучшими в мире кушаньями. И не проходило дня, чтобы не сотворили с ним какого-нибудь благодеяния и какой-нибудь милости. Щетку с настоящей щетиной дали – чистить зубы. Белый порошок дали. Окунает Овадия щетку в воду, макает в этот порошок и в рот – и тотчас прохладный дух наполняет всю гортань и ударяет в ноздри, расширяет дыхание и просветляет глаза, и зубы его блестят и сверкают. Мазь дали – руки мазать. Начал Овадия пользоваться ею – зажили на нем все царапины, все трещинки на руках исчезли, все синяки и ссадины, сделалась кожа нежной, как у младенца. А иногда, когда сестра уходит в город и прощается с ним, кладет свою руку поверх его руки, и он чувствует тепло ее ладони у себя на коже, и нет между ними никакой преграды. Если бы Шейне Сарел видела его таким... Не стала бы больше стыдиться его...

Каждый божий день ждал Овадия, что вот, Шейне Сарел придет проведать его. Ведь не трудно это. Полчаса пути разделяют их. Разве она должна покупать ему какие-то подношения? Даже и не позволяют таскать больным еду из города. Но если бы принесла вдруг что-то приятное и желанное, показывал бы после соседям и говорил: это Шейне Сарел принесла мне! Каждый день, как наступал час посещения, накручивал Овадия пейсы и расчесывал бороду, растягивался на постели и ждал – вдруг придет.

Но Шейне Сарел не пришла.

VII

Провалился Овадия в больнице почти до самых осенних праздников, до самого Рош а-шана. Уже мог вставать каждый день с постели и выходить в больничный сад. Новый костыль выдали ему, с резиновой нашлепкой, идет он себе – как по облаку шагает, не слышно ни звука. И врач, и сестра, и служитель по-прежнему добры к нему.

Но нет худа без добра, и нет добра без худа: с того дня, как попал он в больницу, ничего не слышал о Шейне Сарел. Разве она не ведает, где он? Или забыла ту субботу, забыла, как обошлись с ним озорники на танцульках? Разве не видела, как понесли его в больницу? Или, может, сама она больна, не приведи Господь? Прежде, чем сердиться на нее, не лучше ли спросить о ее здоровье? Но у кого? Больные эти, что лежат здесь в больнице, не знакомы с ней – ни они сами, ни те, что их навещают.

Согревал Овадия под ласковыми лучами осеннего солнца свое измученное и побитое тело. Мускулы его сжимаются и расслабляются, напрягаются и растягиваются, и куда бы ни захотел он поворотиться – во всякую сторону с легкостью поворачивается. И даже горб – словно не так уже тяготит спину, не гнет к земле. Будто отсекли от него часть, и уменьшился в размере. Нет у Овадии никаких причин кручиниться и горевать, но все же не может он не тосковать – не приходит к нему Шейне Сарел! И не потому он тоскует, что так уж жаждет увидеть ее, – нет, хочется ему, чтобы она посмотрела на него теперь. Увидела во всем благолепии и во всем достоинстве. Чтобы сделался он ей мил.

Но долго унывать не умел Овадия. Не бывает такого горя, чтобы не нашлось рядом утешения. Ведь не сегодня-завтра выходит он из больницы, и если она не пришла к нему – что ж, он сам пойдет к ней.

Похлопал его врач приветливо по плечу и сказал:

– Сегодня ты молодец, Овадия! – и обещал, что вскоре разрешит ему выйти в город – размять немного ноги.

Сила возвращается к нему. Благословен Господь!

Не раз говорил себе Овадия: экий ты дуралей, Овадия, что ты так торопишься покинуть больницу? Если ты о бадьях своих беспокоишься, так они в надежном месте, хранятся у меламеда. А если о деньгах ты тревожишься, так деньги отданы в залог и каждый день нарастают на них проценты. И не только что хлеб твой дан тебе здесь задаром и постель не стоит тебе ни гроша, но ведь подумай! – раньше ты кости глодал, и то не досыта, не каждый день, а теперь лопаешь мясо до отвала. И то, что ты ешь тут в будни, дома не снилось тебе и в субботу. Подумал Овадия: чудеса да и только! Поначалу жутко мне казалось очутиться в больнице, а теперь тяжело с ней расставаться. И как человек, который спешит насытиться перед постом, поскольку знает: завтра не придется отведать еды, так и Овадия – лежит на своей постели и не может налегаться, нежится под одеялом

и съедает все, что дают, и встречает каждый день с умилением и благодарностью, поскольку знает: не сегодня-завтра конец всему этому счастью.

Ложал Овадия на чистой постели, потягивался на белых простынях, откидывал голову на настоящую перьевую подушку, укрывался настоящим одеялом и почти забывал, что он жалкий хромой калека. Почивал и блаженствовал, как барин, как знатная роженица.

VIII

Кувшин ходит по воду, покуда не разобьется. Что должно было случиться, то и случилось. Отяжелело тело Шейне Сарел, раздались члены, и избыток плоти стал для нее источником тоски и скуки. Лежит она ночью после плотного ужина, лежит на своей постели, обложенная со всех сторон подушками и перинами, а голова свободна от всяких мыслей, и сердце свободно от привязанностей. А что сделают свободная голова и пустое сердце, если не приведут к преступным размышлениям? Если бы парни воротили от нее нос, может, и обуздала бы себя, но теперь, когда они распалют ее страсть, как устоит от соблазна? И если бы караулила беда снаружи, может, еще справилась бы с ней, но сейчас, когда беда в доме, куда бежать от нее? Есть у ее господина приказчик – Реувен-рыжий. Как банный лист, как лишай прилепился он к ней. Много раз грозилась, предупреждала его: попробуй только прикоснись ко мне, всю морду раздеру! Но положил он руку ей на грудь, и смутилась душа ее, не смогла Сареле вымолвить ни звука, не стало у нее слов, чтобы отчитать и прогнать его. Хоть бы Хромой был здесь, может, спас бы ее от греха, но и его нет, и вот – ведет она себя, как презренная рабыня. Не по сердцу ей эти грубые парни – с наглыми лицами, да не умеет отвадить их.

А кто виноват, что Реувен командует Шейне Сарел, как ему вздумается? Иехуда Йозель, хозяйский сын! Иехуда Йозель, ешиботник. Большую часть дня торчит Йозель в ешиботе, даже пообедать нет у него времени. Когда вся семья за столом – нет его. Является, когда все уже отошли ко сну. Приходит, когда во всем доме бодрствует только Шейне Сарел. Накрывает она для него на стол, ставит подливу и мясо, он подсаживается и в задумчивости, уткнувшись в книгу, принимается жевать. А она садится у печки и глядит на него. Тень смущения на лице, локоны пейсов спадают на щеки двумя прекрасными завитками, отхлебывает себе подливу и вгрызается молодыми зубами в грудинку, обсасывает косточки и хрустит румяной поджаристой корочкой. Если бы не стыд, встала бы и поцеловала его. Не ради чего-то грешного, упаси Бог, – просто от восхищения. Не успеет Шейне Сарел увидеть его, только бросит на него взгляд, как щеки ее вспыхивают, а глаза сами собой опускаются книзу. Упрется взглядом в собственные коленки, а вся душа трепещет от томления.

Иехуда Йозель встает до света, спешит в ешибот, и выходя из дома, заглядывает в комнату, где спит Шейне Сарел. Будит ее, чтобы она встала и заперла за ним дверь. До чего ж приятны ей

эти мгновения, когда он стоит возле ее кровати! Дороже они ей, чем целая ночь, хоть и тревожит Иехуда Йозель ее сон.

Один раз, еще до того, как ему войти, откинула она одеяло с груди, а когда появился, притворилась спящей. Взглянул он на нее, и смутились в нем все чувства – с трудом овладел собой и позвал ее, но она не ответила, снова позвал, и снова она не ответила. Подошел и коснулся ее, и тотчас опалил его такой огонь, какого в жизни не знал. Лежит его рука у нее на груди, и пальцы трепещут. И стоял Иехуда Йозель так, пока не взошла заря. Весь тот день был он словно болен, лихорадило его и трясло, то казалось ему, что вся кровь покинула его тело, то бросало в жар. На постели не мог улежать и заниматься Торой не мог, обнимал печь и думал в сердце своем: ведь она невеста! Обрученная девица. Однако... Поскольку еще не сказал ей Овадия слов благословения, считается свободной. Да и что такого он сделал? Ну, положил руку ей на грудь, так что? Сделалась она от этого нечистой?

Вспоминал случившееся и не мог уже думать ни о чем другом. И тот же трепет, что ощутил, когда стоял у ее постели, опять охватил его сердце, сотряс все его существо – поднялся и усилился во сто крат. Вскakiвал Иехуда Йозель со своего места и клялся, что не повторит грешного поступка, что добрый нрав победит дурной, но с каждой новой минутой все более отчетливо являл перед ним Сатана обнаженное девичье тело, так что под конец уже сожалел, что не оставалась его рука дольше на ее груди. Вспомнил Иехуда Йозель, как однажды помог Овадии подсчитать его деньги. Спросил себя Иехуда Йозель: почему же не покусился ты на деньги – не взял ни гроша от них? Ведь, поскольку должен был отослать их в счет налога за бракосочетание, за подпись от общинного совета, мог утаить часть, и никто бы – ни Овадия и никто другой – ничего никогда не узнал бы и не почувствовал, но ведь не взял ни полушки, а если бы взял, все равно получил бы то же самое разрешение вовремя. Запылало лицо Иехуды Йозеля от стыда, как смородина. Украсть? Что за мерзкий помысел! Даже принялся трясти рукой в воздухе, будто приклеилось к ней что-то гадкое, и от ужаса весь вспотел. Огляделся вокруг, как заправдашний вор, – не прочел ли кто его мыслей? Только когда убедился, что никто ничего не заметил и не заподозрил, перевел дыхание и поднял голову с облегчением. Упал его взгляд на скрижали Завета. Подумал: разве заповедь «не укради» не равна заповеди «не пожелай»? Кто предостерег от одного, предостерег и от другого. Почему же в первом случае вышел ты с миром, а во втором – только взглянул и погиб? Но даже больше, чем сокрушался Иехуда Йозель о своем преступлении, сожалел он о том, что открыт теперь путь к греху.

В тот же день случилось ему прослушать проповедь одного мудреца, наставлявшего, что как не знаем мы, чем прельщало прежние поколения идолопоклонство, так и будущие поколения не узнают, чем прельстил нас разврат. Сказал Иехуда Йозель: ведь из Талмуда знали сыны Израиля, что нет истины в идолопоклонстве, и потому не совершали идолопоклонства, кроме как для того, чтобы сделать разврат дозволенным. То есть совершали идолопо-

клонство не ради него самого, а лишь ради кровосмесьства и блуда. И так трактует рабби Шломо бен Ицхак: когда охватывала их страсть к разврату, говорили: сбросим с себя бремя Торы, и некому будет упрекнуть нас в потакании собственной похоти. А к идолопоклонству не было у них рвения. В любом случае, если вспомним и сопоставим, какова была страсть к разврату и кровосмесьству у первых поколений, то обнаружим, что ослабела ее сила и вырвано ее жало.

Когда настало утро другого дня, встал он и укрепил себя изречениями мудрецов, и решил уже разбудить ее и тотчас уйти. Но обуяла его похоть хуже прежнего и заставила его руку лечь на грудь ее и не отрываться, и двигаться дальше, пока не насытится ладонь нежностью плоти ее. Тотчас осознал всю низость своего поступка. Устрашился, что закричит девица и опозорит его, но успокоил себя: спит она и ничего не чувствует. А если даже и чувствует, ведь сможет он сказать, что ничего дурного не имел в виду, а лишь хотел разбудить ее. Разве не поверят ему? Дядя его был еще не женат и соблазнил служанку, но не сказали ему: помни дела свои первые! Правильно учили мудрецы: если вздумал человек взять себе жену, пусть проверит вначале братьев ее, потому что сыновья в большинстве своем идут в братьев матери. И опять не убрал руки своей с ее груди.

Если совершил человек преступление, да еще повторил его, привыкает к содеянному. И с этих пор, как наступал час идти в ешибот, не мог устоять против соблазна. И не только на рассвете, а во всякий час, как случалось ему находиться дома, и никого из домашних не было рядом, не удерживался от блуда. И так это у них повелось: она сидит у печки, чулок в руке и клубок ниток на коленях, и притворяется, что дремлет, а он приближается потихоньку, кладет руку ей на грудь и играет клубком, что в подоле ее.

И не утаилось это от приказчика. Положил приказчик руки ей на плечи и сказал:

– Будешь слушаться меня – хорошо, а нет – сообщу обо всем хозяйке.

И с тех пор командовал ею, как хотел.

Дело было в ночь под Рождество. Отправился хозяин играть в карты и передал ключи от лавки приказчику. Принес приказчик ключи в дом лавочника и не нашел там никого, кроме Шейне Сарел. В тот час занималась Шейне Сарел тем, что перестилала постели и стояла как раз возле кровати Иехуды Йоэля. Взбила уже тюфяк и накинула простыню, взбила подушку и проверила – нет ли где комьев, не застряла ли между простынь соломинка из тюфяка, – чтобы не потревожила, не дай Бог, не смутила сон Иехуды Йоэля! И вот, пока стояла она так беззащитная, обхватили ее с силой две грубые руки, и запах Рыжего, который не могла выносить, ударил в ноздри. Повалил приказчик ее на кровать и сам повалился на нее. И дышал тяжело, как кузнечный мех. Две-три минуты лежал с нею. Потом оттолкнул ее и сплюнул.

Позднейшие их встречи проходили не так. Не как в тот раз, а совсем как у людей – вначале сидели они и беседовали о том о

сем. На чердаке под крышей стояла кровать – в праздник Суккот пользовались ею, чтобы исполнить, как положено, заповедь Суккот. Всю зиму на кровати этой был навален лук, а на стене над ней был вбит гвоздь, на котором висела старая шуба. Сняли шубу с гвоздя и постелили на кровать. И вот, Шейне Сарел поднимается на чердак – взять корма для птицы, – а тут Рыжий прыгает на нее из угла, и трубит ей в ухо, и карандаш, что торчит у него за ухом, тычется ей в лицо, и тотчас начинает Шейне Сарел дрожать, руки ее сами собой сползают на живот, а он хватает ее в объятия и держит, пока она не сдастся.

IX

Все еще лежал Овадия в больнице и тучнел, как вепрь, и все посетители, глядя на него, поражались: что это крепкое создание делает тут между больными? Даже служитель подмигнул однажды и сказал:

– Овадия этот не болеет в остальные дни года, а только в субботы и праздники!

Но сестра милосердия заступилась за него и объяснила:

– Снаружи он здоров, да изнутри болен.

Это как, например, выходит человек на рынок – купить чего-нибудь – и не знает, что у него больные почки. И вдруг падает и умирает. Убиваются по нему родные и плачут: вчера был здоров, а сегодня простерт бездыханный! И не ведают, что на самом деле Ангел смерти давно уже ходил за ним по пятам.

Служитель сует Овадии градусник под мышку и говорит:

– Счастье твое, Овадия, что напали на тебя эти разбойники и поколотили. Если бы не этот случай, истаял бы ты, как сальная свеча. Бога благодарить ты должен, избавлением своим обязан ты этим ранам. Дай-ка погляжу твою температуру.

Притворяется Овадия, что достаёт градусник, а сам вытаскивает из-под мышки ложку или вилку – или расческу. Нравится Овадии смешить людей. Не опасны теперь его болезни.

X

Однажды в четверг стояла Шейне Сарел у стола и месила тесто, а Йехуда Йозель, хозяйский сын, сидел напротив нее и копался в «Книге рифм», отыскивая удачные созвучия, которыми смог бы украсить собственное поэтическое сочинение. Итальянские рифмы, рожденные в недрах музыкального языка той страны, но совершенно не соответствующие местному наречию, он отверг. Мечтания и мысли Йехуды Йозеля витали в иных сферах, сознание его было рассеяно, он перелистывал страницы и поглядывал на стоящую перед ним Шейне Сарел, которая слегка покачивалась в такт своим движениям. Все члены его расслабились, взгляд затуманился, он сидел против нее, словно погруженный в дремоту, и приятное томление и грусть теснили его сердце. Постепенно позабыл он о рифмах, а принялся размыш-

лять о том, что до сих пор не женат, не познал главного наслаждения в этом мире и, может, умрет вдруг, так и не изведав вкуса жизни, – как случилось с рабби Гершомом Хефецом, составителем этой книги, скончавшимся в восемнадцать лет.

Шейне Сарел тихо занималась своим делом, подхватывала тесто и складывала пополам, и еще пополам, и снова раскатывала, и при каждом движении вздрагивал и вздымался ее грузный набрякший живот. Тот день был праздничным у христиан, в связи с чем лавка была закрыта, и хозяйка сидела дома, занятая какой-то своей работой. Поглядела хозяйка на Шейне Сарел и сказала:

– Сдается мне, Шейне Сарел, что ты пополнела. Что-то очень уж вздулся у тебя живот!

Покраснела Шейне Сарел. Завопила хозяйка:

– Подлая! Убирайся отсюда, сию минуту!

Шесть месяцев уже носила Шейне Сарел младенца в утробе. Когда остыл немного гнев хозяйки, глянула она на сына – проверить, понял ли он что-нибудь из всего случившегося. Но Иехуда Йозель будто ничего и не слышал, глаза опущены в книгу – поглощен размышлениями о содержании той главы, в которой безутешный отец оплакивает безвременно почившего сына: на что жаловаться живому человеку, преодолевшему грехи свои?

В ту ночь пробужден был Реувен от сна каким-то движением в комнате. Вскинул он руки и спросил:

– Кто тут?

Успокоила Шейне Сарел:

– Не шуми!

Приподнялся на постели: Шейне Сарел стоит возле него. Умолк и не проронил больше ни слова.

Задрожал ее голос:

– Это я, Реувен. – Чуть слышно сказала, чтобы не услышал никто в доме. И как будто от собственных слов открылась ей вдруг вся бездна беды ее. Прибавила: – Что мне делать? Если не возьмешь меня в жены, как положено по закону, брошусь в реку...

Уронил Реувен обе руки на постель. Потом уселся на подушках повыше и все еще молчал.

Позвала Шейне Сарел:

– Реувен! – И рыдания перехватили ей горло.

Оперся Реувен на локоть и сказал:

– Если не уберешься отсюда сию минуту, закричу так, что проснутся все в доме. Пускай соберутся и увидят, что ты за штука!

Проглотила Шейне Сарел свои слезы, повернулась и ушла.

Если бы начал Реувен утешать ее, если бы стал давать обещания и обманывал, если бы прогонял ее от себя и призывал вновь – кто знает, выдержала бы она? Смогла бы выносить ребеночка до конца? Теперь же, когда сказал он те слова, что сказал, напугала ее его угроза даже больше, чем само ее печальное положение, вернулся к ней разум, оставила она его в покое и пошла туда, куда пошла. Отыскала себе угол, и окончила там дни беременности своей. И родила сына.

XI

Вечером в пятницу, что перед Рош а-шана, разрешили Овадия выйти в город – испробовать ноги, и если хождение не повредит ему, дадут ему провести еще и эту субботу в больнице, а после будет он сам себе господин. Спустился Овадия в микве и погрузился, поднялся и обсушился, принесли ему его одежду, и оделся. Взял новый костыль, сунул зубную щетку в наружный карман капота, чтобы всем была видна, и вышел в большой мир. Стеснялся Овадия вернуться в палату в жалкой своей одежде, но не мог покинуть братьев-больных без прощального слова и благословения. Пришел к ним – он смотрит на них, а они глядят на него. Он смотрит, не смеются ли над ним – из-за его лохмотьев, а они глядят на его костюм и вспоминают собственную одежду. Простился с ними и пошел в город. Ослабел Овадия после болезни, нескорю передвигаются ноги, долгой показалась дорога. Зато походка у него теперь не как прежде. До того, как попал в больницу, дергался и подпрыгивал при каждом шаге, спотыкался, как беспомощный инвалид, а теперь вышагивает, как солидный белоручка.

Хотел Овадия сразу направиться к Шейне Сарел, но возник у него серьезный вопрос: когда следует произнести благодарственную молитву за излечение и избавление – в эту ли субботу, когда он все еще помещается в больнице, ест и пьет там, – или в следующую, когда покинет ее окончательно? Направился он к меламеду, спросить его совета.

Заметил того самого помощника меламеда – сидит на завалинке и привязывает кисти к талесу. Обогнул дом и подошел потихоньку, чтобы вдруг предстать перед ним. Подумал Овадия в душе: смотрите-ка, сегодня он сидит тут, как невинная овечка, а завтра поскачет плясать с девицами! Увидел помощник меламеда Овадию, сплюнул презрительно и сказал:

– Это ты?

Выпятил Овадия грудь, в особенности то место, где торчит из кармана зубная щетка, и ответил:

– Я и никто другой! Я собственной персоной.

Поздоровался помощник меламеда и спросил:

– Откуда явился? Совсем исчез... Пропал с глаз долой. Мы уж думали, ты в Броды подался, нанялся там в кормилицы. Тебя, кажется, следует поздравить.

Порадовался Овадия приветствию и поздравлению. Действительно, выздоровел он теперь, кто теперь помешает ему сыграть свадьбу, прямо в эти дни, без дальнейшего промедления? Сколько можно скитаться по чужим углам и не иметь собственной крыши над головой? Поднялся помощник меламеда, обхватил Овадию за плечи и сказал:

– Дай-ка погляжу на образину твою, рабби Овадия, сдается мне, что вернулась к тебе твоя молодость! Откуда ты вдруг явился и где пропадал столько времени?

Подмигнул ему Овадия и сказал:

– Это ты спрашиваешь, где я пропадал? Или вовсе не слышивал, что попал я в больницу? – С той самой субботы, как застал тебя пляшущим с девицами, не подымался с постели. Увидел тебя занедужившим и сам заболел. Хорошо же ты, однако, исполнил заповедь посещения больных! Сейчас, даже если бы дал ты мне полный дом серебра и злата, не смог бы исправить прегрешения своего, поскольку я уже вышел из больницы.

Удивился помощник меламеда:

– В больнице ты был?

Сказал Овадия:

– Что ты разеваешь рот? Хочешь бочку проглотить? Целый год провел я в больнице.

– Целый год?.. Быть того не может!

– А если меньше года, так что – недостаточно?

– И совсем не выходил оттуда?

Сказал ему Овадия:

– Экий ты всемирный дуралей! Говорят тебе: с постели не вставал, а ты спрашиваешь, не выходил ли.

Поглядел на него помощник меламеда и скорчил рожу:

– Что ж... Значит, по телеграфу ты делаешь детей, Овадия.

Сказал ему Овадия:

– При чем тут телеграф, и кто делает детей?

Захлопнул помощник меламеда рот и ничего не сказал – видел же он Шейне Сарел, видел, что у той живот на нос лезет! Поглядел еще раз на Овадию, и появилась на губах у него усмешка – как бывает у похотливцев, даже если и не согрешили. Тут как раз явился сосед и спросил о своем талесе. Повернулся Овадия и ушел.

Дошел до лавки хозяев Шейне Сарел. Сказал себе: может, зайду и куплю ей конфет? Вошел тихо и степенно и поздоровался со всеми:

– Шалом! – и протянул руку, поприветствовать каждого, кто тут случился.

Покупателей в лавке не было, лавочник сидел за столом и подсчитывал выручку, а приказчик отдираал крышку от ящика с сахаром. Увидел приказчик Овадию, вскинул голову и взмахнул топором. Поздоровался с ним Овадия и осведомился о здоровье. Опустил Рыжий голову и вернулся к своему занятию. Вытащил Овадия кошелек и вынул из него серебряную монетку. Еще раз сказал лавочнику «шалом» и стал дожидаться, пока тот соблаговолит обратить на него внимание. Повернул лавочник голову, но не вымолвил ни слова.

Стоит Овадия и слышит вдруг брань из угла. Поскольку пришел он со света, не заметил в темном углу фигуру хозяйки дома, но голоса ее не услышать не мог.

– Поглядите-ка! Сыскался – папаша! Может, подарков пришел требовать?

Оторвался лавочник от подсчета денег и спросил громогласно:

– Друг мой, чем обязан я такой честью, что ты осчастливил меня своим визитом?

Протянул Овадия ему монетку и изложил свою просьбу. Взял лавочник банку с конфетами. Пошарил в банке и отсыпал из нее в кулечек. Тем временем выбралась жена его из своего угла и снова заголосила:

– Видели вы такого пакостника? Прислугу в доме нельзя держать по его милости! Дай, дай ему конфет, пускай подавится ими!

Стоял Овадия, как громом пораженный, и не знал, отчего эта женщина кричит на него. Взвесил лавочник конфеты. Отложил и прибавил, прибавил и отложил, и отдал наконец Овадии. Сник Овадия, молча взял конфеты и вышел.

Постарался Овадия припомнить все свои дела и не нашел, чем он кому-то не угодил. Стукнул костылем оземь и сказал себе: ну и пусть злится, мне-то что? Пусть бесится, пока не лопнет! В любом случае хорошо, что она торчит теперь в лавке, а не дома. Пойду туда и увижу Шейне Сарел. Но дорогой сделалось все-таки на душе у него беспокойно.

XII

Пришел в дом лавочника и нашел там другую служанку. Поглядел на нее Овадия и спросил:

– А Шейне Сарел, где она?

Вселился бес в сердце служанки и прогнала его, ничего не открыв.

Стоял Овадия возле дома, почесывал в затылке и обдумывал, куда же ему теперь идти. Вертелся на своем костыле в одну сторону и в другую и взвешивал, где искать Шейне Сарел. Нет сомнения, что оставила Шейне Сарел дом лавочника и нанялась к кому-то другому, но к кому? Тревожно и обидно стало ему – мало того, что не встретил ее, но даже не знает, куда направиться. Может, пошла набрать воды из реки? Не то, чтобы был подходящий для этого дела час, но за что-то должен он был уцепиться – чтобы не потерять совсем надежды разыскать ее. Не успел еще двинуться в путь, как снова овладело им сомнение. Может, она там, а может, и не там. А если не там, задержат его водовозы. Что же делать и где искать? Разве что пойти сначала к свахе, та уж точно знает, где теперь Шейне Сарел служит. Скажет ему. Опустил Овадия руку в карман, нащупал кулек с конфетами и направился к свахе.

Подошел к дому свахи. Издали приметил фигуру женщины, смотрел на нее и не мог понять: Шейне Сарел это или не Шейне Сарел? Ведь не суббота сегодня и не праздник, что ж она сидит на завалинке? Нечего разве ей делать? Не осталось никакой работы? Или, не дай Бог, была больна и до сих пор не в силах трудиться? Тотчас подойдет к ней и скажет: видишь, Сареле, жизнь моя, мы с тобой одна душа и одно тело. Это как заболит у человека одна нога, а все тело чувствует, так и мы с тобой: я захворал, и ты за мной следом. Слава Богу, что уже выздоровели и окрепли. Видишь, Шейне Сарел, хоть сердце у меня и щемит, как подумаю, что ты была больна, но уповаю, что не случится такого

в будущем, и тем утешаюсь. Или, может, вообще ошибся он, и это вовсе не Шейне Сарел – вовсе другая женщина? Ведь ребеночек у нее на руках. Кому подобен дурак, не узнавший жены своей?

Смотрел Овадия на крупный и пышный стан той женщины, и лицо ее делалось все более и более чужим. И охватила его великая печаль. Полагал Овадия, что пришел к своей нареченной, а приблизился немного и нашел другую. Стоял и звал: Шейне Сарел, Шейне Сарел! Не потому, что мог еще воображать, будто она Шейне Сарел, но чтобы точно убедиться, что не Шейне Сарел она. И не было ответа. Подошел он вплотную к завалинке.

Шейне Сарел сидит на завалинке, грудь ее обнажена, и младенец в ее объятиях. Тяжелый подбородок уперся в грудь. Поглядел Овадия перед собой, обхватил одной рукой покрепче костыль, а вторую засунул в карман, где конфеты. Начали конфеты таять в его руке, и липкая жидкость стала сочиться между пальцами. Подняла Шейне Сарел голову и прикрыла грудь. Принялся младенец кричать и потянулся ручонкой к груди. Всунула Шейне Сарел сосок ему в рот и закричала:

– Ах ты, ублюдок, на, на – соси и подавись!

Вцепился ребенок в материнскую грудь всеми десятию пальчиками, рыжие волосенки торчат из-под чепчика. Посмотрела Шейне Сарел на Овадию, потом на младенца, и зеленые глаза ее вспыхнули гневом. Стоит Овадия – рот раскрыт и язык прилип к гортани – как камень, который некому сдвинуть. А конфеты в руке его тают и иссыкают. Младенец присмирел и сосет материнскую грудь с тихим причмокиванием. Переложил Овадия конфеты в правую руку, а костыль в левую. Младенец насытился и разжал одну ручку, скатилась она с груди Шейне Сарел. А Шейне Сарел все никак не успокоится от злобы своей. Не решился Овадия отдать ей конфеты, склонился над младенцем и вложил их в его ручонку.

Перевела с иврита Светлана Шенбрунн

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

Марк Вейцман

ПОКА ДУША НЕ СМЕНИТ ОБЛОЧКУ

* * *

Ощущенье, будто жил я здесь когда-то, да забыл, как звали,
так же, как и нынче, от уродств мрачней, от красот балдея.
Счастлив был? Не знаю. Умирал? Конечно. Воскресал? Едва ли.
Здравствуй, Галилея! Здравствуй, Самария! Здравствуй, Иудея!

Что это за песни? Что это за шутки? Что это за нравы?
Как развязны дети! Как хриплоголосы жилистые бабы!
А моря и речи солонь чрезмерно, а цветы кровавы.
У воды и тверди, у любви и смерти разные масштабы.

Говорят, что ныне время наступило собирать каменя.
Вот они – каменя, да никто покуда их не собирает.
Каждый лезет в горку, каждый ладит норку в меру разуменья,
молится прилюдно, только в одиночку слезы утирает.

Помнит моё тело розовый песчаник, чернозём галутный,
а над головою – то озноб оливы, то березы трепет.
Вот ещё немного – и, глядишь, повеет ветерок попутный
и к холмам зелёным, и к пескам калёным душу вновь прилепит.

* * *

*Клин – простой механизм.
Учебник физики*

Грохот прибоя, дурманящий дух эвкалипта,
призрак печали, доселе душой не избытый, –
угол живой, устремлённый к границам Египта,
клин журавлиный, меж прошлым и будущим вбитый.

Не над лесами, в которых прорехи зияют,
не над полями в осеннем убранстве сиротском,
а над холмами, на коих поют и стреляют,
нянчат детей и торгуют своим первородством.

Море и небо едины, как юность и старость,
горькою влагой напитаны крылья тугие.
И от бывшего почти ничего не осталось,
разве что этот простой механизм ностальгии.

* * *

Мне голос был...

А. Ахматова

«Твой путь к истокам нелогичен
и в высшей степени смешон,
«святой» язык тавтологичен
и рода среднего лишён.
Ах, эти крайности Востока,
пристрастье к радостям земли!
В твоих исканьях мало проку...»
– А ну, нечистый, отвали
Пускай ты даже прав, однако,
сюда я прибыл неспроста,
быть может, выведет из мрака
меня моя неправота.
Не тем, что белую бумагу
мараю издавна, спасусь,
а тем, что в землю эту лягу
и в небо это вознесусь.

* * *

*Подружка моя,
я тебе советую:
никому не давай,
залепи газетою!*

Из пионера Алика Баранова

Алик, по кличке Шкалик, ругался матом,
пил, как мужик, и гонял голубей шестом.
Стать паханом мечтал он, а стал солдатом
и в Будапеште погиб в пятьдесят шестом.

Меж пионерским звеном и крошечным адом
пел он срамные частушки, виляя задом.
Ныне, тасуя колоду годов своих,
вдруг в Иудейской пустыне я вспомнил их.

Чья-то подружка, по склону брела пастушка,
бывшая вряд ли читательницей газет,
рядом дремали на выступе скальном пушка
и пёстрая змейка, являвшая букву «зет».

И в бедуинский посёлок, пронзённый светом,
традиционно втекали с холмов стада,
словно бы Алика-Шкалика в мире этом
не было, не было, не было никогда...

* * *

Григорию Кановичу

Слёз вернее не выработано критерия,
радость эгоистична, неглубока.
Только боль заслуживает доверия,
лишь – тоска.
Потому и десница гармонизирующего утрату
замирает над буквами и дрожит,
что, по сути, лишь то подлежит возврату,
что возврату не подлежит.
Оттого и горбатишься, мир удерживая ускользящий
весь в напряге – от стоп до плеч,
как мозль, младенчика мертвого обрезающий,
чтобы душу его сберечь.

* * *

Что придаёт нам силы?
Может быть, чувство долга?
Иль опасенье, как бы
не потерять лица?
...Лезвий «Восход» и «Спутник»
хватит ещё надолго,
а если бриться реже, –
может, и до конца.

ЛАВ СТОРИ

Он неважно пока говорит на иврите,
объяснения свои одиозным «смотрите»
предварять избегает. Услышав «беседер»,
вспоминает наполненный тушью рейсфедер
и чертёжницы профиль, –
однако тем реже
и случайней, чем цель вожденная ближе.
Он уже побывал в Катманду и Пирее
и надеется фирму представить в Париже.
А чертёжница грязь среднерусскую месит,
кулачки покрасневшие сунув в карманы.
Отпуска же обычно проводит в Одессе,
где с евреями местными крутит романы...

ВАРИАЦИИ

1.

Костер вселенский затухает,
всё больше пепла и золы.
Кощей Бессмертный подыхает,
как хрупко острие иглы!

Настал последний час злодея,
никто не минет царства тьмы:
бессмертья поправа идея.
Чему же радуемся мы?

2.

Ах, ребе, спасибо за мудрый совет, но
присутствие в доме козы не заметно
и, что ещё хуже, отсутствие – тоже.
Нам с этим придётся смириться, похоже, –
живущим в сторожке эдемского сада,
где яблоку негде упасть и не надо,
поскольку все яблоки – там, за забором.
За это Господь нас одарит п р о с т о р о м,
и душ наших стайка в зенит вознесётся.
...А козочка пусть на лужайке пасётся...

3.

Девочка Маша явилась без спросу,
всюду её пребывания следы.
Не расплетя свою русую косу,
разоспалась на вершок от беды.

Стул опрокинут и суп не доеден,
на домотканой скатёрке – пятно.
Есть от чего возмутиться медведям,
жаль, что не заперто в спальне окно.

Нет, не настичь им нахальной резвушки,
слишком у страха глаза велики.
Вот уж редуют стволы у опушки,
вот уж мерцают домов светляки.

Бедные, бедные дети дубравы!
О справедливости как ни радей, –
нету на тварей двуногих управы,
нету спасенья от этих блядей!

4.

Отнюдь не об яйце разбитом плачем, –
 скорей об эфемерности удачи.
 Ведь просто не готовы, может быть,
 мы были золотые яйца бить –
 ни дома не учили нас, ни в школе.
 Простое – мы б в два счёта раскололи,
 морока с этим златом-серебром!
 ...Давай-ка хоть скорлупки соберём...

5. И. ЦАРЕВИЧ И С. ВОЛК

Автор (иронично):

Слишком, Волк, твой порыв безогляден.
 Ах, неужто ты стал филантропом?
 Твой седок чересчур зауряден,
 что ж ты мчишься, как лошадь галопом?

С. Волк (кратко):

Просто в мире, уставшем от злобы,
 мы приязнь проявляем невольно
 и того, осчастливить кого бы,
 выбираем весьма произвольно.

Автор (ехидно):

И однако ты выбрал не смерда,
 а наследника царского трона!

С. Волк (сердито):

Оттого, что служу я усердно,
 ты, надеюсь, не терпишь урона?
 Я не вижу причины для спора,
 недоели твои приставанья.
 Убирайся, хулитель фольклора!
 Прикажи его выпороть, Ваня!

* * *

Полузабытые лица – соседи, враги и друзья,
 словно во сне, выплывают из небытия.
 В Хайфе – коллега, родня – в Маале-Адумим.
 Эта страна нашпигована прошлым моим.
 Словно актёры, блюдя театральный шаблон,
 после спектакля выходят на общий поклон.
 Главный итог подведён и исчерпан сюжет.
 На эпилог уже, кажется, времени нет.

* * *

Пока душа меняла оболочку
А. Тарковский

Пока душа не сменит оболочку,
мне б вынянчить ещё хотя бы строчку
и самому себе её прочесть,
чтоб вечности мгновенье предпочесть.
Пускай, как след на глади речки мелкой,
оставленный скользящей водомеркой,
она, едва заметная для глаз,
продлит моё присутствие среди вас.

БЕЙТ-КНЕССЕТ

Видать, придётся забыть о надеждах
себя не чувствовать лишним
среди соплеменников в белых одеждах,
общающихся с Всевышним.

Сделанные как бы из другого теста,
они уже выдавили из себя рабов,
все места закупили, сидура тексты
у них отскакивают от зубов.

Их зажиточность, в сущности,
есть компенсация бедности,
рык погромный уже им невнятен,
а кровь не видна,

Но надгробия предков наших
в черте оседлости
до сих пор разрушает
Одна и та же шпана.

Я стою у стены,
безусловно на них похожий,
между жизнью и смертью,
а также добром и злом,

и с небес на зов их явившийся
ангел Божий
и меня осеняет
прозрачным своим крылом.

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

ЛИНИЯ ТИМЕЙНА

Если прислушаться к говору посетителей на любом вернисаже, из гула всегда ясно выделится его имя. Хотя город наш сейчас художниками не обделен, его рисунки бросаются в глаза издали на каждой выставке или в галерее. Говорят о сходстве со знаменитыми французами, с японским искусством, но оказывается похоже на его же собственные, виденные ранее, листы.

Моше Гимейн повторяет известные слова, что художники не говорят, и он немногословен. Тем не менее, он говорит. Линии его рисунков порою ухитряются перерастать в короткие, текучие нити разговора: «В результате этого разговора появился белый корабль и луна» и «Когда человек говорит, он рождает ангела...». И «Есть некоторые люди, которые слушают». И еще: «Попытка постижения понятия перевернутый». Если внимательно всмотреться в иные предложения, то ритмом они сами могут напомнить его же перевернутые, зазеркальные рисунки. Паузы и знаки препинания так строят фразы, что походят на молчание. Так что он остается верен своему цеху.

Сам он любит образ из книги ЗОАР – каббалистической «Книги Сияния»:

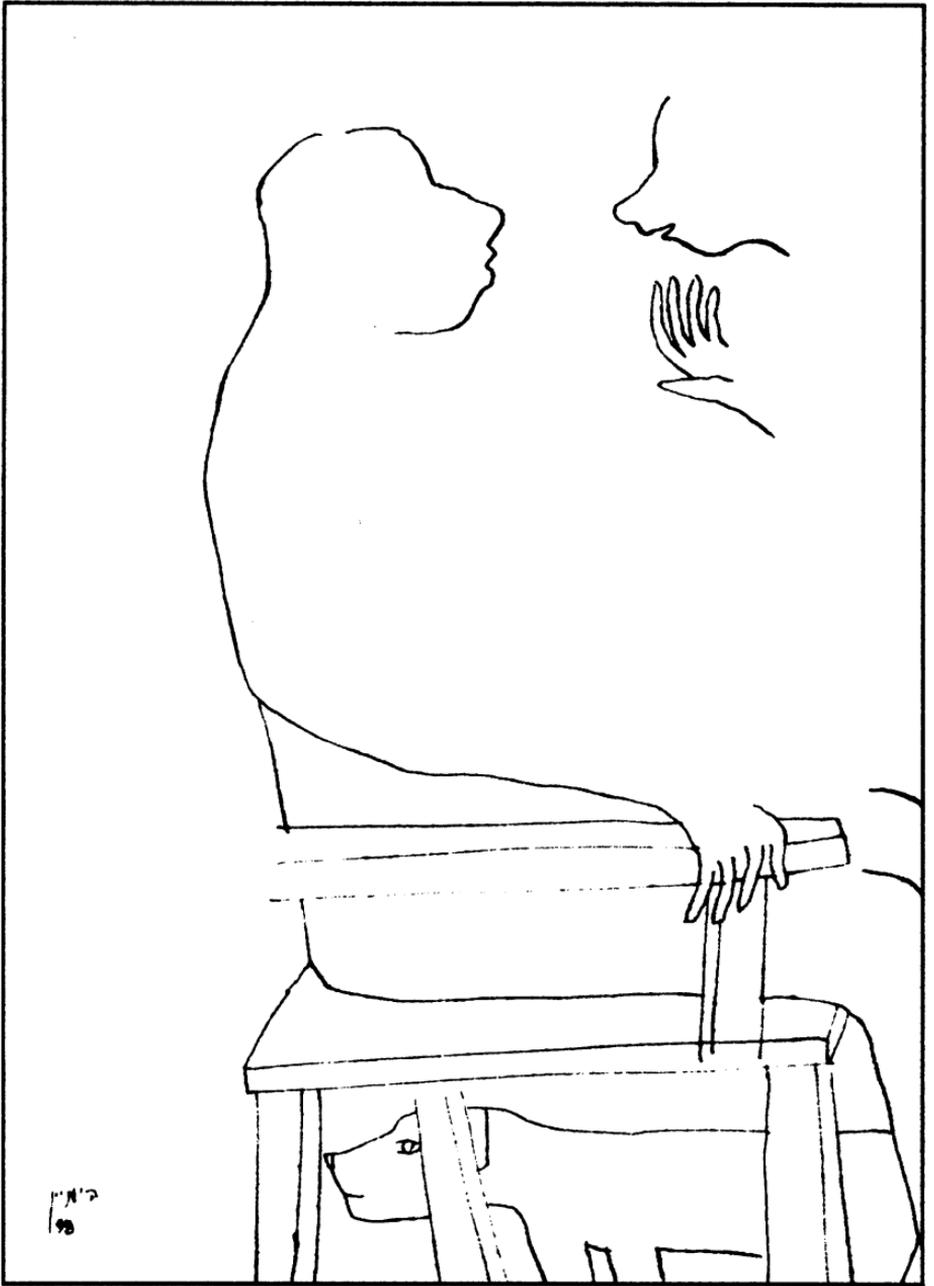
«У каждой маленькой травинки есть свой ангел, который помогает ей расти, добывает ей пропитание».

Эти рисунки – ода линии. Линия бежит, пульсирует, натывается на саму себя, потом застывает, прерывается. Порою цепляется за лист, царапается. Кажется, она превращается в пунктир, уходит в паузу, топчется на месте, как бы размышляя, стоит ли продолжать движение. Она сходит на нет и рождается снова. Линия взрослая, умелая, и детская, как «точка, точка, запятая». Вспоминается считалка про обведенную кривую рожицу с минусом внутри. Линия раздумывает, иронизирует, цитирует, что-то заключает в кавычки.

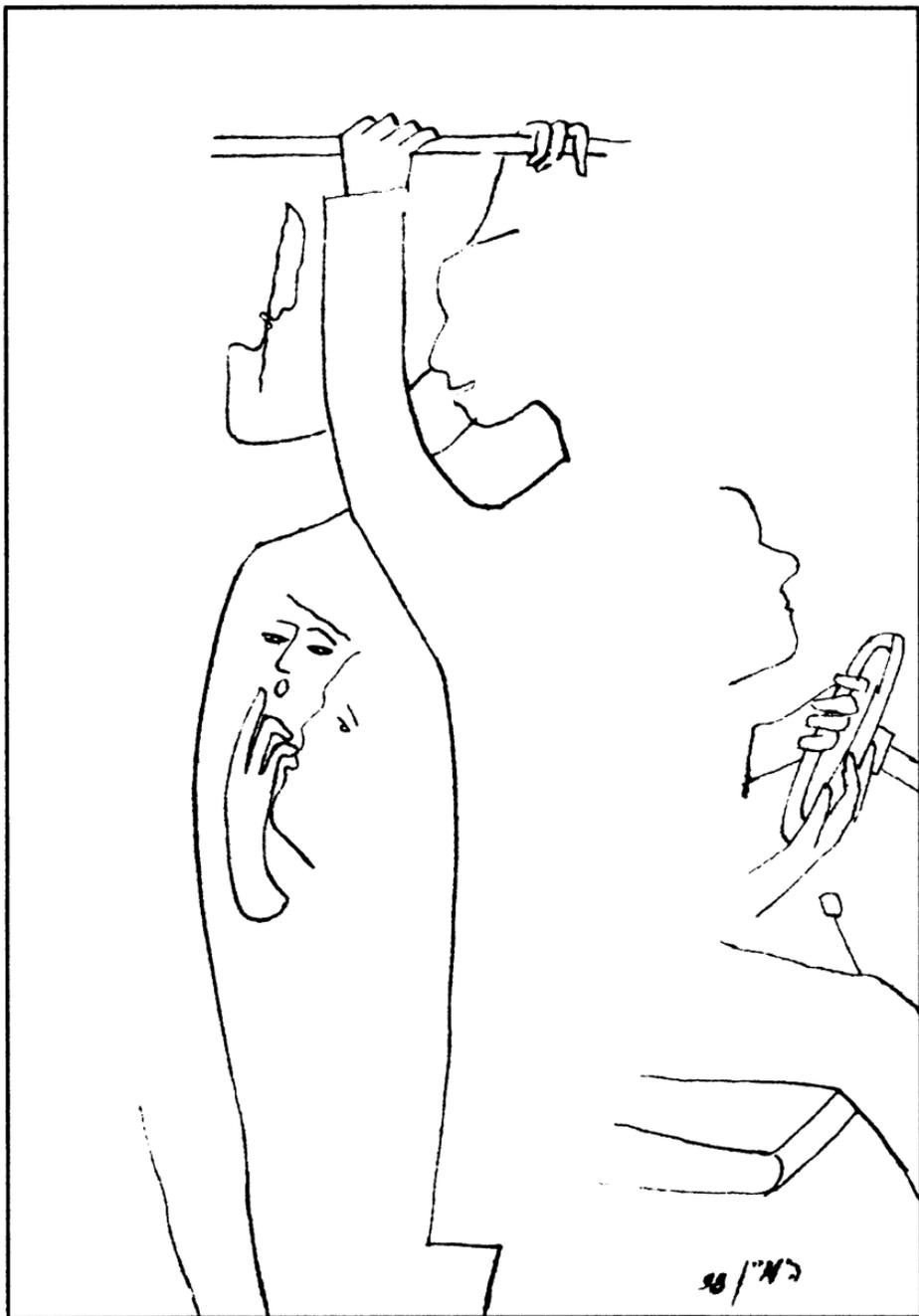
Его линия не спорит с объемом, самонадеянно его подменяя. По его же словам, «когда линии пропадают на белом листе... они есть, их просто не видно».

Она одновременно в беге и застывает на ходу. Эта связь порыва и оцепенения – дань месту, в котором мы теперь живем.

Сусанна Черноброва



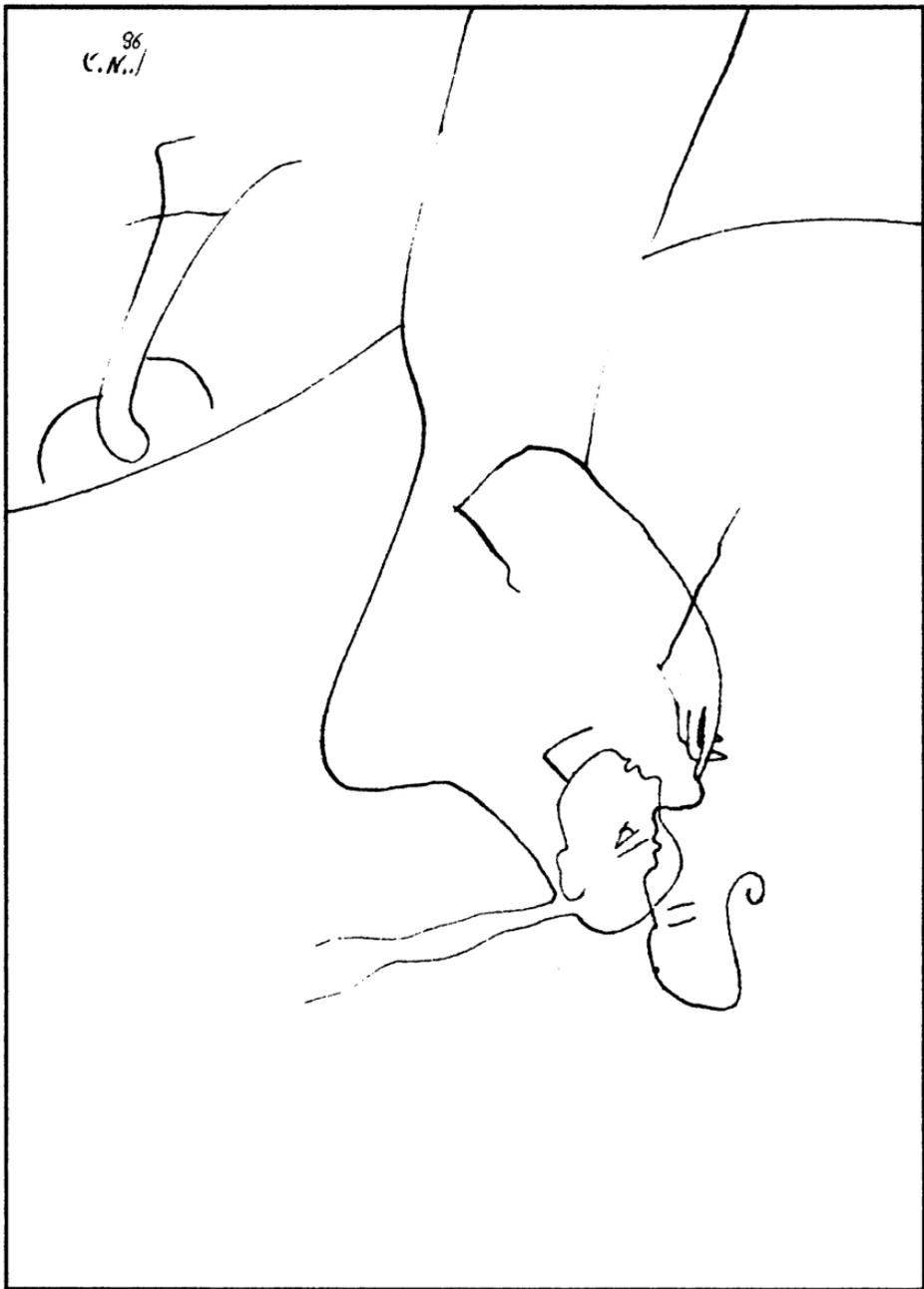
Задумчивый взгляд собаки.



Пространство автобуса летом.

Лингва протектора в образ.

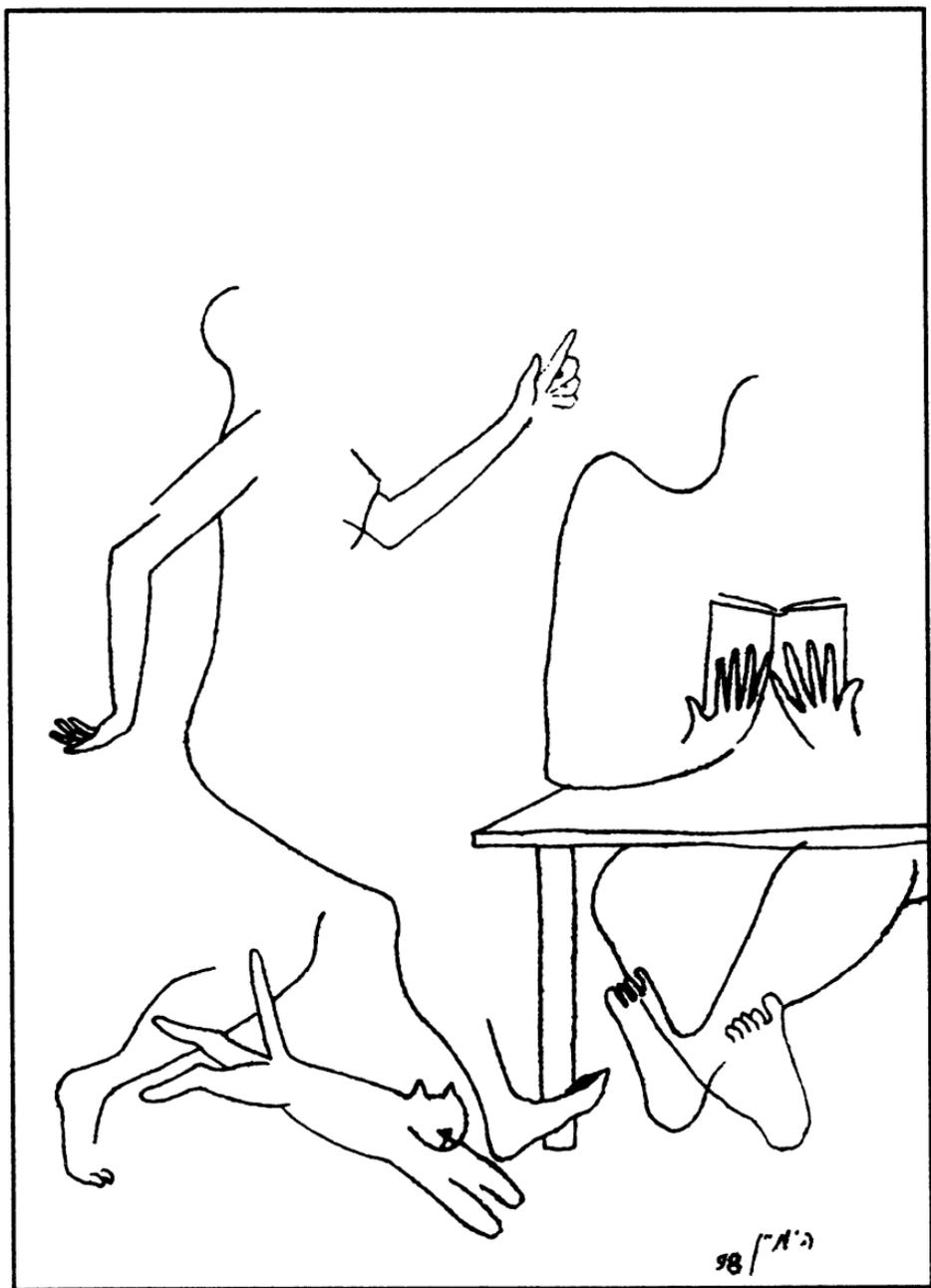
1. N. 1
96



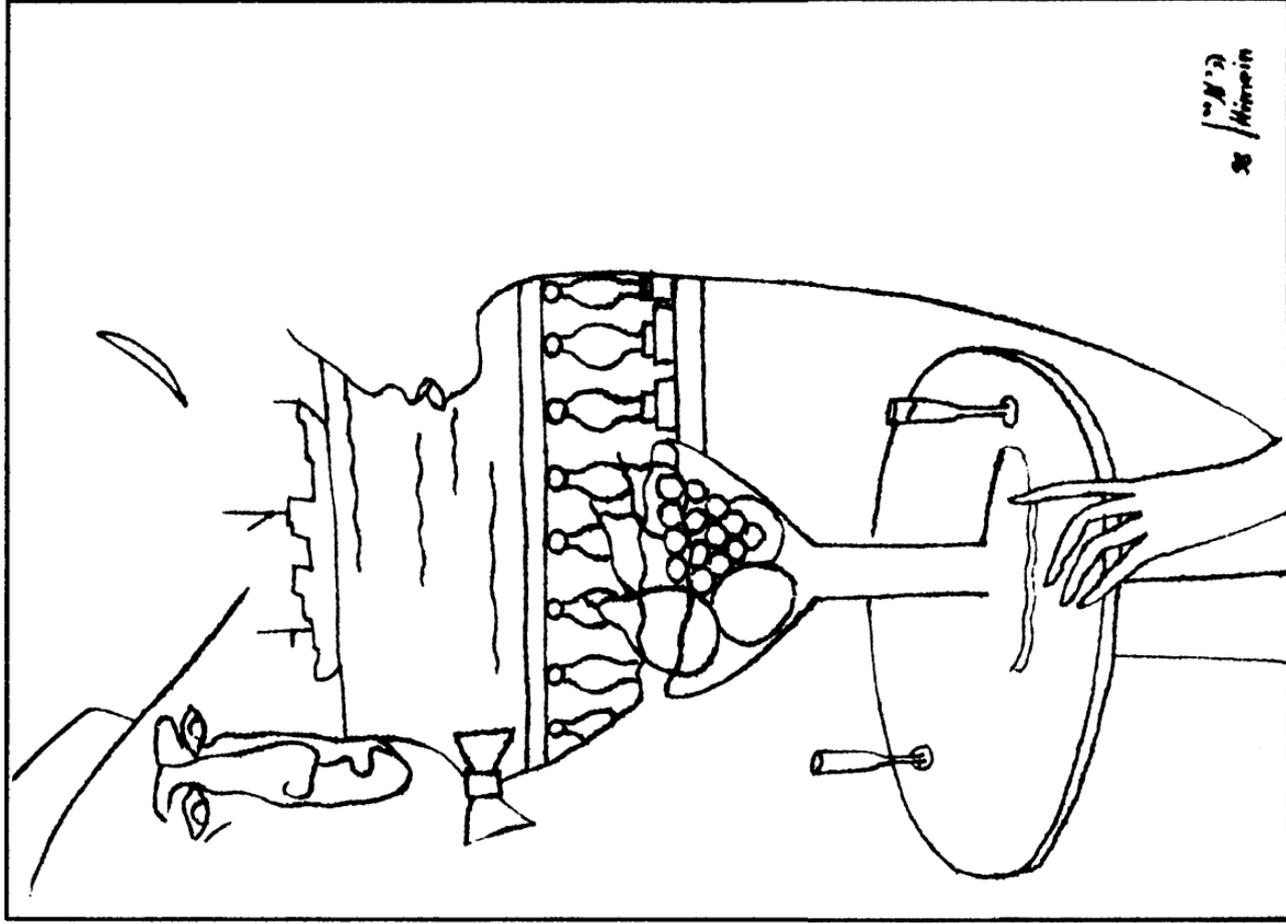


1111
98

потому, что сейчас мне пора улетать.

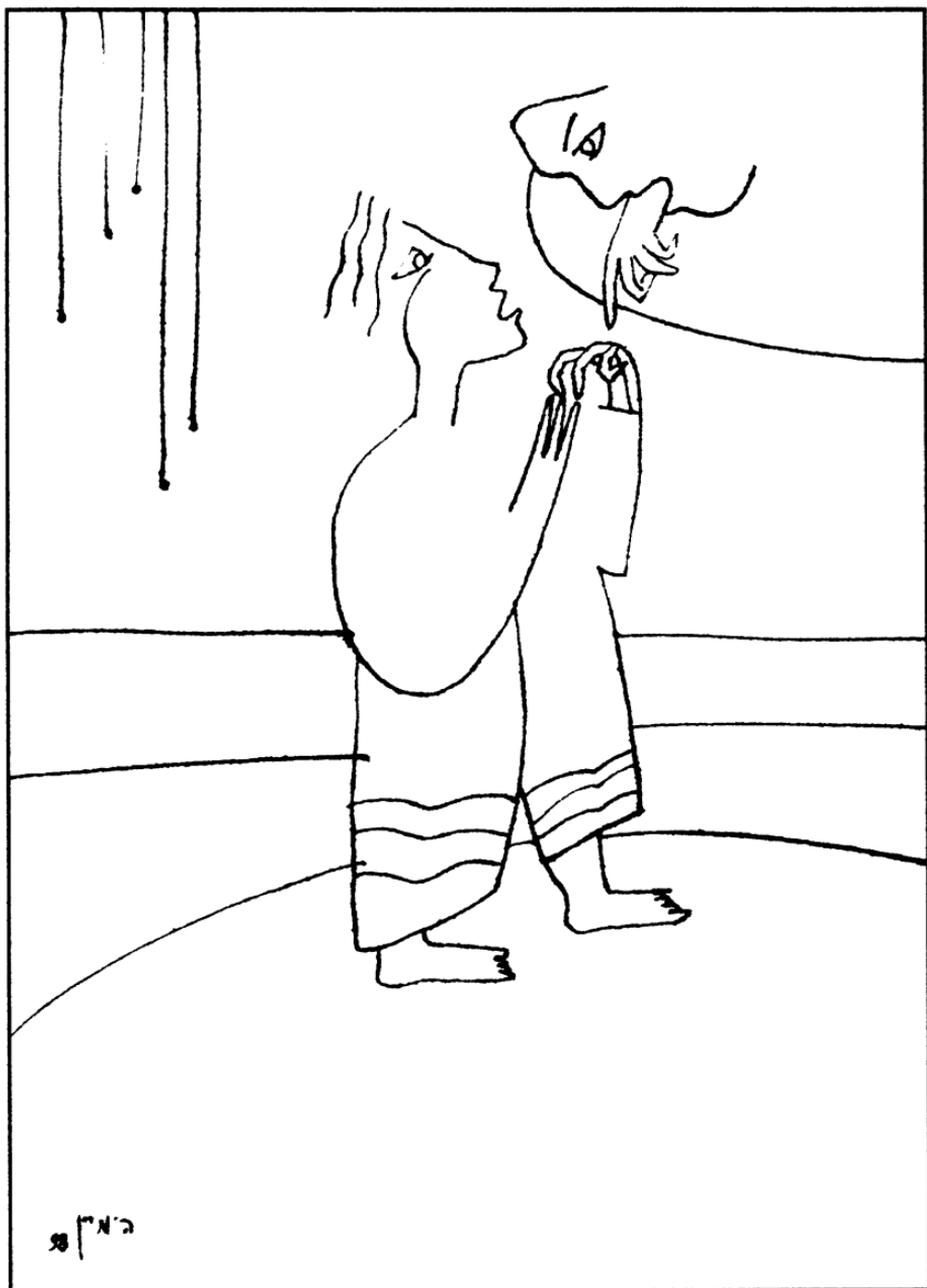


Попытка постижения понятия перевернутой.

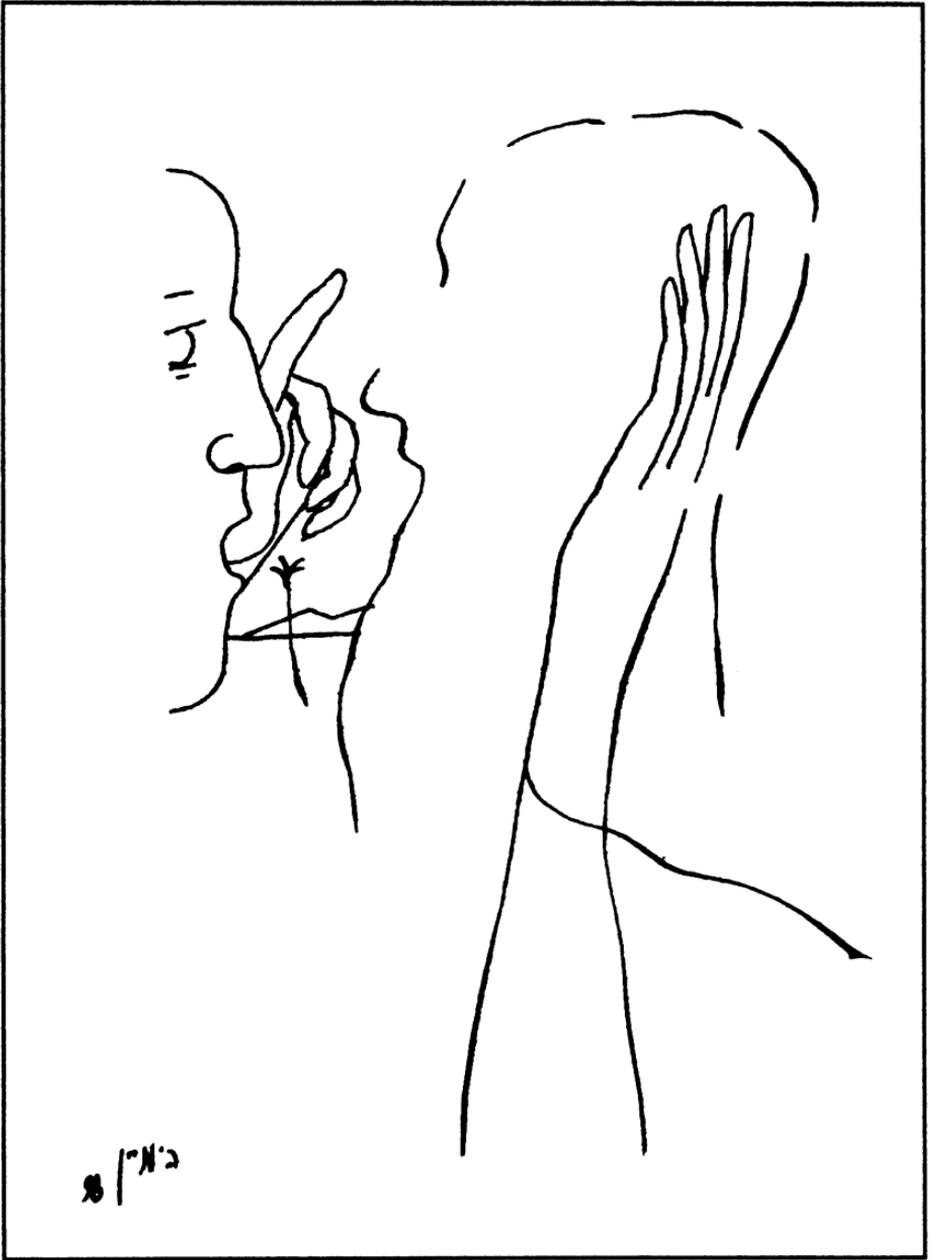


1981
Хорошо

В результате этого разговора появился
белый корабль и лунка.



Есть некоторые люди, которые слушают.



8 / 12

Когда человек говорит, он рождает ангела.

Моше Тилейн

ИЗ АВТЮБИОГРАФИИ

«Художник, не говори». Гете.

А все-таки? Если попробовать? К о н ф л и к т ?

Но на к о н ф л и к т е держится все искусство. «Быть или не быть», черный квадрат на белом Малевича, в звуке – контрапункт.

Предчувствие конфликта

Когда-то на уроке искусствоведения в Казанском художественном училище я спросил у преподавателя: «А кто такой, собственно, был Давид, что великий Микеланджело решил изваять его?» «Ответ был ошеломляющ: «Еврейский царь».

Что!? У евреев было царство!? Когда? Где!?

Преподаватель мягко и ласково ускользнул в другое пространство, и мускулистые ангелы Ренессанса бодро вытеснили вялостыдливое нацлюбопытство. Розовый занавес, обволакивая, опускается. Благополучие незнания.

Конфликт стремления к знаниям

Мазать красками, рисовать – это что? Духовный род деятельности? Духовный? Что это за слово? Приведения что ли? Духи? Духовный – это философский? Да их много!

Аристотель, Платон, Кант, Ницше...

Сказал мне друг: – Что ты мучаешься с этой духовностью? Смотри, что написано. «Бог умер. Ницше».

– Нормально! Но вот в лифте нацарапано: «Ницше умер. Бог».

Информационный хаос. Беспокойство, что где-то рядом что-то очень важное. П о л у м р а к.

Атмосферный конфликт

В 78-м я начал работать в Камерном еврейском музыкальном театре главным художником. Тогда в Москве ходил такой анекдот: Один еврей другого спрашивает: «Слышал? Открылся еврейский камерный театр». «Да? Интересно, на сколько камер?»

Делали первый спектакль – рок-опера «Черная уздечка для белой кобылицы».

Я окупился в новую для меня атмосферу еврейской культуры, в истории о еврейских мудрецах, про ангелов, трапезничающих в шатре с Авраамом-иври три тысячи семьсот двадцать два года назад недалеко от города Хеврон. Авраама называли иври, что значит – перешедший на другую сторону. На другую сторону обыденного. Он познал тайну, что не увидать глазами. Он узнал, что есть еще другие миры, более тонкие, чем самая тонкая материя, которые утекают между пальцев; что исчезает время и трехмерность пространства, и что есть всего этого Создатель. И Авраам-иври говорил с Ним и передал эти тайны своим детям, а те своим, и древнее искусство познания мира дошло до наших дней, и кто прикасается к это-

му знанию, становится художником, начинает слышать в шуме музыки, в обычном – необычное, различать оттенки красоты, разницу между внутренним и внешним, между правдой и фальшью, постигать смыслы и устройства, назначения и цели.

Медицинский конфликт

В январе 80-го в московскую коммунальную квартиру вошла группа симпатичных людей крепкого телосложения в красивой миллицейской одежде. И я поехал с ними к ним, и они спрашивали меня, как я поживаю. Сказал, что поживаю в городе Рига, нет, не работаю. Потому что хотел уехать в Израиль, но вот отказали, и я теперь, как говорят, отказник, хотя вообще-то художник. Они задумались и сказали, что пока они будут думать, я должен посидеть в другом помещении. Потом пришел еще человек, но у него не было такой красивой одежды, у него был белый халат. Он тоже спрашивал, как я поживаю. И так мы разговаривали. Потом он спросил про мою книжку, и я сказал, что все время ношу ее с собой, она очень старая и там есть даже молитва за Царя, но все равно я люблю ее читать.

И я поехал с ним к нему. И спросил, как это место называется. И он ответил очень длинно: Филиал института судебной экспертизы имени Сербского, 15-я городская психиатрическая больница города Москвы.

И лежал я на кровати, и ноги и руки были привязаны. И сделали мне укол. И прибежала моя Аннета, потому что пришла домой, а соседи рассказали с кем я уехал, и сказали, что слышали как я разговаривал с невидимым Богом, молился то есть. Я обрадовался и говорил с Аннетой, и заметил, что мое тело не очень прислушивается к моим мыслям, и представил себе, что со стороны все выглядит вполне в духе Учреждения. И врачаха тоже головой кивает и говорит моей Аннете: «Мы же хотим ему помочь». И медсестра, такая очень внимательная, проверяет все время, проглотил ли я таблетку. Я ей для этого рот открывал.

И познакомился там я с другими конфликтами. Один сообщил, что он птица, и очень похоже взмахивал руками.

Меня навещали друзья из театра, и приходил профессор-психиатр Юрий Савенко, который позже создал независимую психиатрическую ассоциацию, и приходил опытный врач-психиатр, друг моего отца Матвей Глузгольд. Наверное, все это повлияло, и меня отпустили домой набираться сил.

Кадровый конфликт

Набирался сил я на старом месте в камерном еврейском музыкальном театре, но уже не художником, а в должности рабочего. Затем служил помощником кочегара на станции Фрязево, что под Москвой, а потом монтировщиком сцены в еврейском драматическом ансамбле при Москонцерте.

А конфликт был в том, что в военном билете мне поставили маленький штампик – «комиссован по ст. № 4», что, как знают сведущие люди, создавало некоторые трудности с работой.

Были, были конфликты, на которых держится искусство.

К счастью, есть они до сих пор.

БУХАРСКИЙ КВАРТАЛ

Александр Райнберг

БЛАЖЕННЫ, КТО СЕБЯ НЕ ПОТЕРЯЛ

* * *

На землях этой сдвинутой страны
лишь тени от Любви, Надежды, Веры.
По ним, рыча, несутся БэТээРы,
как дикие и злые кабаны.

А в воздухе дыхание весны.
Но не дожить до лета офицерам.
Что ж, генерал, ты делаешь карьеру
на мальчиках, виновных без вины?

Горят штабов гнилые шапито.
За что война – не ведает никто
ни на Кавказе, ни в кремлёвской башне.

Гнетёт бесчестье. Тошно от стыда.
Товарищи, мне в вашем доме страшно.
Мне страшно в вашем доме, господа.

НАВАЖДЕНИЕ

Звонок в ночи. Тревожный вестник бед.
Но, трубку взяв, я вдруг услышал ясно,
как тихо Генка где-то рассмеялся,
как Юрка крикнул весело: – Привет!

Вы что, друзья? Ведь вас на свете нет.
Вернуть вас к жизни – все мольбы напрасны.
Зачем же в эту ночь из дней прекрасных
летит дымок от ваших сигарет?

Ну в чём я перед вами виноватый?
Что не добыл для вас билет обратный?
Что я один живу на пустыре?

Уж лучше, видно, тоже лечь под камень,
чем водку пить на пасмурной заре
и плакать над короткими гудками.

ПСИХУШКА

Нет счастья в этом доме, хоть убей.
То Диоген даст по уху Сократу,
то Македонский плюнет в Бонапарта,
то Марксу вдруг приснится брадобрей.

На голых ветках стайки снегирей.
Скрипит снежок. Главврач идёт к палатам.
На роже – синяки от Клеопатры.
Всё правильно. До Цезаря дозрей.

Здесь утверждать себя имеет право
лишь тот, на ком венец бессмертной славы.
А нет его – не проживешь и дня.

Одно мне только радостно при этом –
с фамилией такой, как у меня,
сюда не пустят русского поэта.

ТАЙГА

Здесь к тучам прёт кедровник молодой.
Здесь креозотом пахнут перегоны.
Здесь на рассвете лязгают вагоны,
груженые железною рудой.

Здесь волен я. И не дружу с бедой.
Кайло в руке. А в небе – терриконы.
Я нос кажу китайскому дракону.
Пью спирт, не омрачаемый водой.

Медведей разгоняя по берлогам,
мы к югу тянем новую дорогу.
Стены великой видится гряда.

Страна в дорогу вбила миллионы.
Но кто по ней поедет и куда,
не знает министерство обороны.

ЧЁТКИ

Седой мулла перебирает чётки.
Давно уже он вышел на почёт.
Дым вечности по дворику течёт
вкруг очага, где хлеб его печётся.

Нож на столе, закатом золочённый,
а рядом с ним нарубленный лучок.
Редиски неразрезанный пучок
к столу несёт муллы босой внучонок.

Невестка поспешает к очагу.
А за калиткой лошадь на лугу
с барашком рядом целый день пасётся.

Идиллия, достойная герба.
Но вспыхнут чётки на закатном солнце,
и в них блеснут оскалом черепа.

* * *

С каких грибов ты бешен, как в горячке?
Я руку протянул тебе – помочь.
А ты меня погнал из дома прочь.
Вообразил, что клянчу я подачку.

Вчера, прощаясь, крикнул я: – Удачи!
Так ты, балда, не мог уснуть всю ночь.
Упорный с детства бестолочь толочь,
курил и думал – что же это значит?

Вот мнительность. Воистину беда.
Скажу – четверг, ты убеждён – среда.
Да кто из нас, в конце концов-то, дурень?

Ну нет. В твой дом я больше не приду.
Пошел ты на фиг. Вот теперь и думай –
что я сказал и что имел в виду.

* * *

На смерть людскую всяк имеет взгляд.
И зря я тщусь законопатить уши.
Одни горланят, что бессмертны души,
другие про забвение галдят.

Ну хлопоты! Кто в рай спешит, кто в ад.
А мой сосед разделяет туши.
Он в мясниках живёт себе, не тужит.
Есть кость, есть мясо – вот и весь расклад.

Я, как в глухой тайге, в вопросе этом.
Стою незнайкой посреди планеты
и удивляюсь только одному –

мы бездну лет не ведаем на свете,
как жить нам научиться по уму,
но каждый хочет всё узнать о смерти.

* * *

Приметы детства. С ветерком пальто.
На завтрак – жмых, а к ужину – простуда.
Там я мечтал найти кошель раздутый,
но тот, который не терял никто.

Абсурд, ей-богу. Но зато потом
не стал я ни Гобсеком, ни Иудой.
А где виновен был хоть на минуту,
стоял с повинной, как перед крестом.

Искал я душу даже в падшей дряни.
Терял друзей. У смерти был на грани.
Но ключ не подбирал к чужим дверям.

Вот и стою теперь на пепелище.
Блаженны, кто себя не потерял.
Их никогда, нигде, никто не ищет.

ВОЗВРАЩЕНЕЦ

Вточь, как другие, ты пытал судьбу,
богатство за бугром предполагая.
Вот и остался с носом попугая.
Добро еще, не с носом марабу.

Тебе вослед мой ворон на дубу
не просто каркал – предостерегал он,
но запустил в него ты булыганом,
вот и вернулся с шишкою на лбу.

Не всем за морем по зубам ириска.
А как звучит, скажи-ка, по-английски
поговорка о рыбке из пруда?

– О'кей, – ты говоришь мне, – всё нормально
Послал бы я тебя, да вот беда –
боюсь, поймёшь по-русски ты буквально.

МАРИЦА

Марица ножик о бульжник точит.
Овечья шапка сохнет на суку.
Очаг едва дымится. К очагу
ползёт малец в залатанной сорочке.

От погреба – дыханье винной бочки.
Хозяин сон вкушает на стогу.
Вол неподвижно смотрит на соху.
А у вола на шее колокольчик.

Мог этот двор библейским быть вполне.
Но ты кивнула на курятник мне
и, приглашая, вскинула ресницы.

Вот только этих не было проблем.
Ты б лучше в погреб слазила, Марица.
Я, извини, курятину не ем.

ГАУПТВАХТА

Я на «губе» приказом командира.
Проснись и пой, солдатик молодой!
Гуляет тряпка с хлоркой и водой
по доскам генеральского сортира.

Такую б, командир, тебе квартиру.
Вот это был бы барабанный бой.
Пореже б ты заруливал в запой,
поменьше б от меня тебя мутило.

А так?.. Ну что?.. Настырнее вдвойне
зубри уставы и служи стране,
с телефонисткой балуйся в каптерке.

Страна еще построит благодать.
Вот только б ей на тряпки да на хлорку
валюты у Зимбабве подзанять.

УМОРА

Для всех – Аннет. А для меня ты – Нюрка.
Где твой портвейн? Где рожа с синяком?
Откуда вепря с золотым клыком
ты заманила в эти переулки?

Стволами оцетинились придурки.
На «мерсе» к вилле едешь с ветерком.
Купил твой хряк наш скверик с кабаком,
где меж столов шмаляла ты окурки.

Теперь бассейн. И по утрам массаж.
Под вечер – теннис. К ночи – макияж.
Семь дач французам отданы в аренду.

А я, как прежде, весел на мели.
– Ау! – кричу я бывшим диссидентам, –
Как жизнь, шестидесятники мои?

ФУТБОЛ

Стою в воротах. Ушки на макушке.
По свитерку гуляет ветерок.
Матч века! Наш Рабочий городок –
тире – блатные с воровской Первушки.

У них сегодня финкари да пушки.
У нас – от папиросочек дымок.
Но рыжий лупит так с обеих ног,
что ваши станут нашими подружки.

– Лепи, Володя! Генка, выдай пас!
Блатняги сыпят искрами из глаз.
Десятый гол влетает в их ворота.

Потом нас всех отмордовали в дым.
Рыдали наши крали. Но в субботу
на танцы всё же упорхнули к ним.

ПОМИН

Прощай. Сюда я больше ни ногою.
Твоя могила – не мои дела.
В последний раз об камень я со зла
бутылке с водкой отбиваю горло.

А городом гуляет непогода.
Летит рывками дождевая мгла
на дом, где с кем попало ты жила,
на два окна среди деревьев голых.

Всё кончено. Тебя я не люблю.
А за судьбу пропашую твою,
прости, никто на свете не в ответе.

Холодный дождь рыдает ни о ком.
По ржавым трубам ударяет ветер.
Аминь. Скорей снесли бы этот дом.

* * *

Ты жирный борщ мне подаешь в горшке.
Мне самогон льёт в ковш твоя зазноба.
Силен первач. С ним не возьмёт хвороба
ни на каком московском сквозняке.

С икрою блин горяч в моей руке.
А к самовару выпечена сдоба.
И ты клянёшься мне в любви до гроба,
рыдая на моем воротнике.

Но, целый час прощаясь в коридоре,
вдруг вспомнил ты о горькой русской доле
и врезал мне бутылкой по башке.

С тех пор я и твержу, как завещанье, –
потомок мой, не верь борщу в горшке
иль, расставаясь, не тяни с прощаньем.

* * *

Не горлодёр, так молчаливый трус.
Не старый пень, так юная коряга,
Не раб, так плут. Не сплетник, так сутяга.
Враги мои, прекрасен ваш союз.

Срастался он у бильiardных луз,
где от стихов корёжилась бумага.
По бородам, шипя, стекала брага,
и на закуску шёл гнилой арбуз.

Избавь, Господь, от роз такого сада.
Мне вправду ничего от них не надо.
Отпни их. Пусть я буду одинок.

Но получив арбузной коркой в рожу,
я сзади схлопотал такой пинок,
что больше небеса не потревожу.

* * *

Я по камням всю жизнь иду с повинной.
Меня ж, как вора, от версты к версте
преследуешь ты, нищий во Христе,
святым крестом махая, как дубиной.

Ходил бы ты за стадом с хворостиной,
тянул бы ты соху по борозде.
Но ты печёшься о чужой беде.
– Отдай, – вопишь, – арабам Палестину

Я не был в Палестине никогда.
И не за тем горит моя звезда,
чтоб я вникал в земные переделы.

Отстань. И брось быть рыцарем сумы.
Не то гляди – коль не займешься делом
то больше я не дам тебе займы.

ПЕНЕЛОПА

Послевоенка. Ветер гнет столбы.
Гудит завод промозглым серым утром.
Там снова мало чёрного мазута.
Там снова много дыма из трубы.

Идёшь, не выделяясь из толпы,
в поношенные туфельки обуви,
прозрачная от голодухи лютой
и местная по прихоти судьбы.

Где парус твой, залётная гречанка?
Но вдруг ресницы юной хулиганки
махнули мне, как вёсла двух галер.

Акцент не утаил её веселья:
– В общагу приходи ко мне, Гомер.
По вечерам я вся без Одиссея.

ХУДОЖНИК

Твой Леонардо вечно как в дыму.
То нем как рыба, то напьётся сдуру.
То снова обнажённая натура
среди холстов позирует ему.

Куда ни глянешь – все не по уму.
Торчит из-под карниза арматура.
Уж лучше бы подался в штукатуры.
Ни радости, ни денег нет в дому.

Стареет, колесо вращая, белка.
В ведро летит разбитая тарелка.
И ты рыдаешь, стоя у окна.

Эй, Леонардо! Вот твоя удача.
Скорей пиши портрет, пока она
у занавески так прекрасно плачет.

* * *

Ни франций тебе, ни италий.
Ну что же, достанем стакан.
К Иванушке в дальние дали
конёк-горбунок ускакал.

Ну что же, давай веселиться.
Возьмем на копейку вина.
Свисти, моя райская птица.
До дна, дорогая, до дна.

За что? Да за эту планиду,
за солнце в прощальном вине,
за два твоих карих магнита,
в которых печаль обо мне.

За этот погожий денёчек,
за мой невезучий билет,
за то, что божественны очи
у счастья, когда его нет.

«В НОВЫЙ КРАЙ ИДЕШЬ ТЫ, ГДЕ НЕ БУДЕТ МАННЫ...»^{*}

Мемуарный роман «Поколение пустыни», фрагмент из которого публикуется ниже, написан на основе дневника, имеющего непосредственное касательство к истории семьи Лейба Яффе, чье имя носит улица в иерусалимском районе Тальпиот.

Лейб (Лев Борисович) Яффе (1876, Гродно – 1948, Иерусалим) был многогранно одарен. Он получил традиционное и общее образование, в 1891 – 1892 гг. учился в Воложинской иешиве, где несколькими классами старше учились вместе его брат Залман и поэт Х. Н. Бялик. В Гродно Лейб Яффе организовал молодежную группу Ховевей Цион и в 1893 г. участвовал во 2-й сионистской конференции в Друскениках. В 1897 – 1901 гг. изучал философию в университетах Гейдельберга, Фрайбурга, Лейпцига. Прекрасно владел идишем, русским, немецким, а ивритом в тот период – скорее пассивно.

Яффе был делегатом 1-го (1897) и 2-го (1898) сионистских конгрессов в Базеле как корреспондент петербургской газеты «Биржевые ведомости» и 3-го (Базель, 1899) – от московских газет «Новости» и «Еврейская мысль». Он выступал в печати и с лекциями о конгрессах перед евреями Гродно, Вильны, Киева. В 1900 г. был делегатом 4-го сионистского конгресса (Лондон), в 1901 г. – 5-го (Базель), где вступил в Демократическую фракцию и в 1902 – 1903 гг. был ее активным членом и идеологом. На 6-ом сионистском конгрессе (Базель, 1903) он выступил против «плана Уганды». Яффе свел личное знакомство с Теодором Гершлем на курорте в Баденаухайме, а в 1904 г., после похорон Гершля в Вене, отправился в агитационную поездку по городам Центральной России и Поволжья: в Нижний Новгород, Самару, Саратов, Казань, Царицын, Курск, Воронеж, Тулу и др. с лекциями о сионизме, формируя группы противников территориализма. В 1905 г. посетил Эрец-Исраэль, участвовал в слетах Ционей Цион в Вильне и Фрайбурге с целью подготовить умы к 7-му сионистскому конгрессу (Базель, 1905), где был делегатом, как, впрочем, и на всех последующих.

В 1906 г. на съезде российских сионистов в Хельсинки Лейб Яффе был избран членом Центрального Комитета Сионистской организации от Вильны, где жил в 1906 – 1909 гг. и в 1907-1908 гг. редактировал газету «Дос идише фолк», а в 1909 г. – ивритский журнал «Ха-олам». На 8-м сионистском конгрессе (Гаага, 1907) стал членом Исполнительного комитета и занимал этот пост до 1911 г. В 1908 г. Яффе вместе с С. Фругом совершил поездку по городам России, выступая с пропагандой сионизма среди евреев. В 1910 – 1911 гг. руководил сионистским комитетом Гродненского округа. В 1914 – 1916 гг. был одним из организаторов помощи еврейским беженцам, сумев привлечь к этой деятельности видных представителей русской интеллигенции (в том числе М. Горького и Л. Андреева). В 1917 г., после смерти И. Членова, Лейб Яффе был избран секре-

^{*} Хаим Нахман Бялик. Из стихотворения «Последние в пустыне». Перевод Л. Яффе.

тарем Сионистской организации в Москве, в 1918 г. – делегатом Всероссийского съезда еврейских общин.

В 1919 г., после закрытия в Москве Еврейского общинного центра (Ва'ада) в результате деятельности Евсекции против сионизма и культуры на иврите, Лейб Яффе с семьей решил перебраться в Палестину и осенью прибыл в Вильну, где был избран председателем Сионистской организации Литвы; редактировал газеты «Лецте неейс», «Идише цейтунг», «Ха-шавуа». Был арестован польскими завоевателями Литвы и освобожден после вмешательства дипломатических кругов Великобритании и США. С января 1920 г. поселился в Палестине.

С 1920 г. был редактором, а в 1921-1922 гг. – главным редактором газеты «Ха-арец», с 1919 г. издававшейся в Иерусалиме. На 12-м сионистском конгрессе (Карлсбад, 1921) был делегатом от еврейства Советской России. В 1922 г. – выпустил сборник «Сефер ха-конгресс» («Книга Конгресса»), посвященный 25-летию Первого сионистского конгресса. В 1923 г. Яффе был назначен первым эмиссаром фонда Керен ха-Йесод в Южной Африке, затем в Польше и странах Прибалтики, а с 1926 г. и до конца жизни занимал (в ротации с А. Хантке) пост директора этого фонда в Иерусалиме. В те годы он посетил большинство еврейских общин мира, в том числе в 1934 г. (вместе с Н. Соколовым) – Южной Африки, в 1941 – 1945 гг. – Великобритании, США и стран Южной Америки. Яффе, обладавший недюжинными ораторскими способностями и личным обаянием, всюду пропагандировал идеи сионизма, разъясняя евреям и неевреям, что строительство еврейского «национального очага» есть дело каждого прогрессивного человека, и с успехом призывал регулярно отчислять средства для этой цели в Эрец-Исраэль. Наделенный активным общественным темпераментом, Лейб Яффе встречался со многими иностранными политическими деятелями и интеллектуалами своего времени.

11 марта 1948 г. Лейб Яффе погиб на своем рабочем месте – при взрыве бомбы, подложенной арабскими террористами в здание Центрального сионистского отдела в Иерусалиме. Он был похоронен в Санхедрии, а в 1967 г., после объединения Иерусалима, перезахоронен на Масличной горе.

Помимо сионистской деятельности, Лейб Яффе с ранних лет занимался литературой, преимущественно на русском языке. В 1902 – 1903 гг. в журнале «Еврейская жизнь» он публиковал первые поэтические переводы ивритских стихов Бялика и Черниховского на русский язык, в годы первой мировой войны, в обстановке запрета на иврит и идиш, издавал в Москве газету с тем же названием, где освещал новости и вопросы национальной культуры. В 1917 г. основал в Москве издательство «Сафрут» и выпустил знаменитую «Еврейскую Антологию» переводов ивритской поэзии, выполненных лучшими русскими поэтами, не только евреями, а также поэтический сборник «У рек Вавилонских» и литературно-общественные альманахи «Сафрут», №№ 1 – 3. Его собственные стихи на русском языке вышли в сборниках «Грядущее» (Гродно, 1902) и «Огни на высотах» (Рига, 1938). Его стихи о Палестине могли бы служить поэтической иллюстрацией к мемуарам его жены Фриды, автора рукописи «Поколение пустыни».

Фрида Вениаминовна Яффе, в девичестве Каплан, родилась в 1892 г. в Москве. Там, в доме деда, богатого еврейского купца, имевшего право на жительство, прошло ее детство. Родители девочки развелись, и каждый из них затем повторно вступил в брак. Мать осталась в Москве и много лет

спустя приехала к дочери в Палестину. Отец жил в Вильне, где прошли школьные годы Фриды. Она получила добротное образование, свободно владела французским и немецким и в семнадцать лет, не имея гимназического аттестата, стала вольнослушательницей историко-философского факультета университета в Лозанне, где проучилась год. Затем в Петербурге сдала экстерном экзамены на аттестат в министерской гимназии имени Великой Княгини Евгении Максимилиановны и уехала в Вильну, а оттуда – в Германию. Девятнадцати лет Фрида была принята на Высшие женские курсы Полторацкой в Москве.

В Москве, на собраниях студентов, Фрида познакомилась с Лейбом Яффе и под его влиянием начала учить иврит и готовиться к жизни в Палестине. В 1913 г. вместе с мужем ездила на 11-й сионистский конгресс в Вене. Перед войной жила в Вильне, затем в Москве.

В Палестине Лейб Яффе целиком отдался сионистской работе, большую часть времени проводил в разъездах. Он зарабатывал немало, но и жил широко. Фрида с дочерьми Мирьям (1911 – 1993) и Тамар (р. 1914) и сыном Биньямином (1921 – 1992) постоянно нуждалась в деньгах. Видимо, в конце 1920-х годов семья переехала в Иерусалим. Здесь Фрида закончила курсы диетологии и открыла у себя в доме пансион с диетическим питанием. Яффе жили в Тальпиоте, на улице, носящей ныне имя профессора Йосефа Клаузнера, а в доме напротив жил писатель Шмуэль Йосеф Агнон, и сын Яффе Беня ходил к своим знаменитым соседям читать книжки. Когда муж погиб, Фрида уехала в Хайфу, чтобы, как она говорила, ее дом «не стал домом жалоб и плача». Последние годы она провела в доме престарелых в Иерусалиме, а умирать приехала к дочери Мирьям, в кибуц «Гиват Хаим» (1982). Похоронена Фрида на Масличной горе, рядом с мужем.

Фрида всю жизнь вела дневник. Овдовев, она решила превратить его в роман «Поколение пустыни». Герои романа – Марк Натанзон (читай, Лейб Яффе) и его жена (читай, Фрида). Только Марк не сионистский деятель, как его прототип, а врач. Зато люди, окружающие «вымышленных героев», и обстоятельства их жизни абсолютно реальны.

Незадолго до смерти Фрида передала дневник дочерям и заставила их поклясться, что после ее похорон они прочтут его и сожгут. Дочери сдержали клятву.

Картонная папка с объемной, на машинке набранной рукописью романа досталась мне от невестки Фриды – Хавы, второй жены ныне покойного израильского общественного и культурного деятеля Биньямина Яффе. Хава, не зная русского языка и храня теплые воспоминания о свекрови, подарила мне рукопись в надежде на ее публикацию.

Прожив более полувека в Палестине и неплохо владея пятью языками, Фрида все же писала по-русски. Как когда-то жаловался ее муж:

*На чужом, на чужом языке я пою
Мой напев монотонно-суровый,
И ряжу я печаль и надежду мою
В звуки песни чужой, как в оковы.*

Помещаю здесь фрагмент из автобиографического романа Фриды безо всяких перемен (лишь добавив примечания) как драгоценный памятник благородного образа мыслей и трогательного сионистского идеализма.

Фрида Каплан

ПОКОЛЕНИЕ ПУСТЫНИ

Когда второго января 1920 года мы причалили к Яффе, все евреи страшно волновались. На горке расположился небольшой город восточного вида, а недалеко от него – несколько домиков с белыми крышами. Нам сказали, что это Тель-Авив. Мы вовсе не знаем, какой атавизм или какие подсознательные воспоминания дремлют в человеке, в народе. Я не отрицаю, что, может быть, только благодаря пропаганде и внушению многие чувствовали себя при приближении к этому берегу евреями, сионистами, детьми этой страны и этого азиатского побережья. Но буквально все евреи, старые и молодые, дети особенно, – все были так наэлектризованы, у всех были слезы на глазах, пели «Гатиква» и не могли петь оттого, что горло сжималось. Вряд ли была эта земля для кого-нибудь родиной (было несколько таких, кто родился здесь, – дети колонистов, учившиеся в Париже), но для всех это б ы л а Р о д и н а . Я даже думаю, что те блуждающие души, которые ехали без цели, авантюристы, тогда забыли на миг, что не на свою желанную родину едут, не в «землю обетованную».

* * *

С парохода нас сняли рослые арабы в живописных костюмах с красными поясами и фесками. На руках они нас перенесли с парохода на маленькие качающиеся лодочки, которые лавировали, как нам казалось, с опасностью для жизни между рифами. Наш багаж, который был погружен на другие лодочки, то появлялся, то снова исчезал, и нас успокаивали, что ничего не пропадет. Встретили нас родные Марка, которых я не знала, но о которых Марк мне много рассказывал: это были старые палестинцы, приехавшие еще до войны¹. Они позаботились о нашем багаже, взяли нас на извозчика – арабандже – и повезли мимо апельсиновых бояр, *пардесим*, в Тель-Авив. Дети сидели как зачарованные: апельсины на деревьях, верблюды и ослы без счета.

Тель-Авив был маленьким городком, всего две-три неоконченные улочки. Бульвар Ротшильда, улица Герцля, которая венчалась зданием гимназии Герцлия, небольшим строением с зигзагами на крыше – тогда считали, что это восточный стиль (и действительно, Дамасские ворота в Иерусалиме имели подобные зигзаги). Мне все казалось, что эта гимназия соскочила с картинки издательства «Леванон», которое выпускало

¹ Вероятно, речь идет о брате Лейба Яффе, Бецалеле, и его семье. Бецалель Яффе (1868, Гродно – 1925, Тель-Авив) был сионистским деятелем в России и Палестине, участвовал в первых сионистских конгрессах, а с 1907 г. отвечал за выпуск сионистской литературы на иврите, идише и русском языке в Литве. В 1909 г. поселился в Тель-Авиве и сразу поехал изучать ирригацию, а по возвращении основал товарищество по с.-х. орошению, построившее в 1912 г. первую оросительную станцию на реке Яркон. В 1910 г. возглавил общество «Геула», скупавшее земли для нового ишува, и в 1920 г. на приобретенной ими земле был заложен новый район, так называемый «Центральный Тель-Авив».

палестинские фотографии и портреты еврейских деятелей. Все деревья в Тель-Авиве были кустарниками. Небо здесь было более голубое, чем в Италии и даже в Египте, или так казалось из-за желтых дюн. Запах моря, белые домики, раскаленный песок и благоухание апельсинных цветов одуряли и сбивали с толку.

Три дня к нам приходили гости, весь Тель-Авив перебивал у нас. Я перепутала все лица и не могла отличить директора гимназии Мосинзона² от мэра города Дизенгофа³, а его – от врача по ушным или по внутренним болезням. Все учителя и они же писатели, аптекари и директора каких-то общественных учреждений пришли приветствовать первых после войны иммигрантов⁴. То была *Алия илишит* – третья иммиграция. (Первая – Билу⁵, вторая – до первой войны.) Хоть я и читала перед публикой несколько докладов о Палестине, я не имела никакого представления о настоящей Палестине. Несмотря на то, что еврейский язык я изучала с самого детства, здесь я не могла связать двух слов. Я плохо понимала, что мне говорили, мы переходили на русский язык, которым владели почти все, кроме нескольких немцев и галициан. Нас расспрашивали о России, о революции, о большевиках, но раньше, чем мы открывали рот, чтобы ответить, тельавивцы переходили на другие темы, которые их больше интересовали. Они рассказывали о Кемаль-паше, о высылке в Египет или в Петах-Тикву⁶, о военных школах в Турции или в Бейруте и о том, как сами варили сахар из винограда. Наши погромы, война и революция были им чужды и далеки. Мы встретились точно с двух разных планет. Дети пробовали говорить на ашкенозисе и на сфарадите и застенчиво замолкали, потому что их родной язык все же был русский.

Но все это не мешало мне почувствовать какое-то опьянение от палестинской атмосферы, как климатической, так и общественной. Вскоре я встретила тех дам, с которыми переписывалась и от которых получала

² Бен-Цион Мосинзон (1878, с. Андреевка Таврической губ. – 1942, Иерусалим) – один из первых российских евреев, получивших высшее образование в Швейцарии (Берн). В 1904 г. ездил в Палестину агитировать против «плана Уганды», в 1907 г. поселился в Тель-Авиве и стал учителем ТАНАХа, а с 1912 по 1941 гг. – также директором гимназии «Герцлия».

³ Меир Дизенгоф (1861, Бессарабия – 1936, Тель-Авив), сионистский деятель. В 1909 г. стал членом товарищества Ахузат-Байт, заложившего первую улицу Тель-Авива, а с 1921 г. – первый мэр города. Не имея детей, Дизенгоф отдал свой дом под музей города и завещал ему все свое имущество.

⁴ Точнее, одних из первых. Первыми после войны из России прибыли 637 иммигрантов на судне «Руслан», которое вышло из Одессы 14 ноября и пришвартовалось в Яффе 19 декабря 1919 г.

⁵ Билу – аббревиатура слов библейского стиха *«Бейт Яаков леху ве-нелха...»* («Дом Иакова, идите и будем ходить [в свете Господнем]», Исайя, 2:5); так называли себя первые еврейские колонисты, которые прибыли из России в Палестину в 1882 г. и жили коммунально в Микве Исраэль и Ришон ле-Ционе.

⁶ С вступлением Турции в первую мировую войну на стороне Германии положение еврейских колонистов в Палестине сделалось поистине бедственным. Большинство из них были подданными России, т.е. враждебной страны, и по приказу Джемаль-паши (Фрида Яффе называет его Кемаль-паша) их выселили из Яффы и Тель-Авива, частью в Египет, частью через Европу в Россию, куда они старались не возвращаться, чтобы избежать мобилизации. За пределы Палестины было выслено более 20 тысяч человек.

материал для своих докладов о женской работе, а также тейманские⁷ кружева для наших выставок в Вильне и Москве. Меня приняли, как старую *хаверу* – товарища. Через неделю детей отвели в первый раз в детский сад, и не прошло и месяца, как они заговорили на иврите лучше нас всех.

Первый визит мы решили сделать в Сарафенд⁸. Как бывший военный, Марк чувствовал свою принадлежность к еврейскому легиону⁹.

По дороге мы остановились в Микве Исраэль и осматривали агрономическую школу. Все впечатления были яркие, без нюансов, как само палестинское солнце. Первое мое разочарование было то, что Палестина вовсе не наша, как мы себе ее представляли после Бальфурской декларации. Палестина была пустая, незаселенная, но не еврейская.

Полковник Марголин принял нас очень любезно, нас взяли в военную кантину, и многие «грудники» пришли с нами знакомиться. Палатки были комфортабельны, чисты, культурны и на фоне Иудейских гор выглядели совсем не по-азиатски. В ту первую нашу вылазку мы были перегружены впечатлениями самыми разнообразными и противоположными: восточные колодцы, мельницы, вращаемые ослами и верблюдами с завязанными глазами, караваны навьюченных верблюдов, арабы верхом на осликах, а сзади – их жены с кладью, как если бы сами были ослами: на голове целый дом, пуки хвороста и чуть ли не сундуки, джара с водой либо плоская корзина с товаром, зеленью – вот самое малое, что эти женщины несли на своей голове.

В Сарафенде мы видели походную кухню, оборудованную по самому последнему слову военно-транспортного искусства, и рядом кухонка, где на углях варилось что-то, или просто печка, отапливаемая сушеным навозом, в которой пеклись арабские питы, плоский хлеб вроде мацы, но квашеный. В одной из комнат учителя Шохата¹⁰ в Микве рядом с полкой самых серьезных научных книг стояли «орудия производства» – лопата, грабли, заступ и проч. На столе – красивая ваза с цветами, в другом углу – рабочие высокие сапоги.

⁷ Тейманские, т.е. сделанные в Теймане (иврит-сфарадит), или Теймоне (иврит-ашкенозис), – в Йемене.

⁸ В Сарафенде [Црифине] находился английский военный лагерь, где 4 апреля 1921 г. поселили 32 сержанта и солдата из еврейского легиона с намерением создать с их помощью новый еврейский полк в 600 человек для поддержания порядка в подмандатной Палестине. Аналогично предполагалось создать с той же целью арабский полк, однако эти намерения не были осуществлены. (См.: *Сефер ха-алия ха-шлитит* [Книга третьей алии]. Тель-Авив, 1964. с. 58).

⁹ Еврейский легион – на иврите «Ха-гдуд ха-иври» – еврейское военное формирование в подмандатной Палестине, был создан в 1919 г. См.: В. Жаботинский. Повесть моих дней (Слово о полку). Изд-во «Библиотека-Алия», Иерусалим, 1989. Командиром «гдуда» был Элизер (Лазарь Маркович) Марголин (1874, Белгород, Россия – 1944, Сидней), сионист, земледelec в Реховоте в 1892-1900 гг. См. о нем: указ. соч., сс. 110, 204, 262.

¹⁰ Исраэль Шохат (1886, м. Лесково Гродненской губ. – 1961, Тель-Хай), племянник востоковеда А. Я. Гаркави, был тогда учителем в Микве Исраэль и лектором на действовавших там курсах для рабочих, где преподавали Б. Каценельсон, А. Д. Гордон и др. Из основателей «Ха-шомер», еврейской самообороны в Палестине, и «Гдуд ха-авода», сельскохозяйственного отряда-коммуны, действовавшего в ряде поселений с 1921 г. Участник общества «Геула» (см. прим. 1), один из организаторов строительства Техниона в Хайфе.

Мы четыре часа тряслись от Тель-Авива до Сарафенда и обратно. Я не чувствовала себя усталой, я все принимала без критики, с радостью, с восторгом; я получила вдруг не еврейскую, а гойскую голову (*a goishes kop*) без мудрствований лукавых¹¹. Я вспомнила слова Пушкина по прочтении гоголевских «Мертвых душ»: «Господи, как печальна наша Россия». Если бы мы могли уже сказать: «Господи, как печальна наша Палестина», мы бы слово «печальна» должны были заменить словом «прекрасна», потому что п е ч а л ь и н а ш а – два понятия несовместные.

Я жалела, что я не мужчина, я бы просто записалась в *гдуд* Марголина.

Но я была мама двух детей и должна была приняться за хозяйство.

По дороге я нарвала немного анемон, цикламен, и мы видели красные плоды кактуса сабры и маслины, но не черные (как в магазине Елисева), а з е л е н ы е оливки на деревьях. Мне понравились черные арабчата, грудастые женщины с джарами на голове, как в песне «ходим мы к Араве светлой каждый вечер за водой». И куполообразные мечети с узкими минаретами, и колодцы, и бульвары из пальм, и тяжело обремененные плодами апельсиновые рощи и лимоны. Касторовое дерево по обеим сторонам дороги, мимоза с пахучими желтыми цветочками, все было как-то нереально, фантастично или как в постановке в театре из жизни на Ривьере.

Я решила раньше всего записаться на курсы, чтобы изучить «в ударном порядке» иврит. Но так как были курсы только для садоводниц и учительниц, я записалась в семинарий имени Левинского¹².

До этого мы решили с Марком поехать по стране, так как потом уже будем заняты каждый своим делом и не сможем вырваться. Наши родственники помогли нам в этом отношении: они переняли на себя заботу о детях.

Мы выехали из Сароны в сторону Петах-Тиквы. Осмотрели кое-какие пардесим, сорвали в первый раз апельсины с дерева, в Петах-Тикве нам показали оросительную станцию на реке Одже (Яркон), мы были в домиках рабочих, в школе, на работах в школьном саду и на уроках истории, Библии и арифметики. Мы гуляли по улицам маленькой колонии и были в мэрии, обедали у наших петербургских знакомых, у которых был барский дом с колоннами и которые были уже старые колонисты. Дорога обратно шла мимо палаток бедуинов, горели костры, пахло жженым навозом, проехали стан индусских солдат, там играл вальс военный оркестрик.

На повороте наша кибитка перевернулась, и мы все повалились в грязь. Дорога на Петах-Тикву была хуже той, по которой несколькими днями раньше мы ехали в Сарафенд. Пока наши мужчины вытаскивали коляску из рва, бедуины обступили нас, глазели и просили бакшиш. С царапинами и синяками мы снова забрались в пролетку и на этот раз кое-как благополучно доехали до дому.

¹¹ Сравните: «...а я притязую на чин вполне нормального человека. У нас в еврейском быту чин этот иногда переводится на разговорный язык при помощи речения «*гоишер коп*»; если это верно – тем хуже для нас». В. Жаботинский, указ. соч., с. 106.

¹² Первые в Палестине еврейские женские курсы для подготовки учительниц и воспитательниц детских садов. Основаны в 1913 г. в Яффе, в 1918 г. переведены в Тель-Авив.

Несколько дней мы отдыхали. Впрочем, ходили гулять в Яффу, мимо пардесим, и к морю; в Тель-Авиве не было дороги к морю. На еврейское кладбище ходили по пескам, и это была целая экспедиция с сэндвичами и бутылкой чая. При вое шакалов и при внезапно наступавшей темноте мы возвращались из каждой такой прогулки. Нас предупреждали, чтобы не возвращаться в темноте, потому что арабы имели обыкновение нападать, ранить мужчину, отбивать женщину и красть все, что можно было украсть. Не останавливались перед насилиями. Поэтому мы старались всегда гулять по утрам и возвращаться к обеду домой.

Следующая поездка была в Ришон-ле-Цион. Осматривали винный погреб общества Пико¹³ (барона Ротшильда). Посетили иеменитские домики. Иемениты все черные, малорослые, кудрявые, жили почти в курятниках, в бараках, сколоченных из досок и жести, с жестяной крышей, иногда облепленной глиной. В плохую погоду и дождь такой домишка мог быть снесен ветром, и вода проникала через каждую щель.

Застали мы их за субботней молитвой, в *талесим* (белая шаль), за кидушем. В домиках, несмотря на полное отсутствие «обстановки» и бедность, было довольно чисто, спали на циновках, *келимах*, и редко на ковре. Под циновки для тепла подкладывали мешки с соломой, что-то вроде матрацов. В углах и возле стен были разложены подушки. На таких же подушках сидели, и маленькие скамеечки служили им столами. Еда примитивная: салат, пита, хлеб, в субботу кое-какое варево из зелени, в парадных случаях, как мне сказали, – баранина с рисом. У входа стояли галечи, деревянные туфли, сандалии, похожие на шлепанцы. Дома все ходят в чулках, и считается невежливым оставаться в ботинках. Нам как гостям разрешили не разуваться.

У некоторых теймонцев были на полочках книги, Священное Писание, молитвенники. Это «хахамим», ученые и рабаним, по-ихнему. Их книги писаны от руки, как когда-то писалась Тора, специальными *софрим*¹⁴. Женщины работают – вышивают пестрые вышивки, плетут корзины из пестрой соломы, и их изделия тут и там украшают комнаты.

Их женщины быстро стареются, и когда я их спрашивала, сколько им лет, мне часто отвечали «шлошим», тридцать, но выглядели они на шестьдесят. Морщинистые, без зубов. Получалось так, что у молодых мужчин были старые жены или наоборот, очень молоденькие (вторые и третьи), масса ребят, и почти все с глазными болезнями.

Впоследствии многое изменилось в быту теймонцев: их жены научились работать в качестве прачек и уборщиц, мужчины на фабриках и в колониях как сельскохозяйственные рабочие. Детей вылечили от глазных болезней, многим выстроили новые каменные домики, и молодежь начала учиться и получать должности. В общественной и даже политической жизни они начали играть известную роль. Но в тот наш

¹³ ПИКО (ашкенозис), или ПИКА (сфарадит), а по-русски ПЕКО – Палестинское Еврейское Колонизационное Общество, основанное в 1926 г. бароном Ротшильдом и принявшее на себя в Палестине функции ИКА (ЕКО) – Jewish Colonisation Association – филантропической организации, созданной на средства барона М. Гирша в 1891 г. для еврейского заселения Аргентины. Хотя формально ПЕКО в 1920 г. не существовало, Ришон-ле-Цион во многом жил на средства Ротшильда.

¹⁴ Переписчики Торы, а также священных текстов для мезуз и тфилин.

первый визит к ним у меня осталось ужасно тяжелое впечатление: мы в наших агитационных речах за границей идеализировали эту эмиграцию из Теймона, их художественные работы и проч. И вдруг я увидела почти бедуинское существование, с той только разницей, что бедуины часто бывали богаты, торговали скотом, верблюдами, разводили скот и жили в крепких палатках, покрытых добротными келимами, и бродили всегда от дождя и ветра в сторону тепла и жаркого климата. И некоторые теймонцы нам рассказывали, что так в своих домиках «на курьих ножках» они живут уже десять лет и больше. В Теймоне они были богаты, но здесь они в Эрец-Исраэль – и они ни за что не вернутся обратно. Они производили впечатление очень сметливых, неглупых евреев, о политике знали больше, чем можно было предполагать, они спрашивали нас о страданиях евреев в Польше и России и говорили, что «их сердце обливалось кровью», когда они читали о погромах на Украине и в Польше.

Один теймонец, Саадия, с красивыми, как бы подведенными глазами, вожил нас показывать колонию. Их женщины в черных платках с золотом вышитой повязкой и в черных шароварах были похожи на турчанок. Их язык оставался арабским, но дети уже говорили на хорошем иврите, с гортанными звуками, как могли говорить наши предки две тысячи лет тому назад. В одной хижине, когда узнали про гостей, собрались рабочие *екева* – винокуренного завода – и принимали нас очень приветливо. Многие среди них были учениками иешивы в Теймоне или даже имели «смиха ле-рабанут» (были раввинами). Когда мужчины говорят, женщины помалкивают, и я также держалась этого правила. Впоследствии я убедилась, что женщины вне дома далеко не молчаливы и не застенчивы.

В одном домике пели песни – *змирот* – по песеннику, переписанному рукой, и нам объяснили, что это уже целую неделю гуляют – *смейхим*, свадьба. Нас попросили зайти. На столе были рассыпаны угощения, изюм, китайские орехи (*ботним*), соленый горох, сушеный виноград – *шефтала*, куски апельсин и какая-то настойка собственного изделия. В этом мире апельсин и винограда теймонцы «радовались» отбросами и кусочками всех этих продуктов.

Жених был из Иерусалима, невеста местная, очень молоденькая. Ради гостей куда-то сходили и принесли вино. Детки были расфранчены ради свадьбы, но так как матерям, по-видимому, всю неделю было не до них, их грязные, умные и веселые мордочки нуждались в мытье. Мы отведали кое-чего, чтобы не обидеть, пожелали *мазал тов* и пошли дальше.

И тут же, рядом с этими евреями как бы из другого мира аравийской пустыни, мы попали в дома помещиков, старых колонистов. Нас пригласили в большой каменный дом с колоннами и верандами, с балатными разноцветными полами, с коврами во всю длину и ширину комнаты, с большим садом. Пальмовые деревья, кактусовые аллеи, кипарисы, акации и эвкалипты давали тень и красоту этому поместью. Финиковые пальмы и вашингтонии, двадцатилетние деревья, образовывали густые своды и давали всему этому палестинскому уголку вполне «субтропический вид».

В доме, в котором мы гостили, был старый литовский уклад, жирный богатый стол, посуда и украшения, привезенные из Карлсбада. Только слуги говорили на арабском жаргоне.

В Реховоте мы посетили зоолога Ахарони¹⁵, который нам показал свой зоологический музей, и посмотрев таким образом колонии вблизи Тель-Авива, мы с Марком решили оставить посещение Иерусалима и Хайфы до другого раза.

* * *

Я поступила в Семинарию. Во главе стоял доктор Ицхак Эпштейн¹⁶. Я его знала из Лозанны, где он когда-то жил с семьей. Там, в студенческом кружке «Израэль», я слышала его доклады о Палестине, об арабском вопросе, о том, что мы, сионисты, не считаемся с трудностями: чтобы восстановить нашу старую родину, мы должны будем пройти через жертвы и опасности и преодолеть многое.

Здесь, в Семинарии имени Левинского, Эпштейн читал лекции по психологии в стиле сократовских вопросов и ответов, и было очень интересно. Такие греческие симпозиумы я уже слышала в Москве на лекциях Ильина, но там профессор отвечал на вопросы, которые он же задавал, а здесь мы все принимали участие.

Детский сад при Семинарии был поставлен очень современно по системе Монтессори¹⁷. Вела его м-м Арари, а ребята были прелестны. Здесь не было никаких глазных заболеваний, ни трахомы, которая тогда была очень распространена в Палестине. В этот же *ган иелодим*¹⁸ мы отдали наших детей.

Я, кроме психологии, слушала педагогику, еврейскую литературу, Библию и еврейский язык. Последний мне давался нелегко, так как я не имела той традиционной подготовки, которую получали мужчины в хедере и в иешивах, или по крайней мере подготовки к бармицве, чего мы, девочки, не получали. Было очень трудно переключиться от чужого к своему.

¹⁵ Зоолог Исраэль Ахарони (1882, м. Видз, Литва – 1946, Иерусалим), профессор. Сын раввина Ахароновича, учился в Праге. С 1901 г. жил в Реховоте, был директором еврейской школы и создал первый в Палестине еврейский детский сад. Коллекционировал местную фауну и флору, за что был прозван «сумасшедшим мухоловом». В 1908 г. участвовал в исследовательской экспедиции к Мертвому морю. В годы первой мировой войны был мобилизован Джамаль-пашой на борьбу с саранчой, объявлен государственным зоологом и получил задание создать коллекцию чучел ближневосточных птиц и животных. Был известен ученому миру Европы, его имя присвоено нескольким открытым им видам насекомых.

¹⁶ Ицхак Эпштейн (1862, Любань, Белоруссия – 1943, Яффа), лингвист и писатель, один из основоположников сионистской системы просвещения в Палестине. С 1876 г. жил в Одессе, в 1886 г. на средства Ротшильда прибыл в Палестину, занимался земледелием в Зихрон-Яакове и Рош-Пине. На опыте 10-летней работы в школе в Цфате разработал теорию «преподавания иврита на иврите». В Лозанне жил в 1902-1909 гг. и окончил университет, а также в годы войны, когда получил степень доктора языкознания (на основе диссертации издал по-французски упомянутую ниже книгу «Полиглоссия», 1915). В 1919-1923 был директором Учительской семинарии им. Э. Л. Левинского. В 1907 г. выступил в журнале «Хашиллоах» со статьей о том, что, покупая земли у арабских эфенди, сионисты сгоняют с земель арабских крестьян-арендаторов, что сомнительно с этической и социальной точек зрения. Статья вызвала бурную полемику.

¹⁷ Мария Монтессори (1870-1952) – итальянский педагог, специалист в области воспитания детей младшего возраста.

¹⁸ «Детский сад» (иврит). Примечательно, что большинство встречающихся в тексте ивритских слов Фрида Яффе «озвучивает» согласно фонетике ашкенозиса.

С крыши Семинарии был очень красивый вид на море, пардесим, дюны, финиковые пальмы, на город на горе Яффа. Когда мы проходили с детьми к морю или на почту, голая Яффа без зелени производила удручающее впечатление, только у самого берега пески и рифы в море и вид башни минаретов в Яффе на горе были красивы.

Купаться еще нельзя было, потому что мы приехали в середине зимы. Жизнь в Тель-Авиве была более чем провинциальная, но ее нельзя было назвать мелкоместечковой: это не было голусное местечко, как Ошмяны¹⁹, например, хотя в Ошмянах было больше населения, были базарные дни, куда съезжались крестьяне всей округи. Здесь был другой культурный уровень, здесь все были приезжие, не местные, у всех был один идеал: строительство, новая жизнь. Скорее колонизаторские методы, но очень тесный, замкнутый круг. Почти все знали друг друга, нужно было считаться с приличиями, с условностями. Кроме Марка, конечно, было еще несколько врачей, которые могли смотреть на него как на конкурента. Нужно было считаться с «общественным мнением», с положением. Мы до сих пор были богема, свободными птицами. Он на войне, я в университете. Теперь нас стесняли предрассудки и несвобода. Первое время я часто попадала впросак, потому что не узнавала всех «нотаблей» города. Я забывала их имена и их положение. Но и с ними случались такие же казусы. В Семинарии учитель Библии меня в первый раз увидел на уроке. Заметил, что я новенькая, и начал меня спрашивать, кто я, откуда и когда приехала. Я пробовала односложно отвечать. В последний момент он меня узнал и страшно смутился: «Господи, да вы же жена доктора Натанзона, мы с женой были у вас с визитом!» Весь класс хохотал, и мы с учителем вместе с ними.

* * *

В начале февраля 1920 года мы в первый раз поехали в Иерусалим. Ехали поездом, в Луде была пересадка. Дорога была прекрасная, особенно от Рамле вверх, в Иудейские горы. Вначале пейзаж был мягкий, бояры (*пардесим*), окруженные кактусовыми изгородями, миндаль в цвету, поля и луга, покрытые алыми анемонами и маковыми головками среди сочной зелени. Чем выше, тем природа делается суровее, поезд поднимается в горы среди скал. С одной стороны – гористая стена, с другой – обрыв вади, где зимой течет речка дождевой воды. На горах видны следы завалившихся террас, масса пещер, по преданию, Самсонова пещера, иногда пещеры с гладкими стенами, как будто дома, выточенные в горах, с отверстиями не то дверей, не то окон. Дома, выстроенные в этих горах, тоже похожи на пещеры, а горы – на развалины домов, трудно различить, где рука человека и где природные логовища. Если не люди, то овцы, козы и пастухи находили здесь пристанище. Домики – как бы приклеенные птичьи гнезда; кажется, что сильным ветром или слабым толчком – землетрясением – отколются и сорвутся в бездну. Остатки крепостей, минареты. Мужчины в полосатых халатах, в белом платке с черным обручем (*кефия* и *маагал*) на голове.

¹⁹ Местечко в Литве, где Фрида Яффе бывала в юности.

Мы проехали Экрон, Артуф, лагеря индусских и английских солдат. Последняя станция перед Иерусалимом – Беттир, или Бейтар, родина Маккавеев²⁰. На вершине мы увидели Иерусалим.

Приехали мы в пятницу под вечер. Заехали в лучший тогда отель «Варшавский», который был знаменит тем, что на обед там давали четверть курицы и бульон с лапшой и точно то же на ужин. Простыни на кроватях прикрывали ровно три четверти кровати, так что та четверть, которой не доставало в простыне, восполнялась лишней четвертью курицы.

Но в тот вечер мы были в таком энтузиазме от всего виденного и того, что нам еще предстояло увидеть, что, помывшись наскоро над миской (текучей воды не было, как и электричества), мы пошли к Западной Стене, или Стене Плача, как ее тогда называли.

Ночь была лунная. С нами шли наши спутники по поезду, тоже новоприбывшие иммигранты, учитель с женой, которые знали Иерусалим. Мы шли по скользким коридорам Старого Города, мимо Яффских ворот при свете лампочек, мимо восточного базара, башни Мигдал Давид, углубляясь в этот странный восточный город, и пришли к Стене как раз к вечерней молитве *маарив*.

Женщины молились отдельно, плакали навзрыд; они обычно идут к Стене в минуту горя, когда есть больной в доме или тяжелые роды или после похорон. Они кладут камешек на выступ в стене, чтобы таким образом обратить внимание Бога на их просьбы. Направо мужчины в бархатных халатах всех цветов: синих, желто-золотистых, лиловых, красных, или в черных атласных с такого же цвета меховой шапкой «штраймл». Шапки невысоки, но широкие. Длинные пейсы, бороды и все тело качается во время молитвы, читаемой громко и нараспев, а где нужно – тихо и шепотом, в одиночку и хором. Молодые юноши отличаются от стариков только тем, что нет бороды и усов на лице, в остальном даже мальчишки 13 лет выглядят взрослыми. Один юноша с классически прекрасным лицом (с него бы рисовать Уриэля Д'Акосту²¹) привлек мое внимание тем, что бил себя ревностно в грудь и иступленно молился, прикасаясь к Стене. Замаливал ли он какой-то тяжкий грех или из ханжества должен был кому-то показать свое рвение, не знаю, но так как даже малыши подражали взрослым, я готова была принять второе предположение.

После молитвы все как будто проснулись. «Гут Шабес!»²² – и стали снова прозаичными и будничными евреями. Была даже перепалка между двумя из них, и третий должен был их мирить и разнимать. К ужину нас пригласили в самый открытый и гостеприимный дом, где было много гостей: представитель ИКА (барона), который говорил по-французски, несколько писателей-одесситов, немецкие евреи. После ужина нас водили на крышу показывать при лунном свете вид на весь Иерусалим, Омарову мечеть, Аксу, стены Старого Города. И весь город как на ладони – Гефсимания, Скопус. Я вспомнила, как однажды сын Бен-Иехуды, Ита-

²⁰ Бейтар – не родина Маккавеев (середина 2 в. до н.э.), а последний оплот еврейских повстанцев под водительством Бар-Кохбы (132-135 гг. н.э.).

²¹ Образ Уриэля Д'Акосты (1585-1640), еврейского философа-вольномудца, вдохновлял писателей и художников в разных странах и был воплощен на сцене, в частности, в опере В. Серова по трагедии К. Гуцкова (1847).

²² «Доброй субботы!» (идиш).

мар Бен-Ави, нам рассказывал, что Иерусалим – самый красивый город в мире. Тогда я сочла это преувеличением, но увидев своими глазами, готова была с ним согласиться. Правда, я еще не видела ни Рима, ни Афин и многих других городов, но Иерусалим был прекрасен.

На следующий день мы пошли в музей «Бецалел», где профессор Борис Шац²³ нам показывал свои сокровища. Нам показали также еврейскую древнюю нумизматику, *шекели*; потом мы снова пошли в Старый Город, ходили по Виа Долороза, нам показывали весь путь Христа до Голгофы, такие места, где, якобы, царь Давид увидел Батшеву, и где останавливалась царица Савская, когда приезжала с визитом к царю Соломону. На каменных стенах и дверях многих домов были арабески, скульптурные барельефы, украшения, на домах – свисающие балкончики из мелкого плафона, чтобы женщины могли смотреть на улицу и не быть видимыми. (Светелки в русских теремах строились во время татарского нашествия в то же приблизительно время.) Арабы прятали своих женщин от мужских глаз, и в Палестине это осталось до наших дней.

Старый Город должен бы быть сохранен как музей для грядущих поколений и как религиозная Святыня. Для этого нужно было бы разрушить все негигиеничные жилища, перевести население в более здоровые кварталы за стенами города, рынки и восточные и невольничьи базары тоже перенести в другое место и вместо них развести сады, скверы перед Стеной Плача, перед церквями и мечетями. Это было бы самое красивое и Святое место на белом свете. План архитектора Геддеса²⁴ был приблизительно таков.

После обеда мы целой компанией пошли в Омарову мечеть. Прошли через Дамасские ворота; весь двор мечети выложен огромными гладкими плитами; колоннады, маленькие капеллы, старые кипарисы в обхват, и среди всего этого прекрасное здание мечети. Стены простые, покрытые кафлями художественной раскраски. Синие кафли, синяя мозаика – это то, что характеризует Восток. Потом в Каире, в музее я видела много синей эмали и мозаики, которыми покрыты саркофаги из гробниц Тутан Камона.

²³ Борис Шац (Барух Дов; 1862, м. Варняй, Литва – 1932, Денвер; похоронен в Иерусалиме), скульптор, идеолог еврейского искусства в возрожденной Палестине. Получил традиционное образование. Учился в иешиве и худ. школе в Вильне, затем в школе худ. ремесел в Варшаве. С 1889 г. в Париже, в студии М. Антокольского. Участвовал в выставках и в 1894 г. был приглашен в Софию, где возглавил Академию художеств и получил звание профессора и придворного скульптора короля Фердинанда. Познакомился с Т. Герцлем, проникся идеей сионизма; в 1906 г. приехал в Иерусалим и основал «Школу искусств и ремесел Бецалель». В годы первой мировой войны «Бецалель» был закрыт, а Б. Шац в 1917 г. выслан турками в Дамаск. В 1919 г. он вернулся, возобновил деятельность Академии и создал при ней зоологический и геологический музей, а также организовал в Бет-Шемене ковровую фабрику, где работали иеменские евреи. В 1930 г. поехал в США собирать пожертвования для «Школы» и там умер.

²⁴ Сэр Патрик Геддес (1854, Перт, Шотландия – 1932, Монпелье, Франция), биолог, социолог, архитектор-градостроитель, общественный деятель. В 1919 г. представил проект комплекса Еврейского университета в Иерусалиме, в 1925 г. разработал план застройки северного Тель-Авива вокруг нынешних улиц Бен-Иехуда и Дизенгоф до реки Яркон.

Внутри храма – скала, окруженная забором из колонн. Пол устлан дорогими коврами Абдул Гамида²⁵. Цветные стекла, купол, мозаичные стены и ковры только оттеняют монолитность той скалы, на которой построен храм. Грандиозность и примитивность этой скалы на горе Мориа, на которой, по преданию, Авраам должен был принести в жертву Ицхака, и Святая Святых под ней, все это так полно еврейских легенд²⁶, что трудно отделаться от чувства несправедливости, что нас выбросили из нашей страны, захватили такие наши Святые места, как Храм Соломона, и выстроили на них чужие Святыни. Все эти легенды выходят за пределы архитектурных или художественных достоинств самого Храма. Стена Плача – это сама Библия, и эта стена охраняет двор мечети Омара.

Целая свора шейхов, разных прислужников, бакшишников, держателей туфель превратила мечеть в лавочку. Один шейх с рыжей бородой, с белым тюрбаном вокруг фески, с заискивающей улыбкой особенно прислуживал нам, был гидом, старался объяснять и водить вокруг скалы и под нее. Он вытянул у нас бакшишами 70 пьестров. Я потом не раз видела его в этой же мечети, и в Аксе, и возле Соломоновых конюшен: он говорил на разных ломаных языках.

Однажды, несколько лет спустя после нашего первого посещения Иерусалима, я увидела его в роскошном «рольрейсе» на улицах города. Я шла с кем-то из иерусалимцев и спросила, пораженная: «Кто это?» Я знала этого шейха, он очень охотно разговаривал с еврейскими дамочками и брал бакшиши. «Как, вы не знаете? Это Муфтий, Хадж Амин, ставленник Герберта Самуэля. Он после тюрьмы сделал его главным иерусалимским муфтием».

И этот муфтий позднее помог Гитлеру и Эйхману уничтожить шесть с половиной миллионов евреев. Газом, в известковых ямах, насаживая на штыки младенцев. Это он требовал, чтобы евреев не выпускали из Восточной Европы, чтобы они не спаслись и не эмигрировали в Палестину. Но в наш первый визит к Омаровой мечети мы еще не считались врагами арабов, мы были скорее туристами, новым источником дохода для всех этих шейхов.

После мечети Омара и Аксы и Соломоновых конюшен мы поднялись на стену, откуда видна вся Масличная гора, Гефсиманские сады, гробницы Авессалома, Захарии и древняя пещера прокаженных. Наверху был виден Скопус и плац, купленный меценатом Ицхаком Гольдбергом²⁷ из

²⁵ Абдул Гамид II (1876-1909) – турецкий султан, которому подчинялась и Палестина.

²⁶ Скала, над которой возведена мечеть Омара, в еврейской традиции связана с несколькими сюжетами. Помимо названных мемуаристкой, это и краеугольный камень мироздания – на иврите «*эвен ха-штия*», о чем сообщает *Мидраш Берейшит-раба*. Мусульмане полагают, что с этого камня Мухаммад взлетел на небо (*мираджд*) после чудесного перелета (*исра*) из Мекки в Иерусалим.

²⁷ Ицхак Лейб Гольдберг (1860, м. Шакай, бывшая Польша – 1935, Швейцария; похоронен в Тель-Авиве), сионистский деятель и филантроп, представлял сионистскую организацию Вильны, поддерживал финансово идишские и ивритские периодические издания в России, труппу «Габима» до переезда в Москву, газету «Ха-арец» в Палестине (с 1919). Когда в 1916 г. стало известно, что сэр Грей Хилл («чудак-англичанин») собирается продавать свои земельные владения на горе Скопус, Гольдберг купил эту землю на имя зятя, агронома Шмуэля Толковского, и передал ее фонду *Керен Каемет* под строительство Еврейского университета,

Вильны для будущего еврейского университета. А на холмах видны были все еврейские кладбища, так ясно и отчетливо, что казалось, можно пересчитать памятники на могилах.

В воскресенье мы посетили «Ваад Гацирим», еврейскую экзекутиву²⁸. Петр Моисеевич Рутенберг²⁹, с которым Марк был в Москве в «Союзе евреев-воинов», принял нас в своем бюро, где он работал над планом электрификации Палестины. Его бюро было завалено планами, чертежами, но он нас заставил тут же выпить с ним стакан чая, который принес *шамаш* (слуга) на подносе: «Выпейте же со мной стакан чая в Палестине». Он вспомнил, как приезжал ко мне на дачу под Москвой в самое голодное время и как я его угощала не только чаем, но и калачом из белой муки с изюмом.

Мы поехали на извозчике на Скопус посмотреть краеугольный камень будущего университета. В небольшой рошце стоял заброшенный дом какого-то чудака англичанина, и это заброшенное поместье послужило началом грандиозного комплекса, который со временем превратился в университет, госпиталь, школу сестер, музей, библиотеку и центр всех научных лабораторий и институтов, гордость новой Палестины.

Необычайный вид на весь Иерусалим с одной стороны и Мертвое море и Моавитские горы с другой, Иордан, который втекает в Мертвое море, синее, гладкое, как бы лакированное озеро. И вокруг были разбросаны вулканические кратеры и холмы. Словно и не существовало меж нами и морем тридцати километров, так ясен и прозрачен был воздух. Горы были в лиловато-сизой дымке даже при ярком солнце. Внизу были видны арабские деревушки, и среди них – Анатот, родина пророка Иеремияу.

По другую сторону – Иосафатова долина, мечети, двор Омаровой мечети, двор с бывшими «Золотыми воротами», где стоял наш *Бет Гамикдаш* (Храм). Весь город и долина утопали в оливковой зелени и хвое. По дороге нам повстречались окутанные вуалью арабки. В своих черных чачафах, они сидели почти неподвижно среди могильных памятников. Мне сказали, что им разрешается ходить только на кладбища, и там они встречаются с своими товарками, это их «леди'с клуб».

В мужском клубе, у Мусорных ворот, мужчины курят кальян, тоже молчат, мало разговаривают, играют в игру, похожую на наши шашки – шеш-беш.

Вечером того же дня мы были приглашены к одному писателю, на русские блины. Мы встретили здесь, как и в предыдущий вечер, всю иерусалимскую интеллигенцию, очень тесно связанную между собой.

идея о котором, как известно, дискутировалась с 1884 г., «краеугольный камень» был заложен Хаимом Вейцманом в 1918 г., а открытие состоялось 1 апреля 1925 г.

²⁸ Мандатные власти в 1921-1923 гг. предприняли попытку ввести национальные самоуправления в Палестине, в т.ч. «еврейскую экзекутиву», т.е. исполнительную власть. Из-за противодействия арабов англичане отменили этот порядок.

²⁹ Пинхас (Петр Моисеевич) Рутенберг (1878, Ромны, Полтавской губ. – 1942, Иерусалим), активный член партии эсеров, инженер-гидролог, сионист, в 1919 г. обследовал водные ресурсы Палестины с целью получить от мандатных властей разрешение на электрификацию ишува (в 1932 г. по его проекту была построена гидроэлектростанция в Трансиордании, от которой питалась энергией Палестина). См. о нем: Л. Прайсман. Необычный путь Пинхаса Рутенберга. («Окна», приложение к газете «Вести»). Израиль. 16.03.2000. с. 8-9; 22.03.2000. с. 22-23, 40).

Мы ездили к гробнице праматери Рахили, на полпути от Вифлеема. Все было запущено и веяло древностью.

В Вифлееме, наоборот, все было чисто, и люди нарядно одеты. Из-за близости к Иерусалиму этот городок, по-видимому, хорошо зарабатывает на продуктах, которые ежедневно отвозятся в город, и еще на Святынях христианских. Женщины все носят длинные белые платки, одетые как бы на феску; нам продавали вышивки и предлагали свежие яйца. Дети по дорогам продавали цветы или просили бакшиш. Но анемонов и цикламенов я сама нарвала целый букет. Хеврон мало чем отличается от Вифлеема, только здесь Святыня – гробницы наших еврейских праотцев, куда нас, конечно, не пускают дальше третьей ступени.

В Иерусалиме мы еще видели гробницы царей, Святой Елены и других, колоссальное подземелье, выточенное в скалах, стены двора, сарапум наподобие александрийского, подземную цистерну, грандиозные ступени, которые ведут в это подземное царство. Все эти монолиты – крепости времен рабства и военных осад. Я боюсь, что мы еще вернемся к этим подземным туннелям и убежищам, если войны будут продолжаться.

Я бродила по восточным базарам, покупала кое-какие мелочи для своего будущего хозяйства, пестрые ткани, вышивки арабов, медные кувшины с серебряными инкрустациями, глиняные джары для воды. Восточный гортанный говор, навьюченные кладью верблюды, ослы, почти библейские лица, сладости, с которых капает жир, туши баранов и овец с жирными курдюками, разукрашенные бумажными цветами, слоевые штруделя на огромных медных подносах, салаты *тхина* и *хумус* с мелконакрошенной зеленью, запахи специй и козьего белого, окрашенного соком свеклы сыра в стеклянных банках, растопленный жир, разные *лебены* – простокваши из овечьего и козьего молока, все это было очень живописно и интересно, но не для наших европейских вкусов.

Допотопные мельницы с ослом и верблюдом с завязанными глазами, как мы уже видели в Египте, вертят жернова и блоки; кузнецы раскаляют металл так, что на наковальне искры летят во все стороны; золотарики с разными цепочками, филиграном, и то, что у нас называлось «красный ряд»: мануфактура, арабские *келимы* из верблюжьей шерсти, вышивки, полосатые шелковые ткани, кашмиры из Персии, Бухары и Дамаска, вышитые ермолки, стеганные одеяла и груды белой ваты, манчестерские ситцы и еще многое другое. Шум, гам, грязь под ногами, дети с больными головами и глазами просят бакшиш, ослиный навоз, пряности и кипящие на оливковом масле кебаб и шашлык в открытых ресторанах – это тот восточный базар, который служил в то время сердцем Иерусалима.

Но это сердце останавливалось ровно в пять часов пополудни. Киоски, ладки, магазины и лавки закрывались, лавочник переставал курить свой кальян и выкрикивать названия товаров и отправлялся домой. Вечером при свете керосиновых лампочек редкая дверь открыта в квартиру или ресторан или мастерскую. Все замирает.

Так арабы сидели на своих высоких ладках годы и столетия, подремывая в жару, лениво торгуя в холод. Мы, евреи, пришли со своими новыми методами, разбудили их от спячки, показали, что есть конкуренция на этом свете, прогресс, заработки и высший «стандарт оф лайф». Это нам не простится. Один образованный араб, с которым я говорила по-французски в поезде, мне сказал: «Дайте нам петь нашу песенку. Мы не

хотим вашей культуры и вашего темпа. Нам это чуждо». Он намекал на песенку из рассказа о владельце замка и сапожнике (или другом ремесленнике?), которую мы учили еще в школе. Ремесленник пел свою песенку и мешал богачу отдыхать. Богач послал ему деньги и просил прекратить петь. После нескольких дней ремесленник ответил: «Дай мне петь мою песенку, я не хочу твоих денег».

Но в данном случае с арабами дело обстояло иначе. Мы не были владельцами замков. Мы зашумели своими молотками, заступами, машинами и тракторами, и проснулись богатые эфенди. Они поняли, что наши новые методы внесут брожение в ряды пролетариев, и захотели запретить нам работать. Им угрожало повышение заработной платы, они бы не могли дальше так эксплуатировать своих вассалов, феллахов, у которых они были сплошь в долгу. И они подняли бунт не снизу, а сверху. Песенку пели не несчастные феллахи и бродяги-бедуины, а те эфенди, которые сидели в Париже и Каире и насвистывали совсем другие мотивы.

Обратно из Иерусалима мы ехали не поездом, а в такси (фунт и десять египетских пьестров за одно место). Дорога была очень извилистая, серпантина, которая семь раз изогнулась в одном месте и за то была прозвана «местом семи сестер». Эта дорога показалась нам еще красивее, чем железнодорожная.

* * *

15 швата мы были с детьми на пикнике, который устраивает каждый год в этот день школьная сеть – Праздник посадок. Было несколько тысяч детей и даже малыши из детских садов. Дефилировали мимо памятника Неттера³⁰, основателя агрономической школы в Микве Израэль. Наши ребята в первый раз посадили своими ручонками деревца. Потом был спорт, футбол, разные состязания, и мы с Марком были приглашены к директору школы на завтрак.

Зима 1920 года была суровая даже в Тель-Авиве. Целыми ночами ветер рвал ставни, домов было мало, и все они были обращены к морю, хотя стояли на очень большом расстоянии от берега. Говорили, что с 1878 года не было такой лютой зимы. Вода на море стала темносерой, как сталь. Дорога к морю была почти невозможной. Лампа гасла даже при закрытых окнах и ставнях. Ветер вздувал занавески, и двери в комнатах хлопали каждый раз, когда открывалась входная дверь. Иногда в них с треском лопались стекла. Наши дети простудились и почти всю зиму попеременно хворали инфлуэнцей. Я «отморозила» себе пальцы на руках, чего не было даже в Москве. Я никогда не могла согреться. Я оплакивала каждую шерстяную и меховую вещь, которую я оставила, подарила и раздала в Вильне и в Москве. У меня даже не было порядочного зимнего пальто. Мы ехали в полной уверенности, что здесь в Палестине это не нужно. Дети еще имели легкие пальто и, как курьез, мы привезли для Рут капор и муфту, но никакие палестинские дети не носили ничего, кроме свитера или «мишки» из шерсти, и вместо чулок у них были носки.

³⁰ Ицхак Шарль Неттер (1826, Страсбург – 1882, Микве Израэль), филантроп, один из создателей Альянса и его первый лидер, инициатор и основатель первой еврейской сельхозшколы в Палестине в Микве Израэль. Разочаровавшись в способностях евреев к земледелию, в 1882 г. выступил против их приезда в Палестину.

Печей у нас не было, в некоторых домах для красоты были вделаны каминные или кафельные печи, но их никто не топил. С маленькими печурками таскались по комнатам и еще больше простужались от неравномерной температуры.

Перед Пуримом были первые события – инциденты с арабами, которые нам, евреям, стоили нескольких жертв. Пал Трумпельдор. Было еще пять убитых и столько же раненых в Кфар Гилады. наших легионеров не допустили к самообороне. Трумпельдор, уже простреленный в живот, еще командовал. Его последние слова были: «Хорошо умереть за Палестину»³¹.

Арабы проникли ночью как бы в поисках каких-то французов из Сирии, а на самом деле – чтобы убить евреев. Мы, евреи, были застигнуты врасплох.

Все пуримские празднества были отменены, и в стране был траур. После Пурима выпал снег, чего в Палестине тоже никогда не бывало. Когда я подымалась на крышу нашего дома или с балкона Семинарии, я могла видеть снег на Иудейских горах.

Но вскоре наступила весна.

Дети поправились, их послали в школу, я вернулась к занятиям в Семинарии. Море снова стало голубым, лазурным, фишашковым, бирюзовым и синим. Иногда все эти цвета образовывали полосы, как в спектре.

Волны набегали на рифы, скатывались на песок. На рифах был зеленый мох. После беспорядков, когда арабы были очень возбуждены и опасны, они снова вернулись к мирной жизни, сидели на берегу, удили рыбу, чинили сети, жевали свою питу и продавали нам зелень и рыбу.

Ночи были лунные, и если не зажигая света, бывало, смотришь из окна или с веранды, нельзя было избавиться от иллюзии, что смотришь постановку в театре какой-нибудь пьесы, вроде «Ромео и Джульетты», «Шейлока», «Ночи в Сорренто», «Кво вадис» или «Сна в летнюю ночь».

Палестина была очень декоративна, города не застроены, растительность сравнительно бедна, а горы очень скульптурны.

После обеда, когда дети возвращались из детского сада, я вела их на бульвар Ротшильда, они играли, а я читала: «Блезнь воли» Рибо, «Полигlossия» Ицхака Эпштейна, «Тройственный образ совершенства» Гершензона, «Жан-Кристоф» Ромен Роллана и многое другое.

5-го апреля пришло первое сообщение из Иерусалима о серьезной стычке между арабами и евреями. Были убитые и раненые. Англичане

³¹ Ивритская фраза «*Тов ламут беад арцэну*» – «Хорошо умереть за родину» – стала хрестоматийной в истории сионизма, однако интересно ее сравнить с мнением человека, воевавшего с И. Трумпельдором в Еврейском легионе: «По-еврейски [т.е. на иврите] любимое выражение его было: «*эн давар*» – ничего, не беда, сойдет. Рассказывают, что с этим словом на губах он и умер». В. Жаботинский, указ. соч., с. 116.

Истинность приписываемых Трумпельдору слов вызывает сомнение и в наше время. М. Гилула, например, полагает, что бывший выученик русской гимназии произнес одну из забуренных в юности латинских фраз, на сей раз из Горация: «*Dulce et decorum est pro patria mori*», т.е. «Приятно и достойно умереть за родину» (газ. «Ха-арец». Израиль. 18.02.2000. с.15b), и этим словам потом дали ивритское выражение.

плохо защищали как арабов, так и евреев. Вернее, их рука была в этом деле. Перед праздником Неби Муса, который совпадает часто с нашей Пасхой, в мечетях велась сильная пропаганда против евреев. *Divide et impera*³². Но мы не чувствовали, что это погром, как в Польше и России. В Вильне в день сейдера наша «стружувка» прибегала в панике искать у нас своего пропавшего Ватюка или Владека, который преспокойно в это время играл в «рине», где было его настоящее место действия. И это портило на весь вечер наше настроение и праздник. Здесь же рассказывали, что если в Иерусалиме пейсатый еврей бежал в направлении беспорядков, ему говорили: «*Риб ид*, куда вы бежите, там бьют». На это он отвечал: «Ну потому я и бегу туда, может быть, нужна моя помощь».

Приехало много туристов, первых из Европы после войны. Все были опьянены и восхищены палестинской весной.

Жаботинского и его товарищей по самообороне посадили в Аккскую тюрьму. Туда начали ездить целые группы «паломников», посетителей с фотографическими аппаратами, и всех пропускали во двор Аккской крепости. Жаботинский негодовал, что Самуэля³³ назначили *нацивом* – Высшим Комиссаром, – хотя вся Палестина приняла с восторгом этого первого наместника-еврея: на него возлагали большие надежды. Самуэль устроил свой первый прием.

В тот день, когда был заключен мир с Турцией и была ратифицирована Бальфурская декларация и мандат вручен Англии³⁴ с тем, чтобы охранять еврейский «национальный дом», я случайно была в поезде между Тель-Авивом и Лудом. Вдруг кто-то крикнул: смотрите, мираж! Мы подбежали к окну. Увидели воду, в которой отражались деревья, пальмы, целый оазис. Я впервые видела то явление, о котором прежде только слышала и читала.

В тот день в Тель-Авиве было повышенное настроение, пили за здоровье, танцевали на улицах. В Иерусалиме ходили к Стене Плача и во всех синагогах молились: «*Шехехйону, вкемону лезман хазе!*»³⁵. Это странное совпадение – мираж и английский мандат – вспоминалось мне всегда, когда после «первой любви» с англичанами наступило горькое разочарование. Бальфур, правда, был тогда уже мертв, и Ллойд Джордж тоже.

В мае мы устроились на своей квартире. Мы сняли меблированную квартиру одного врача, который должен был оставить по каким-то причинам Палестину на продолжительный срок. Он также передал Марку

³² Разделяй и властвуй (лат.).

³³ Сэр Герберт Луи Самуэль (также Сэмюэл; 1870-1963), британский политик, занимавший в 1920-1925 гг. пост первого Верховного комиссара Палестины, не устраивал Жаботинского прежде всего потому, что был сторонником ограниченной иммиграции евреев в Палестину и заискивал перед арабами, а в годы первой мировой войны препятствовал созданию Еврейского легиона.

³⁴ Хотя Декларация Бальфура о благосклонном отношении британского правительства к созданию еврейского «национального очага» в Палестине датируется 2 ноября 1917 г., фактически лишь в 1922 г., по заключении мира с Турцией и подписании британского Мандата на территорию Палестины, в Мандат было вписано, что Великобритания признает «историческую связь еврейского народа с Землей Израила и право основать в ней заново свой национальный очаг».

³⁵ Неточно цитируется благословение (иврит), произносимое при радостном событии.

свою практику. У меня не было забот об устройстве, и я могла продолжать свои занятия еврейским языком. Хорошей библиотеки в Тель-Авиве не было, и я одалживала книги у частных лиц: Пр. Шлейф – «Шальверк дес геданкес», Отто Бруно – «Переписка», Вассерман – «Христиан Ваншафее», Ибаньес, Бер Хофман и многое другое.

Я получила первое сообщение из Москвы, что моя мама и вся семья живы и здоровы. Это был большой день в моей жизни. Только дедушка умер. Правда, он был уже очень стар. Я вспомнила, как этот старик всегда на ночь приходил к нам, детям, закрывать ножки одеялом. Мы считали, что это из педантизма, аккуратности, но я допускаю, что у него, сухого купца, который забывал имена своих детей («Катя, Нюта, совершенно, где моя чашка!»), были сантименты, любовь к детям и внукам.

Первое лето нам показалось очень жарким. Я себя спрашивала, почему в этой стране, где солнце печет, как в духовке, ночи лунные и красивые, где все ярко, смеется, как бы кричит о счастье и плотских радостях, где каждую неделю поспевают другие плоды, все более сладкие и спелые, – в этой стране родились самые великие элегии, слова Пророков, Псалмы, Экклезиаст, книга наивысшего скептицизма, эпикурейства, даже нигилизма, и местная палестинская песня, как арабская, так и еврейская, подобна завыванию плакальщиц, монотонная, печальная. Я не удивлялась синагогальным мотивам, которые родились на «реках Вавилонских», в эти две тысячи лет голуса и преследований. Но даже первые реакции на исторические события – речи пророков – уже в древности были не в мажорном, а в минорном тоне, и прогноз был всегда пессимистический.

Нам теперь, в нашей новой «экзистенции», нужно будет перевоспитать себя, вернее, наших детей и молодежь, перестать ныть, как в искусстве, так и в жизни. Иеремиада должна перестать быть нарицательным именем, понятием. Может быть, эта меланхолия была связана с самой природой? Закат солнца в Иерусалиме с его бледно-лиловыми, серовато-розовыми красками действовал меланхолически.

Осенью мои дети заболели коклюшем, раньше Меир, потом Рут. Моя жизнь стала тяжелее, приходилось работать в доме, открывать двери пациентам, записывать все приглашения на дом, помогать Марку. Я сама шила для детей белье, и платица, и штанишки для Меира (благо, когда научилась этому в Луге), я варила, закупала продукты, а теперь еще ухаживала за больными детьми. Уборка кабинета и приемной тоже были на мне. Теймонка приходила только для мытья полов и стирки. Вечером я была такой усталой, что засыпала на ходу. Я неохотно выходила, если нас куда-нибудь приглашали.

В *Рош Гашиана* – Новый год – было еще очень жарко. Мы в первый раз справляли этот праздник у себя, не за чужим столом, с первинками гранат, вином, медом как символ[ом] сладкого года, с зажженными свечами, рыбой, детьми в новых ботинках и платье.

Коклюш у детей развился и переходил в закатывание и рвоту. Чтобы отвлекать их от припадков, я занимала их ручным трудом. Мы с Рут шили платья для кукол, вырезывали из картона домики, мебель и кукол. С Меиром мы клеили кораблики, пароходы и автомобили. Эти несколько часов, которые я посвящала детям, меня вознаграждали тем, что детки

были ласковы, послушны, не ссорились, не дрались и почти не кашляли. Мы с Марком решили, что болезнь больше нервная, чем органическая. Самое лучшее воспитание – позитивное, когда даешь что-нибудь детям и ничего у них не отнимаешь. Слово «осур» – нельзя – было в то время вычеркнуто из нашего лексикона, не потому, что этим детям ни в чем не было отказа, наоборот, они не нуждались в запрещениях: творчество, ручной труд и даже помощь в доме заполняли их жизнь так, что они стали образцовыми детьми. Если бы у каждой матери было терпение и время и желание немного отдаваться своим детям, вместо того, чтобы кричать на них и читать нотации, как это делали в нашем детстве, воспитание было бы значительно успешнее и легче.

Вместо Семинария я взяла частного учителя для себя и детей, так что праздничные каникулы и время болезни у нас не прошли даром. Но я убедилась, что никогда не стану гебраистом. Я была слишком усталой, чтобы вечером читать на иврите, я была рада читать на всех мне понятных и доступных языках. И потому я жила с нечистой совестью по отношению к языку, который должен был стать главным нашим разговорным языком и языком культуры.

День десятилетия нашей свадьбы, который совпал с осенними праздниками, носил уже новый, палестинский характер, в нем не было ничего традиционного. Правда, я получила несколько медных подарков. В тот день мы пригласили кое-каких новых друзей и родных Марка и пели палестинские песни, танцевали хору «до потери сознания», как можно веселиться только в молодости.

Обычно в Палестине в те времена к субботе готовились уже со среды. В четверг в Тель-Авиве уже трудно было найти уборщицу, а в пятницу – невозможно, все женщины работали у себя дома над приготовлением к субботе. То же самое было и перед праздниками. С Пурима начинали готовиться к Пасхе, а это промежуток в шесть недель. То же – перед Новым годом и другими «Йомим нероим»³⁶.

И когда пришли праздники, мы в первый раз почувствовали, что у нас нет старой семейной праздничной атмосферы. Не было традиций. Надо было все черпать из самих себя. После праздничного ужина Марк пошел к больному, дети легли спать, свечи догорели, я сидела в углу с книгой. Я поняла, что еврейство держалось тысячелетия религиозными традициями, а мы, новые палестинцы, оторвались от религии и традиций, и не знали, как заполнить эту пустоту. Тем не менее, мы построили на балконе кущу, в которой дети ели с большим аппетитом, чем за обеденным столом. Украсили ее гранатами, фруктами и красным перцем, бумажными цепочками и портретом Герцля.

В хол хамозд (средние дни в Суккот) я поехала на несколько дней в Иерусалим. Я жила у одной новой приятельницы, немки, которая пригласила меня к себе, зная, как некомфортабельны иерусалимские отели. У нас бывали интересные посетители, туристы, и там я познакомилась с профессором Гедесом, который был занят планом перестройки Иерусалима: гора Скопус должна была превратиться в культурный центр. К сожалению, его план перестройки Старого Города не был осуществлен.

³⁶ «Дни трепета» (иврит-ашкенозис) – дни между Рош ха-Шана и Йом Киппуром, Судным днем.

Мы все посетили еврейского скульптора Мельникова³⁷ в Старом Городе, который имел необычайно интересную студию с видом на мечети, стены и Иосафатскую долину. Он впоследствии создал статую «Льва в пустыне» на могилу героев Тель-Хая.

Кроме того, меня попросили прочесть доклад о Московской студии «Габима», которая работала над несколькими новыми пьесами, «Дибук» Ан-ского, «Вечным жидом» Д.Пинского, пьесой Переца и других. Мы хотели, чтобы «Габима» приехала в Палестину³⁸, но для этого она еще не была готова ни материально, ни в смысле репертуара. Я также познакомилась с известной американской общественницей мисс Сольд³⁹ и с писательницей Джесси Семптор. Последняя, несмотря на детский паралич, которым она страдала в детстве и последствия которого остались на всю жизнь, очень продуктивно работала и даже рисовала. Она мне подарила для моих детей несколько картин из детской жизни.

Все эти знакомства и впечатления меня немного оживили и развлекли. Но такие вылазки я не могла себе позволить делать часто.

* * *

Второй год нашей жизни в Тель-Авиве мало чем отличался от первого. Отчасти мы немного акклиматизировались, болели реже, но отчасти жизнь как-то усложнилась, и нам начали предъявлять большие общественные и денежные требования. Практика далеко не могла покрыть всех расходов, я работала все больше, не говоря уж о Марке, который за 25 пьестров должен был бегать к больным на дом, по жаре и в холод, и ночью. На дому он принимал утром и после обеда, и вообще мы не знали покоя ни ночью, ни днем.

На Пасху мы были приглашены к сейдеру к родным, но вся предпасхальная чистка и уборка была на мне, масса гостей, туристов, мытье посуды и проч. Мы все еще не могли себе позволить взять прислугу или поехать на летние жаркие месяцы куда-нибудь всей семьей. Поездки на два-три дня в Иерусалим или Хайфу больше утомляли, чем служили для

³⁷ Авраам Мельников (1892, Бессарабия – 1960, Хайфа), из первых еврейских скульпторов в Палестине, куда переехал из России в 1918 г. Учился в Академии художеств в Чикаго, в годы первой мировой войны пошел добровольцем в Еврейский легион, но Э. Марголин не пускал его в бой, а отвел особую палатку под мастерскую. В 1923-1928 гг. вместе с художниками Й. Зарицким и Ш. Леви устраивал ежегодные выставки в Мигдаль Давид в Старом Городе. С 1923 г. был председателем Союза ивритских художников. В 1934-1960 гг. жил в Лондоне, куда приехал по приглашению состоятельных евреев, заказавших ему скульптурные портреты, и где остался в связи с началом войны. Делал бюст генерала Алленби, У. Черчилля и его дочери и мн. др. Его «Рычащий лев» (в мемуаре поименованный «Лев в пустыне») на могиле Трумпельдора выполнен в эстетике, как казалось, отвечавшей духу древней Земли Израиля. Похоронен в Кфар Гилади, неподалеку от этого памятника.

³⁸ «Габима» прибыла в Палестину только в 1928 г. Пьеса И. Л. Переца, видимо, «Пожар» («Ха-срефа»).

³⁹ Генриетта Сольд (1860, Балтимор, США – 1945, Иерусалим), педагог, сионистский деятель в Балтиморе; в 1907 г. организовала 38 еврейских женщин в группу «Хадасса», из которой позднее выросла международная сионистская организация медицинской и гуманитарной помощи. С 1920 г. Г. Сольд жила в Палестине, возглавляла местную «Хадассу», руководила молодежной анией и т.д.

отдыха. Кроме того, даже на несколько дней нельзя было оставить дом без хозяйки, и приемную и практику без помощи врачей.

На Пасху, как всегда, съехалось много туристов. Леди Самуэль приезжала в Тель-Авив к своим родным, и для дам устроили чай, я тоже была приглашена. Было скучно, конвенционально до смешного. Все дамы, конечно, были очарованы, а мне все время казалось, что я принимаю участие в глупой комедии или в детской игре «в города», когда одно место остается свободным – это стул возле хозяйки, и по очереди его занимает то та, то другая дама, которой ставят шаблонные, никому не интересные вопросы, причем ответы, конечно, тут же забываются. Это английские обычаи, которые вводят в еврейской Палестине.

После Пасхи 21-го года снова был погром в Яффе с 40 жертвами и массой раненых. Тут Марку пришлось поработать как хирургу.

Волна беспорядков и тревоги прокатилась по всей стране. Как жители вулканических мест привыкают к извержениям вулканов, так мы, евреи, и даже в Палестине, привыкаем к вспышкам, погромам, беспорядкам.

Однажды П. М. Рутенберг взял нас в своей машине покататься по колониям. По дороге мы впервые видели «намаз»: араб разложил коврик или верхнюю *абайю* на земле и усердно ударялся головой о землю. Петр Моисеевич сказал: «Пока мы не научимся так молиться, Палестина не будет наша». Он делается религиозным. Я спросила: «А может быть, наоборот, пока арабы не перестанут ударяться головой о землю и не научатся вместо этого вести трактор, Палестина не будет им принадлежать?»

Англичане только на том и выезжают, что арабы курят кальян и конкурируют с еврейскими рабочими в низкой заработной плате. В наших колониях колонисты предпочитают арабских рабочих в *пардесим* и на других сельскохозяйственных работах. Эти евреи работают против сионизма.

Если бы разрешили массовую еврейскую иммиграцию, как советовал Нордау⁴⁰, мы бы были ближе к нашей цели, но все наши пропагандисты только и делали, что проповедовали «осторожность», не перенаселять Палестину, а англичанам с арабами только того и нужно. К счастью, у нас есть стихийная иммиграция, без сионистской пропаганды, в силу обстоятельств: из Курдистана, Йемена, Персии, Кавказа, Сибири, Польши и Галиции.

В конце лета я получила малярию-терциану, два дня лихорадило, а на третий, когда спала температура, я была слаба и выглядела, как выжатый лимон. Пришлось первый раз взять прислугу, потому что я не могла работать. За болезнь я прочла много книг по воспитанию детей, также Бирюкова о Толстом и письма Розы Люксембург и Софии Либкнехт. Социализм ищет максимум материальных благ для трудящихся, Толстой ищет максимум духовных благ, Царствие Божие на земле. Но не только

⁴⁰ Макс Нордау (Симха Меир Зюдфельд; 1849, Будапешт – 1923, Париж), еврейский литератор и общественный деятель, один из создателей Всемирной сионистской организации. Нордау видел в переселении евреев в Палестину не только исполнение национальной мечты, но и путь к физическому спасению европейского еврейства, которое, как он полагал, иначе обречено на гибель. По той же причине Нордау поддержал «план Уганды», а после погромов гражданской войны предложил план массового переселения евреев Украины и России в Палестину, что было отклонено сионистским руководством.

синтеза этих двух нельзя создать, даже минимума достижения каждого в отдельности нет.

* * *

В 1922 году я слышала первый хороший концерт в Палестине: Надя Этингон⁴¹ – рояль, Тельма Иелин⁴² – виолончель. Играли «Крейцерову сонату», «Тарантеллу» Листа, этюд Шумана, еще Рахманинова, Карелли, Глазунова. Я три года не слыхала такого концерта.

С детьми мы были на фильме «Продажа Иосефа братьями» – красивая «клюдва».

Когда я не болела малярией, я работала по 16 часов в сутки; все утипические умствования о четырехчасовом рабочем дне (Толстой) и семи-часовом (Герцль) возможны только в теории. Я спать не могла от усталости и боли во всем теле.

Но я, конечно, не одна так работала: все люди свободных профессий (врачи, бывшие купцы, адвокаты, писатели) работали на *квншах* – при постройке дорог, шоссе; создавались бригады, как на военной службе – так называемый *гдуд авода* (рабочий отряд), для построек кибуцим, городов. В России люди «от станка и сохи» делались комиссарами, переоценивали свои знания и возможности, оставляли «довоенных жён» и переключались на бюрократическую жизнь. У нас, наоборот, профессора делались чернорабочими и не считали свою тяжелую физическую работу унижением для себя. За неимением природных, наследственных крестьян, наши интеллигенты делались ими. Впрочем, трактор, и комбайн, и машины требовали не столько физической силы, как интеллекта. А араб все еще продолжал идти за сохой, погоняя осла, мула и верблюда. Они молотили зерно копытами быка или мула и вертели колодцы верблюдами с завязанными глазами.

В Пурим мы были на балах.

Я не видела красоты в современных танцах, я была воспитана на русском балете, но Марк начал увлекаться танцами и заставлял и меня танцевать. Я первое время сопротивлялась тому, что женщина должна слепо подчиняться воле мужчины, который ее «ведет», но если я будировала, мне наступали на ноги, и я смирилась. Мы редко пропускали возможность вечером потанцевать.

На одном из пуримских балов был чудный первый приз: два бухарских костюма, кавалер и дама в парчевых оригинальных костюмах. Головные уборы и драгоценности – все было взято из семейных сундуков. И типы тоже подходили, они принадлежали к самым богатым иеруса-

⁴¹ Надя Этингон-Рейхерт (1906, Киев – ?, Тель-Авив), дочь еврейского филантропа Альтера Этингона, окончила Киевскую консерваторию по классу фортепиано, училась в Германии у А. Шнабеля, концертировала в России, Германии, Австрии, Англии, Ливане и др. С 1925 г. жила в Тель-Авиве, была председателем Союза еврейских композиторов.

⁴² Тельма Елин (дев. фам. Бентович; 1895, Лондон – 1959, Иерусалим) окончила Королевское музыкальное училище в Лондоне по классу виолончели, училась у П.Казальса, концертировала с 1915 г. С 1920 г. жила в Иерусалиме, где преподавала в музыкальной школе, основала общество музыкантов-исполнителей и Иерусалимский струнный квартет.

лимским бухарским семьям, торговавшим большею частью персидскими коврами и другими восточными товарами. Говорили, что эти два костюма стоят 1500 фунтов.

Пурим в Палестине был скорее карнавал, похожий на итальянский или французский, но, конечно, не такой богатый, гораздо более скромный и сдержанный в смысле веселья и распушенности. Маски, костюмы, балы были еще в пределах еврейского *фрейлахи*⁴³. И то сказать, откуда могли взять эти голусные евреи ту радость жизни, которая накапливалась у других народов в течение тысячелетий. Наша музыка еще была преимущественно синагогальная, *хазанут*, со слезами и завываниями, с плачем и молитвами. Даже наш самый веселый праздник Пурим носил в себе дух «освобождения от погрома в персидской столице Шушан Хабира». Здесь, в Палестине, в школах и детских садах начали давать спектакли на тему *Эстер-малка*, Ахашверош, Мордехай и Гаман-*гароша* и даже в театре «Тай» поставили пьесу на эту традиционную тему⁴⁴. Девушки и молодые женщины и даже пожилые дамы начали одеваться в теймонские и бухарские костюмы, начали выбирать королеву красоты чисто еврейского типа, и, к счастью, здесь наш «национальный костюм» перестал быть «каракулевое манто и сапфировые серьги», как говорили антисемиты в Москве. Для наших костюмов мы искали в старых иллюстрациях, в Библии и во всех художественных альбомах, какие попадались под руку, костюмы еврейских царей, цариц и библейских героинь.

Мы с Марком начали подумывать о собственном домике. Так хотелось, чтобы у наших детей была почва под ногами, свой дом, свой сад, цветы, огород, посадки – та почва, из которой они могли бы черпать любовь к стране, к земле. Хотелось пустить корни, наконец, в этой стране, ради которой мы бросили родину в изгнании, с романтическими воспоминаниями, с интересной культурой. Наши дети уже не знали бархатистой вербы, лотков с товарами, бабочек из бархата с дрожащими золотыми и серебряными усиками, чертика из плюша, «морского жителя», заклеенного в стеклянной трубочке. Они заменили пищухи колотушкой, которой якобы били Гамана, воздушные шары так же летали в воздухе, но вместо вяземских пряников и коврижек были еврейские *лекехлах*, вместо грецких орехов в золотой бумаге – *ботним* (земляные орехи), вместо ваньки-встаньки и деревянных кукол кустарной работы – кустарные ослики и караваны верблюдов, а искусственные цветы сменились живыми, сорванными на полях. И когда мы справляли первую и вторую годовщину нашего пребывания в Палестине, мы желали себе 25-ю. Марк даже купил бутылку Аликанта фирмы «Кармель Мизрахи», хотя у нас не было погреба, и оно, верно, испортится за 25 лет, но мы уже мечтали о четверти века в стране.

Свой дом, своя комната, своя полка книг и свой сад стали нашей тоской и молитвой.

Мы должны были учиться радоваться жизни, как человек после операции учится ходить, есть, улыбаться.

⁴³ Буквально «радости» (идиш).

⁴⁴ «Тай» – «*Театрон Эрецисраэли*», т. е. «Театр Земли Израиля», был основан в 1923 г. в Берлине; его первый гл. режиссер – Менахем Гнесин (1882-1951), ученик школы К. Станиславского. Пьеса на традиционную тему – А. Роше, «Валтасар» – была премьерой театра, в 1924 г. переехавшего в Палестину. Закрылся в 1929 г.

Праздники здесь получили другое значение. Детские именины празднуются в школе, особенно в детском саду. Матери приносят угощение и подарки в мешочках, учительница дает им «программу», игры, поздравление и подарки. У нас в детстве были радостные воспоминания: вкусовые, обонятельные, как например, запах подогретой мацы на Пасху, вкус «кремзлах» в эйегемахц, варенье из редьки на меду, орехи, тоже варенные в меду, радость игр в орехи, «дрейдлах», в карты – на Хануку и специальные подарки, как *geld* (деньги) на Хануку или *шалахмонос* на Пурим. Скрип новых ботинок, ощущение чистоты и красоты в доме перед каждым праздником, новые платья и даже новая форма – коричневое платье с черным передником – в начале каждого учебного года. Я боюсь, что здесь мы детям мало даем этих переживаний. Я хотела, чтобы моя мать или мать Марка приехала к нам и жила с нами, чтобы все религиозно-праздничные обычаи и традиции, как соблюдение субботы, кошерование и строгая уборка к праздникам, стало бы так же важно нам и нашим детям, как это было важно нашим родителям. Лично я в себе не находила силы и достаточно ханжества, чтобы принимать все это всерьез и проводить в жизнь.

Вообще я думаю, что наше поколение пустыни потеряло много первичных чувств: осязания, обоняния, вкуса. В пути все делается временным и недостаточно важным. Наши дети приехали сюда в слишком раннем возрасте, чтобы помнить такие вещи, как «идет, гудет, зеленый шум, зеленый шум, весенний шум» или «открывается первая рама»⁴⁵ (здесь она никогда не закрывается), или первые санки, первые колеса. Здесь весь год полувесна, полулето, иногда дожди, иногда засуха. А может быть, я ошибаюсь: у них есть свои е р в ы е впечатления, о которых мы не знаем.

Я следила за Рут и Меиром во время сейдера, когда открывали дверь для Ильи-пророка, – бьется ли их сердце в страхе и волнении, как оно билось у меня, когда я шла открывать дверь. И даже подарки, выложенные утром в день их рождения, на мой взгляд, не вызывали особенного энтузиазма. Они вообще более реальные, менее сантиментальные дети. Может быть, это здоровее.

В июне 22 года мы решились, наконец, летом выехать всей семьей в горы. Мы выбрали Артуф в Иудейских горах, где было прохладнее, чем в Тель-Авиве. Вдали виднелись арабские деревушки, могилы каких-то шейхов, а легенды говорили, что это места, где наши древние вели борьбу.

На горке была болгарская деревушка Гар Тов⁴⁶, и дети ожили в этой деревенской обстановке. Познакомились с детьми колонистов, ходили в птичник, коровник, *дир* (козлятник), ездили на осликах и мулах. Каждый день открывали что-нибудь новое, раздобыли себе щенка, которого хотели взять с собой в Тель-Авив. Я же прислушивалась к эхо в горах, которое похоже на морской прибой, читала книжки и отдыхала.

Но под конец Меир заболел двумя палестинскими болезнями: амебной дизентерией и харарой, кожным раздражением, которое появляет-

⁴⁵ Цитируются стихи о весне: «Зеленый Шум» Н. А. Некрасова (1862) и (неточно) «Весна! Выставляется первая рама – / И в комнату шум ворвался» А. Н. Майкова (1854).

⁴⁶ Гар Тов, он же Артуф, или Хартов, – населенный пункт на железной дороге, соединявшей Тель-Авив с Иерусалимом.

ся с хамсином и пропадает неизвестно отчего. Без врача и налаженного хозяйства трудно было оставаться в Артуфе, и мы вернулись домой.

Дома я нашла письмо мамы из Москвы, что сестра Олечка, работая в госпитале при тифозных, заразилась сыпняком. Она болела дома, чтобы не подвергнуться в городской больнице плохому уходу и осложнениям. Няня сама за ней ухаживала и выходила ее.

Из СССР начали прибывать в Палестину люди. Были они сионисты, выпущенные из тюрем и Сибири, или посланные к нам специально для коммунистической пропаганды, мы не знали. Рассказывали, что Москва при «нэпе» стала прежней нарядной Москвой, магазины открыты, толпа лучше одета, и даже открыли много кустарных производств, где люди могли зарабатывать себе на сносную жизнь, и на рынках появились продукты. Если допустима эта новая экономическая политика, то к чему нужны были ссылки и борьба со спекуляцией, кулачеством, даже террор и казни?

Трудно было понять перемены в советской политике. Но это было при Ленине, а потом все облегчения были снова отменены.

Наша жизнь вошла в свое обычное русло. Однажды мы были приглашены на чтение новой оперы композитора Гнесина «Юность Авраама». Писал он ее в Баб-эль-Ваде⁴⁷, где будто бы была настоящая родина Авраама. Теперь это был плохой кафэ для проезжих, где можно было достать кроме турецкого кофе еще газоз⁴⁸ в бутылках, не охлажденный и слишком сладкий. Запахи ослиного навоза и грязь повсюду вряд ли могли способствовать вдохновению композитора, но на горах была кое-какая зелень и красивый вид в вади. Здесь еврейство ищет новых путей как в музыке, искусстве, литературе, так и в строительстве, педагогике, даже в «управлении государством». Все эти первые начала и искания даются с трудом.

Все деятели, портреты которых мы в голусе вешали на стены, потому что тот создал первую школу, а этот – первую гимназию, или музей и художественную школу, или агрономическую ферму для обучения детей земледелию, все эти люди, вспотевшие, в помятых костюмах, бегали по Тель-Авиву, захлопоченные дефицитами, очередными заботами и повседневными делами. После их смерти их именами, правда, называют улицы, но при жизни они не вызывали особого пиетета – в своем отечестве... нет проковок!

Такое же будничное отношение было к людям, которые где-то когда-то пострадали от погрома, в Польше или на Украине, или сидели в тюрьме за революцию или за контрреволюцию. Все стало обычным делом. Сионизм стал не идеалом, а реальностью, даже торжественные поминовения не вызывали особенного внимания. Все торопились – на деловое заседание, профессиональные митинги или искали развлечений.

⁴⁷ Видный филантроп и меценат, сионист Файвл Меир Шапиро (1888, Городок близ Белостока – 1960, Тель-Авив) в 1922 г. специально отправил композитора Михаила Фабиановича Гнесина (1883, Ростов-на-Дону – 1957, Москва) из Петербурга в Баб-эль-Вад (место на пути из Тель-Авива в Иерусалим), чтобы тот создал «аутентичную» музыку о юности Авраама. Это представление о родине Авраама расходится с традиционным, согласно которому Авраам родился в Уре халдейском.

⁴⁸ Газоз (иврит) – название прохладительного напитка (вроде лимонада), весьма распространенного в Палестине; как правило, продавался вразнос на леднике.

Про первую войну тоже почти забыли. Кто вспоминал «и глад, и мор», и то, что ели конину, и что жир пахнул стеариновой свечкой и смазочным маслом, и не знали, из чего сделана колбаса (кстати, собака отказывалась ее есть). Наши дети имели вздутые животы от излишнего количества бобов и гороха, а в некоторых губерниях в России были случаи людоедства. Я помню, как писали из деревни: «А мы тетеньку съели», — и мы не знали, ужасаться или смеяться над этим письмом.

А разврат, который войска вносили в города: в Вильне коммерческое училище было превращено в венерическую больницу, и внизу под окнами стояли матери, и отцы, и сестры, и другие родные с приношениями.

А здесь женщины торопились в лавочку купить что-нибудь на ужин, штопали чулки и штанишки детям, гладили мужу рубашку на завтра, чтобы было в чем выйти на работу, бежали к инсталлятору, чтобы починил кран в ванной, иначе за ночь вся вода вытечет. Задачи сегодняшнего дня затемняли все воспоминания прошлого и все планы на будущее.

Не каждый день брали в руку книгу Герцля и Нордау, и даже для газеты не всегда было время.

* * *

Единственно можно было выйти из повседневности, когда случайные туристы приглашали нас покататься по стране и посмотреть все, что есть нового в строительстве. Раз меня пригласили проехаться по Галилее, которую я вообще не знала. Я впервые поехала в кибуцим и колонии за пределами Тель-Авива.

Мы ехали через Иерусалим. Да самой Изреэльской долины не было еврейских поселений, была Аравия, пустынная страна. В арабской деревне Шило мы сделали первый привал, пили теплое козье молоко, потом проехали Шхем. Шхем, он же Наблус, — настоящий восточный город, ослепительно белый на солнце. Дома двух- и трехэтажные, с террасами и садами. После Шхема попали в Дженин, деревню, которая утопала в зелени, как оазис в пустыне, и только к четырем часам мы въехали в Эй-мек. Первый пункт был Нурис, или Эйн-Харод.

Кибуц имел только палатки, без единого дома. Мастерские, слесарные, швейные, сушильня табака, все это было в состоянии постройки, не закончено, все служило для удовлетворения нужд кибуца, ничего на сбыт. Мы осмотрели питомники, гумно, сельскохозяйственные машины, кухню, столовую и палатки *хаверим*⁴⁹. В тот же вечер были даже сооружены подмостки для любительского спектакля «Гадибук» Ан-ского, который должен был состояться вечером. Нас угостили супом, салатом и хлебом. Я зашла в палатку двух девушек. Постели были покрыты простынями, в углу был таз, кувшин и полотенце для умывания. В этот час все рабочие шли к источнику Эйн-Харод мыться, так как у них еще не было душа. При источнике было два отделения, мужское и женское, завешенное мешками. Источник мог бы служить местом купания общего для всех, но у них не было купальных костюмов, и это бы мешало настоящему мытью после работы.

Мы еще осмотрели детскую школу и больницу. Только школа была выкрашена в зеленый цвет, и на фоне их очень примитивной жизни эта

⁴⁹ Членов кибуца (букв.: «товарищей», иврит.).

школа выглядела роскошной. Детская мебель, белая; на столе уже был приготовлен ужин: яичница, лебен в чашке, салат из томатов и оливков, кашка для малышей. Учительница молоденькая, по-видимому, очень преданная и находчивая в своем деле. По стенам развешены картинки и самодельные игрушки: шитье, бусы из миндаля, шелухи бобов, рисунки детей, лепка из пластилина и глины, все крашенное в разные цвета. Все красиво, симметрично, со вкусом и целесообразно, для старших детей, по-видимому, был учитель столярного ремесла. Кроме того, в этой маленькой школе был класс с партами и черной доской для старших детей, географическая карта Палестины. А рядом была пристройка – ванна, кухня, в которой варили, как и везде в Палестине, на угольях, и *махсан* – кладовка с продуктами, крупами, зеленью – все по росту детей, чтобы они могли принимать участие в варке пищи. Вокруг домика – сад, в котором дети работали. Чистота была идеальная, продукты покрыты сетками от мух, а кровати – мускитерами от комаров.

В ванной у каждого ребенка было свое отделение для полотенца, зубной щетки и проч. Учительница мне сказала, что их купают два раза в день, воду приносят извне, из источника, что не легко даже при текучей воде. Ванна каждый раз дезинфицировалась спиртом. Эта школа была любимым детищем кибуца, ее показывали туристам «на закуску». Потом я видела гораздо более усовершенствованные школы и детские сады, но эта п е р в а я школа в Эйн-Хароде на меня произвела самое сильное впечатление, даже больше, чем наша тель-авивская школа по системе Монтессори. Эта молоденькая учительница положила основание и начало для многих кибуцианских школ, которые могли брать пример с нее. Я подумала: «Голь на выдумки хитра», без денег тоже можно создать культурное дело, где дети учатся краскам, размеру, нанизыванию, симметрии и красоте. Когда я вернулась в палатку, перед тем, как мы сели в ауто, одна из девушек сказала: «Ну, осмотрели уже кибуц, в два дня хотите осмотреть всю Палестину и все знать?»

– Я уже несколько лет в стране и не имела возможности оставить дом и свои обязанности. Сколько раз ты выезжала за это время в город и к товарищам в другие кибуцы? Ты, верно, знаешь лучше меня страну, я не сомневаюсь. Но я должна ждать, чтобы приезжие туристы меня угостили этой поездкой, у меня нет даже осла с тележкой.

Кстати, в это время во двор Эйн-Харода съезжалась на телегах, на грузовиках публика на спектакль, парни в белых рубашках, девушки в пестрых платьях.

Мы торопились куда-нибудь, где можно было бы переночевать. По дороге мы еще заехали в Мерхавью. Здесь было много американцев. Дома были благоустроены, также и сараи и конюшни. Товарищи и даже мальчики гарцевали на прекрасных конях, комнаты и дома были обставлены роскошно в сравнении с палатками Эйн-Харода. Говорили они не только на иврит, но и на идиш и по-английски. У одной *хаверы* комната была задрапирована пестрым ситцем, всюду были цветы в вазочках. Столовая была уютная, скатерти на столах, сервировка как в приличных вегетарках. В углу шкаф с посудой. Все блестело чистотой и новизной. Так же было и в кухне. Нас угостили чаем со свежеспеченными булочками.

Мы засветло оставили Эймек и ночевали в Назарете, в немецкой гостинице. На утро с балкона мы смотрели на Назарет. Город расположен на

горе и в долине. Масса монастырей, церквей, часовен, одна часовня особенно была красива, прозрачна и очень архитектурна. Когда смотришь издали, кажется, что в ней живут духи.

В гостинице я выкупалась и даже помыла голову. Но спать было невозможно от жары и moskitov. Только на рассвете и вечером еще можно было дышать. В шесть утра мы выехали по направлению к Тивериаде.

С каждым подъемом открывался новый вид, все более широкий и прекрасный. Один из наших спутников, инженер по профессии, развивал свои планы орошения Палестины. Все вадии должны быть наполнены источниками, водой, построить плотины, воду провести из Тивериадского озера⁵⁰, построить каналы и таким образом поднять плодородность страны. Население можно увеличить в четыре раза.

Наконец внизу показалось Генисаретское озеро, жемчужина Палестины. Издали мы распознали колонии: Месха [Кфар-Тавор], Мельхамия, Иемма [Авнезль], Пория, Седжера, Кинерет, Дгания и Хамей Тверия – горячие источники, в которых купаются страдающие ревматизмом. У нас был хороший бинокль, и наш шофер служил нам гайдом. Мы миновали Мицпу и Мигдал. В Мигдале нас приняли рабочие, показали двор, сыроварни, бояры, фруктовые растения и пальмы. Много тропических растений, климат там субтропический, как и в Иерихоне.

Хавер, который ехал на муле рядом с нашим такси, рассказал нам об административных проблемах этой колонии, построенной на деньги московских сионистов. Для осушения местности были посажены эвкалипты, банановые плантации; воды в Мигдале много, речонки впадают в озеро. Заросли, как в девственном лесу, – были редкостью в Палестине, пустынной, сухой летом и не культивированной. Мы отдыхали возле ручья, позавтракали, рвали яблоки с дерева.

Из Мигдала мы ехали в Аелет Гашахар и Кфар Гилади, мимо Рош-Пины, «бароновской колонии», и мимо Маханаима. Тут я разговорилась с девушкой, которая пекла хлеб и варила на всю группу. Работали непрерывно всю неделю, без субботы. Только две женщины работали в хозяйстве. Кухонька и столовая были сколочены из досок, как русская клеть. Летом жарко, зимой холодно и сыро. Маханаим был – совхоз⁵¹, *мошав овдим*.

Когда мы проехали Меромское озеро, показалась гора Хермон, в то время без снега. Аелет Гашахар выглядела, как крепость с отверстиями для стрельбы. Все обложено мешками с песком. В момент, когда мы приехали, все были заняты книгами, которые только что прибыли из Тель-Авива.

Дальше мы блуждали между бедуинскими деревушками, между их талорами, проехали вброд болото Хула, полное moskitov. Как нам сказали, все население там было заражено хронической малярией.

Нас обступила орда арабов монгольского типа, многие похожи на негров, все укутанные в отрепья. Их коровы были похожи на буйволов, жили в воде и, может быть, тоже были заражены малярией. Хула произ-

⁵⁰ Впоследствии почти так и было сделано, только воду из Тивериадского (Генисаретского) озера, оно же Кинерет, подают не по каналам, а по трубопроводу.

⁵¹ Интересно употребление термина «совхоз», введенного в России с 1918 г. как «советское хозяйство»; может быть, здесь имеется в виду «совместное хозяйство». *Мошав овдим* (иврит) – поселение тружеников.

водила удручающее впечатление. Только когда мы отъехали несколько километров от этого места, мы повстречали первого еврейского *шомера*⁵², верхом на лошади, в полном вооружении. И какова же была наша радость, когда наша спутница его узнала. Это был какой-то ее знакомый по кибуцу. А нам уже казалось, что мы заблудились в этой дикой местности, что нам угрожает опасность.

Мы миновали маленькую крепость – Тель-Хай, место последней героической борьбы и смерти Трумпельдора и его товарищей. Наконец мы приехали в Кфар Гилади. Встретила нас Маня Вильбушевич⁵³, старая шомерница, пионерка и социалистка еще со времен первого русского сионизма. Она нам дала помыться в «ванной комнате», которая была не что иное, как кишка с водой, проведенная на чердак, над конюшней. Там же находились их спальни. На одной половине был еще весь чердачный хлам, а на другой были расставлены кровати, покрытые все теми же чистыми простынями. Вместо столиков – ящики, обернутые в простыни. Мы спустились в столовую. Рядом была маленькая пекарня, где в то время пекли свежий хлеб. Нас угостили оставшимся обедом, томатовым супом, сухой, без жира, кашей из пшеничных зерен и стаканом чая с хлебом. Школа и детский дом оказались далеко не на той высоте, как в Нурисе (Эйн-Хароде). Дети постарше спали с родителями, на чердаке и в палатках.

Единственно, что было поставлено образцово, это ясли для новорожденных: молодая прелестная няня, 10-12 маленьких белых кроваток с мускитерами, дети чудные и толстенькие и несколько отцов, которые, наклонясь над кроватками, кормили их из бутылочки молоком. При этом доме была выстроена кухня, ванная, балкончик и уборная: как в сказке про гномов.

Еврейские пионеры были готовы спать над сараем и коровником, в мухах и запахе навоза, лишь бы их малые дети могли воспитываться как принцы. Дежурная мать помогала этой няне держать в аптекарской чистоте этот детский дом.

Товарищи Кфар Гилади были спаяны уже 15 лет общей работой и защитой границ. Среди них было немало вдов тех *шомрим*, которые пали в борьбе с арабами и бедуинами, которые нападали из-за угла или в открытом бою. В этом кибуце была особая серьезность, гордость, и меня все это взволновало и растрогало до слез. Если бы я могла, я бы пошла к ним, чтобы с ними делить их тяжелую жизнь и строительство.

Когда мы сидели в питомнике, которым заведовал голландец Франц, возле каменного бассейна, напротив был виден Хермон, горы, долины, зелень и камни. Кибуц наверху выглядел, как маленькая, заброшенная

⁵² Шомер (иврит) – страж. Так назывались члены отрядов военизированной охраны еврейских поселений от арабских набегов.

⁵³ Маня Вильбушевич (1880, близ Гродно – 1961, Кфар Гилади), жена И. Шохата (см. прим. 9), женщина более чем героическая: активистка русского революционного подполья, участница заговора с целью покушения на Плеве, лидер стачечной борьбы рабочих в Минске, а в Палестине – организатор еврейской самообороны и «Ха-шомер»; в 1921 г., после погрома в Яффе, в костюме сестры милосердия спасала раненных евреев под носом у погромщиков; самоотверженная труженица, инициатор помощи СССР в годы Великой отечественной войны. О ее российском периоде жизни см.: Рут Баки. Русская рулетка. Пер. Дм. Прокофьев. Изд-во Министерства обороны Израиля (без указания года).

Пионеры – здесь: сионистские первопроходцы, так называемые *халуцим*.

деревушка. Мои спутники на обратном пути были молчаливы: на них произвело впечатление то, что нечем было помазать кашу, другая палестинка, которая сама проделала путь пионерки в кибуце, и я смотрели на все неудобства кибуцной жизни, как на временное и необходимое. Я завидовала товарищам в Кфар Гилады и неохотно возвращалась к себе домой в город, с тяжелой жинью, отягченной частным хозяйством и всеми условностями городской жизни.

Но это настроение у них, богатых туристов, скоро развеялось. Мы вернулись в Сафед (Цфат), хотя по дороге были еще четыре остановки: дороги были очень плохи, и каждая остановка была опасна из-за бедуинов и арабов, которые окружали наше ауто. Местность была дикая.

Ближе к Цфату снова открылась необыкновенная панорама: Генисаретское озеро, Меромское озеро, Хермон, ущелья внизу. Мы просто обмерли от неожиданности и красоты. В Цфате мы заехали в маленький заезжий дом – *ахсанья шел Кети Дан*. Мы сидели на балкончике, увитом зеленью, комнаты были очень просто, но чисто обставлены, весь город с балкона выглядел, как только что выкрашенный. Даже камни и памятники на могилах были в сизоголубом цвете, так же дома и заборы. Здесь, не в пример кибуцу, ужин был очень хороший: масло, сыр, простокваша, яйца и свежий хлеб.

На рассвете мы выехали в обратный путь. Мы проехали Тивериаду, построенную из черного базальта, купили на рынке фрукты (а мне еще гофманских капель), так как поездка меня утомила, я себя чувствовала совсем больной.

В Назарете нас пригласили на обрезание. Молодая мать и новорожденный были очаровательны, и если бы не моя усталость, я бы имела большое удовольствие от этого *бриса*. Кто-то сострил, что почти две тысячи лет здесь не было еврейского обрезания. Там же я встретила знакомого дантиста, который практиковал в Назарете. Он рассказал несколько анекдотов, как арабы впервые в жизни видели искусственные зубы. Богатые из них себе заказали целый прикус.

Однажды приходит такой пациент, а во рту у него нет прикуса. «Где же твои зубы, которые я тебе сделал?» – спрашивает дантист. «Я их послал в Хайфу показать моему брату», – похвастался тот. Женщины обычно приходили к дантисту со всей семьей, с соседками и родственницами, потому что это было не только лечение и развлечение, это было событие в жизни, и женщины никогда не выходят одни из дома.

Когда мы вернулись в Тель-Авив, моя спутница, с которой я большую часть делила комнату в дороге, мне созналась, что она в седьмом месяце беременности. Я пришла в ужас: «Как, по этим дорогам ты не боялась выкинуть? Ведь нас бросало из канавы в канаву, по-моему, даже не беременная женщина могла заболеть, я сама еле доехала». Но она только посмеивалась.

Несмотря на физические трудности поездки в то время, когда Палестина выглядела далеко не так, как теперь, эта поездка по Галилее осталась как самый чудесный сон: новая колонизация, несбыточное стало реальностью, утопия действительностью, каждый силуэт на ярком или тускнеющем небе запомнился на всю жизнь.

ПАМЯТИ АВРААМА БЕЛОВА, ДОБРОЙ И ДОЛГОЙ

«Ибо отходит человек в вечный дом свой...» (Еккл. 12:5). Тут нечего сказать, и нет резона жаловаться, тем более, когда жизнь была долгой и многие мечты сбылись. Первая и главная – «взойти к Иерусалиму».

Долг остающегося перед ушедшим – вспомнить его добрым словом, напомнить другим остающимся о лучшем из его жизни. Нет ни малейшего сомнения, что Авраама Белова вспоминают многие и на постылом севере, и в Иерусалиме, многие и по многим поводам-причинам. Мои несколько строк – скромная веточка в этот невидимый венок воспоминаний.

В 50-е и 60-е годы я интересовался проблемами теории и критики художественного перевода и даже был членом редколлегии сборника «Мастерство перевода», выходившего в Москве. Незабвенный Ефим Григорьевич Эткинд, «отвечавший» за Ленинград, среди других рукописей, привез статью «А. Шлионский – переводчик «Евгения Онегина», подписанную «А. Белов». Статья увидела свет в ближайшем выпуске сборника в 1965 году.

По моему глубочайшему убеждению, сложившемуся тогда же и не изменившемуся с тех пор, это доподлинный шедевр своего рода, который вполне заслуживает быть перепечатанным сегодня в Израиле. Показать и доказать достоинства перевода на язык, которого среди будущих читателей заведомо не знает никто, – это высший пилотаж критики перевода. Бывшие советские евреи, а ныне русскоязычные израильтяне могли бы прочитать и оценить этот труд с двух точек зрения одновременно – и прежней, сугубо российской, и новой, нынешней, живые сопричастной ивриту.

Есть у Белова в этой статье и положения, относящиеся к базовым принципам художественного перевода вообще. Вот для примера:

«С большим художественным тактом А. Шлионский психологически сблизил героев бессмертного романа с израильским читателем. Онегин, Татьяна, Ленский, Ольга, оставаясь до мозга костей русскими, благодаря некоторым особенностям перевода стали близки людям совсем иной культуры, иных представлений, иного жизненного опыта. Как это постигнуто? Очень умелым, неназойливым вплетением в ткань романа традиционных для читателя перевода (в силу своего национального колорита) образов, оборотов речи, ходячих выражений».

Мне кажется, этот принцип применяется, более или менее инстинктивно, подавляющим большинством из нас, переводчиков, но никто не сформулировал его так четко и бесстрашно, как Авраам Белов, *зихроно ливроха*.

НЕ ДОГОВОРИЛИ!..

В моей жизни из множества самых разнообразных встреч и связей мне попадались люди-«якоря» – те, по отношению к которым тот или иной долг держал меня «на приколе», и люди-«поплавки», при помощи которых я всплывала над обстоятельствами быта. Встречались и люди – настоящие понтонные мосты, которые помогали не только не утонуть в очередном житейском кораблекрушении, но и добраться до берега, ощутить твердую почву под ногами. Но это уже – дела судьбинные.

Первым таким «поплавком» здесь, в Иерусалиме, стала для меня Мира Блинкова. Перед отъездом кто-то из неблизких московских знакомых упросил взять передачку для некой дамы, давно живущей в Израиле. «Она тоже писательница, – повторяла знакомая, – может помочь...». Тогда еще казалось, что писателю в эмиграции может кто-то помочь.

Так и получилось, что буквально в один из первых дней после приезда я ехала «с передачкой» на тридцать втором автобусе в Гило.

...По всему подъезду гремела узбекская, как мне тогда показалось, музыка.

Дверь на последнем этаже открыла пожилая тучная дама с пристальным, я бы сказала – испытующим взглядом.

– У вас тут нескучно, – заметила я после обоюдных церемонных приветствий.

– Это семейка мудаков на втором этаже, – немедленно отозвалась почтенная дама.

Я поняла, что попала к своим.

Но по-настоящему привязалась к Мире Блинковой не сразу. Поначалу, в первый период моей репатриантской эйфории ее высказывания о тех или иных сторонах израильской действительности ошарашивали.

Ее манера внятно и доброжелательно (а порой благодушно, даже сердобольно) отпускать самые беспощадные замечания приводила меня в оторопь.

Хохотать обычно я начинала спустя минуту.

Например, узнав, что мы обзавелись щенком, Мира сказала:

– У нас тоже много лет была собака, пойнтер – милый ласковый пес... Все понимал. Буквально: понимал человеческую речь, малейшие ее оттенки, сложнейшие интонации. Однажды, когда у нас сидели гости, я кому-то из них сказала, даже не глядя на собаку: – Наш Рики – чудесный, деликатнейший пес... – он подошел и поцеловал мне руку... Потом его посадили. По ложному доносу... Но, поскольку у невестки были связи, она добилась свиданий и передач. Он хорошо себя вел, и за примерное поведение его выпустили на волю досрочно... Что вы так странно смотрите на меня?

– Простите, Мира, – осторожно подбирая слова, выговорила я, – очевидно, я задумалась и потеряла нить разговора. О ком это вы рассказывали, кого посадили?

– Рики, нашего кобелька.

Я с тихим ужасом смотрела на собеседницу. И Мира несколько мгновений выдерживала мой взгляд.

– Ах, да, вы же еще не знаете, – наконец сказала невозмутимо, – что Израиль отличается от прочих стран двумя институциями: кибуцами и собачьими тюрьмами...

– Вы шутите! – воскликнула я.

– Да-да, любая сволочь может засадить в тюрьму абсолютно порядочного пса. Достаточно написать заявление в полицию. В случае с нашим Рики: невестка возвращалась с ним с прогулки, и в лифт вошел сосед, менеджер какой-то говенной страховой компании. Рики, в знак дружеского расположения, поднялся на задние лапы, а передние положил тому на плечи и облизал его физиономию. Так этот болван от страха чуть в штаны не наделал. В результате – донос на честного, милого интеллигентного пса и приговор: тюремная решетка на десять дней.

– Но ведь это произвол!

– Конечно, – горько подтвердила Мира, – а разве вы еще не поняли, что приехали в страну, где царит повсеместный произвол?

Ее обстоятельные рассказы о житье-бытье репатриантов семидесятых напоминали повесть бабелевского сказа с южноамериканским фольклором. Колоритные фигуры забытых, уехавших, крестившихся здесь сионистов, распавшиеся браки, романы, как кометы, прошившие насквозь небольшое «русское» общество, – весь этот эпос расцвечивался красочным комментарием.

– Я рассказывала вам о монахе Семке К.? – вдруг спрашивала она. И подхватывала: – Ну, как же – известный сионист и правозащитник, его здесь, как Козлевича, охмурили ксендзы. И он пропал. Бросил семью, сильно пил, ну, как положено монаху. Время от времени появлялся в семьях тех бывших друзей, кто не отказывался его принимать. Однажды пришел к давним своим друзьям. А дома была только невестка, Лиля. Она накормила Семку – борща налила, стопарик поставила. И он так расчувствовался, что даже и не знал – как отблагодарить. «Лилия, – говорит так, сердечно, ласково, – хочешь, я тебя в...у?» (слова эти Мира произносила полностью и обстоятельно, как истинный филолог, уравнивая их в правах с остальными) И представляете, эта дура, эта ханжа подняла страшный крик, вытолкала его за дверь, спихнула с лестницы, устроила такой вселенский скандал, что бедного монаха и в оставшиеся три семьи пускать перестали... Ну, скажите, – не идиотка? Ну, не хочешь, не ко времени тебе – так и ответь вежливо, степенно: «Спасибо, Сема, не нужно. Кушай на здоровье».

Давая характеристику тому или иному человеку, она как бы рассматривала данную личность со всех уравнивающих сторон. Так, от нее я услышала про одну общую знакомую: – Она человек подлый, но простодушный...

И я восприняла это правильно: не как злословие, но как голую правду. Данность некоего характера, преподнесенную зорким и честным наблюдателем.

Но тем, кого любила, была необыкновенно предана.

Не знала я никого другого, кто бы так гениально кормил. Не в том смысле, что готовила Мира замечательно – это само собой! – но так зазывала и так ждала, так красиво расставляла приборы, так обстоятельно-аппетитно разъясняла – какая закусточка – к чему, так радовалась хвале, так следила, чтобы все неукоснительно пробовалось, так докладывала еще кусочек, последний! – на тарелку...

– Понимаете, – объясняла она просто, – я вынуждена была научиться экономно и вкусно готовить...из-за вечно стесненных материальных обстоятельств.

Потом, когда стала стареть и слабость стремительно, она вынуждена была переехать в центр страны, к сыну, и наше общение перешло, в основном, в телефонный ряд.

Любую телефонную трепотню она выстраивала как рассказ – образный, точный. Без неряшливых слов и необязательных отступлений.

– У нас за забором живет семья румынских евреев. Недавно выхожу во двор и вижу: над забором торчат две приветливые старушечьи головы в белых панамках. При ближайшем рассмотрении один из стариков оказался старухой.

Человек обстоятельный и земной, она ценила даже мелкие удобства, которые дарит жизнь на старости лет. Когда они с сыном купили квартиру в Петах-Тикве, с удовольствием подробно описывала новое жилье.

– Соседи приличные, – сообщала Мира. – Это очень важно, как вам известно. Над нами живет пожилой тихий идиот, очень милый человек. У нас с ним только по одному поводу недоразумение: Игорь в лифте не позволяет ему руки целовать.

...И вот, спустя десять лет после начала нашей дружбы, я держу в руках книгу Миры Блинковой*, вышедшую в свет буквально за несколько месяцев до ее смерти – и в который раз поражаюсь тому, как прочно держит бумага наши интонации, манеру говорить, – не только привычные обороты речи, но и обстоятельность дикции, ясность произнесения слова.

Вот что присутствует в этой книге – спокойная внятность. Внятность не только изложенной мысли, весомость – как бы подчеркнутость – деталей, но и паузы между словами, когда – особенно в последние годы – говорить ей мешала легкая одышка, и казалось, что эти заминки перед тем или иным словом только придают значительность всей фразе.

Любая книга воспоминаний бесценна, потому что... Да и объяснять не надо – почему. Потому что люди смертны, и вместе с

* Мира Блинкова. «Время было такое» [Очерки. Портреты. Новеллы.]. Авторское издание. – Тель-Авив, 1998.

ними уходит память, причем память всякая – малая, милая память домашнего обихода и примет быта, удушливая память ночных кошмаров, муторная память очередей длинную в жизнь, и трепетная память запахов, взглядов, прикосновений... – именно то, что одушевляет исторические факты памяти большой. Условно говоря: об эвакуации советских граждан в годы войны наши внуки прочтут в архивных материалах, а вот о том, как на кратких остановках бежали с жестяным чайником через пути «за кипятком», как пьяный инвалид на деревянной тележке растягивал гармонику, о том, как портниха в коммуналке, держа во рту булавки веером, и шепеляво сплетничая, закалывала по лифу выточки на платице из крепжоржета, раз в десять лет сшитом, – об этом в воспоминаниях уходящих, уже ушедших от нас свидетелей.

Бесценные свидетельства о том, как все это было.

(По этому поводу вспоминаю: в середине семидесятых в Ташкент приехал Виктор Славкин. Я водила его по Старому городу и он заскакивал в каждый магазинчик, каждую забегаловку и что-то там высматривал любопытными цепкими глазами. Наконец, мое терпение лопнуло. «Витя! – воскликнула я. – Что ты ищешь в этих лавчонках! В них ровным счетом ничего нет!» – «А я хочу видеть – как нет!» – отозвался Славкин азартно.)

Недавно один из соседей-пенсionеров, человек уже очень преклонного возраста дал мне читать толстенную стопку бумаги – воспоминания. Написано скованно, неумело, подробное перечисление – какие экзамены он сдавал в двадцать пятом году в военную академию, скрупулезно – имена и профессии соседей живших над и под... Короче, весь не разобранный мусор отдельно взятой человеческой жизни он вывалил на эти четыреста страниц...

Читала, не отрываясь, с упоением.

Возможно, тут сказался алчный писательский интерес к реалиям, к тем нечаянным, но драгоценным деталям, которые никакой историк не ухватит.

Что уж говорить о воспоминаниях, написанных профессиональным литератором, человеком умным, приметливым, честным, умеющим, к тому же, из разрозненных, казалось бы, характеров и явлений выстроить образ того времени, о котором мы только в последние годы стали догадываться, что было оно уникальным, мифическим.

Книга Миры Блинковой написана в жанре мемуарной прозы, значит, предполагает, помимо безусловных фактов, и чисто «писательскую работу» – обобщение, подбор деталей, выход на более художественный уровень, когда в работу поневоле вступает механизм «домысливания». Но неизменно, – когда, казалось бы, сюжет так удобно подсказывает логическую развязку, – автор обрывает повествование там, где история закончилась в жизни: «...наверное, я так и не выучусь рассказывать то, чего не было на самом деле». Именно поэтому достоверное и искреннее повествование вызывает у читателя абсолютное доверие и душевный отклик.

На первый взгляд, подбор новелл, очерков, воспоминаний в книге М. Блинковой – даже либретто балета имеется! – кажется случайным, вернее, такими обычно бывают книги, которые пожилой автор издает итогово, чувствуя, что жизни осталось немного. И все-таки – в этом и заключается магия «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», – что, какими бы необязательными, «камерными» не казались темы, какими бы невеликими, домашними не представлялись герои, – глядь, а к концу книги целая страна – и даже со своими восточными окраинами – поворачивается то одним то другим неприглядным своим боком.

Целая страна: тут и соседи по коммуналке, и родственники – каждый со своей судьбой – нелепой, трагической, как бы случайно затерянной в свинцовом мраке советских будней, и стукачи, и бывшие зека; переводчики, мастеровившие «национальную по форме» литературу республик, тут и пронзительные судьбы друзей – погибших или покончивших с собой, портреты известных ученых, как истовых служак советской науки, так и диссидентов, впоследствии эмигрировавших. Есть, наконец, типажи старых большевиков.

Рельефно, точно и беспощадно описаны эти реликты революции. Чего стоит только один академик Ротштейн, секретарем которого в институте Истории несколько месяцев Мире Блинковой пришлось работать:

...Ленина... Ротштейн любил нежнейше, но не обожествлял. Вследствие этого последнего обстоятельства некоторые выступления Ротштейна в институте воспроизводились как анекдоты. Он мог начать так: «Однажды Владимир Ильич попросил у меня разрешения зайти, чтобы посоветоваться по какому-то вопросу. Я был очень занят, но уделил ему целый вечер...» Выступая как-то на защите диссертации, между прочим, заявил, что диссертант ссылается на положение Ленина, а оно неправильное: «Я ему указывал на это, но он, к сожалению, отнесся к моим замечаниям недостаточно внимательно».

Свои анкеты он заполнял так:

«Ученая степень – доктор исторических наук, доктор экономических наук.

Ученое звание – действительный член Академии наук СССР по отделению исторических наук, действительный член Академии наук СССР по отделению экономических наук.

Образование – среднее».

Каждый из персонажей этой книги – и номенклатурные бонзы от науки, и давно ушедшие друзья, и сердобольная стукачка, соседка тетя Паня, и родственники, и просто знакомые люди – разговаривает языком, присущим эпохе, соответственным их биографии, характеру и положению в обществе. Одной фразы достаточно, чтобы какой-нибудь дядя Леша, касимовский татарин, инвалид и алкоголик предстал и запрыгал – совершенно живой! – на своем костыле: «– Ай, Миричкям! Слушай! Давай в «Пекин» пойдём!».

Книга буквально пересыпана диалогами, поданными часто без всяких комментариев, вот как этот, в гардеробной Академии наук:

- Сходи, Петрович, попей чайку, пока буфет открыт.
- Да ты что! Глянь-ка, какие шубы висят! Не дай Бог что, как откуплюсь? Каждая – большие тыщи!
- Это кто же заседает? Дирекция?
- Партком.

Читая книгу воспоминаний Миры Блинковой, населенную самыми разнообразными, очень живо переданными характерами, я не могу отделаться от ощущения вовлеченности в некий круг людей, который способен шириться во времени и пространстве. Цепочка человеческих связей, обрываясь на одном звене, восстанавливается на другом, вдруг обнаруживаются какие-то новые «боковые» цепочки знакомств «через общих знакомых», друзей, родственников. Удивительно это ощущение общности круга жизни.

Например, в одном из эпизодов книги, связанных с эмиграцией А. М. Некрича, я прочла упоминание о журналисте и писателе Марке Поповском. И вдруг вспомнила, как Поповский пришел на мое недавнее выступление в Нью-Йорке, а на следующее у.ро я услышала телефонный разговор Поповского с Юлием Китаевичем, у которого остановилась.

- Читаю этого, модного писателя... – сказал Поповский, – забыл фамилию... Ну, он пишет о командарме гражданской войны...
- О Якире? О Тухачевском..?
- Забыл фамилию... – сказал Поповский.
- Уборевич? Щорс...? – не отставал Юлий.
- Нет, он утонул...
- Чапаев?
- Да, кажется! – благодарно воскликнул Поповский.

В ту минуту я подумала, что этот разговор мог бы органично войти в книгу Миры Блинковой. И еще вспомнила я, что в наших бесконечных с Мирой беседах никогда не набредали мы на Марка Поповского, хотя, кажется, говорили о ком и о чем угодно.

Кстати, в прошедшие после Мириной смерти месяцы, натываясь на неожиданных общих знакомых в разных городах далеких от Израиля стран, я уже не раз молчаливо восклицала про себя: «Не договорили!...»

Мистическое ощущение твоей личной вовлеченности не только в некий, даже широкий круг людей, а в само могучее течение эпохи – и есть, как мне кажется, самое важное, что дарит нам хорошая книга воспоминаний.

И еще: какой бы знакомой и близкой не казалась тебе личность автора, в запасниках его жизни всегда есть нечто такое, что хранится подспудно, раскрывается медленно, по мере движения бегущего по бумаге пера, что оседает, как намываемый старателем золотой песок времени, и остается – нам.

ЛЁНЯ ЧЕРТКОВ

Он любил представлять историю литературы в картинках, например, Любовь Дмитриевну, мощную окно, и не оборачиваясь, в такт движениям тряпки, окликающую с подоконника работающего за столом мужа: «Да поставь ты лучше “Шоколад Миньон жрала”». Он гордился своими успехами в спорте профессионального злословия – родительской чете при предъявлении некрасивого на его взгляд отрока: «Он у вас похож на Эйнштейна». Оповещал о составлении им каламбура «топлесс оближ», да и в последние минуты, что я его видел, двадцать шесть лет тому назад при расходе с предотъездной отвалной, помню его благосклонно кивающим остроте нашего приятеля по поводу вошедших в моду юбок-бананок – «Хорошо ловится юбка-бананка». Приятелю еще предстояло свои четыре отсидеть, у Лёни его пять были за спиной. В тот момент была еще непонятна зловещесть этого фразеологизма. В последующие годы он спиной чувствовал неотвязного соглядата, превратив свою жизнь в подобие некогда любимого им набоковского повествовательного мотива, заступая ногой в ближайшее метафизическое измерение, что мы в общежитии небрежно титулуем манией преследования, и находя своим прозреньям несомнительные подтвержденья. В его рассказе 1981 года «Небесные оркестранты» отведен мемориальный уголок Андрею Амальрику:

«Плошка, зауженная мною в память давнишнего товарища, странным образом убитого на пути в Мадрид. Солнечный Андрей необдуманно выдал себя темной стихии, и она безнаказанно поразила его на пороге полночи.

Бравурная мелодия Моцарта, сопутствовавшая, подбадривая меня, весь этот год, но могшая быть и песней смертельного ужаса, выбиваемой клацающими зубами».

А мне он писал тогда же с оказией («лучше этим путем, я отвык от эзопова языка»): «А вообще жить очень тошно. Самое ужасное, что все вокруг нашпиговано стукачами и кое-чем похуже. Да-да, из благодарного отечества. Тоже одна из трудностей тутошней жизни. Моя мечта – разделаться со славистикой, но куда же еще податься? Так-то вот. И вообще столкнулся за эти годы с такими поразительными образцами человеческой низости, о которых мы, варясь в узком кругу эрудитов, как-то и подзабыли. Прямо персонажи каких-то готических романов. Раньше я страдал без общения, а теперь и видеть никого не хочу. Да всего и не расскажешь».

Он был придиричив, насторожен, скептичен. К литературным репутациям относился подозрительно, если не сам их создавал. В тюрьме он решил воспользоваться предоставленным ему временем и прочесть всего Блока страница за страницей. Прошел весь первый том, и ничто не задело его внимания. С недоумением стал продвигаться по второму, пока не остановило «я пилю слуховое

окошко». Здесь мелькнула ему соприродная поэтика домовитости и насилия, обрамленной бесконечности, с непривычной позой лирического поэта, с подспудным оксюморонам, с метаморфозой ока, превращающегося в ухо, со скрытым образом нестерпимого зрелища пропиливаемого глаза, как в славном буньюзелевском кадре, в свою очередь известном его поколению только понаслышке. И шершавый спил древесины, который синестетически является тактильным аналогом шероховатой расстановке слов в чертковских стихах. Во всем, им написанном, речь и идет по сути о жизни слов в универсуме многоликого насилия, то зверски гримасничающего, то вкрадчивого, как когда его арестовывали у пригородной электрички, тронув руку:

*Я на вокзале был задержан за рукав,
И, видимо, тогда, – не глаз хороших ради, –
Маховики властей в движении узнав,
В локомотиве снов я сплыл по эстакаде.*

*И вот я чувствую себя на корабле,
Где в сферах – шумы птиц, матросский холод платья,
И шествуют к стене глухонемые братья, –
Летит, летит в простор громада на руле.*

Он сел за разговоры – неправильно понимал венгерские события. Когда возвращался, еще не очень понимал, в какую страну. В поезде начал ухаживать за студенткой-попутчицей. Веско сообщил, что он из отсидевших. – «За что?». С шармом:

«Ну за что может сидеть у нас интеллигентный человек?». Девушку озарила улыбка хорошего предчувствия: «За растрату?».

Через несколько лет он разыскал доносчика, завел куда-то в подворотню и хотел было оскорбить действием, да махнул рукой.

После лагеря он попал к добрым людям. Его, политзаключенного, привлекли к работе в «Краткой литературной энциклопедии». Он занимался тем, что двадцать лет спустя стали именовать возвращением имен. Веселые будни этого занятия состояли не только из часов в архивах и книгохранилищах (в том числе и в заманчивых спецхранах), но и в пути от горсправки и старой телефонной книги к уцелевшим свидетелям вытопанной эпохи. К кому-то биография Черткова открывала двери, к кому-то и запирала. Один человек дал полпортфеля книг русских философов, Лёня спросил, сколько ему за это придется заплатить, но ему сказали, что за то, что он унесет из дома небезопасную литературу, приплатить бы полагалось ему самому. Очевидцы былых времен частенько были тронуты зубом времени, многолетним конвейером лжи, возрастной беспомощностью. Собственно говоря, их мастерски изуродованная память и была памятником профессионализму тружеников великого террора. Подпевалы застенка о неприятном поджимали губы, но сообщали смачные нечистоты про убитых. В общем, исследовательские занятия предполагали хороший запас черного юмора. У Лёни он был.

Сказать, что работа эта была прибыльной, нельзя. Шофер грузовика, перевозивший с одной ленинградской квартиры на другую скарб Лёни и его тогдашней жены Тани Никольской, занявший ровно одну шестнадцатую кузова, расставаясь, пожелал: «Богатейте!». Плата заключалась в другом. По цепочке от случайно завалявшейся в питерской коммуналке открытки к неатрибутированной рукописи в архиве, от туманного намека в эмигрантской газете к забытому одинокому пенсионеру, от подозрительно конкретного эпизодического лица в проходной давнишней повестушке к сегодняшней важной персоне открывался затерянный мир теневой литературы, загон лишних и добавочных, обделенных поминанием, лишенных свидания с читателем, закоцитный кацет. Контингент был размечен бирками – фантасты, гротескмейстеры, абсурдисты, чаромуты, сновидцы. Можно, кажется, сказать, что лёнины вылазки в библиотеки, в рукописные отделы, его чаевничанья со старушками изменили для его коллег картину приоритетов истории литературы. Публикационный бум двадцать лет спустя ступал по следам лёниных находок, да так списка и не исчерпал. (А о своих собеседницах он писал из Парижа: «вообще здешние старухи хуже – иметь дело с ними трудно».)

Литературоведение Черткова было, конечно, романтическим, ему не хватало наличной литературы, подобно известному персонажу он подозревал, что где-то существует неслыханная литература, искал ее следы, увлекался и разочаровывался. Он нашел немало утаенных стихов, коллекционировал неслышанные доселе интонации, голосовые гримасы. В стихе он был свой, можно было бы сказать в духе пестуемых Лёней неграциозных каламбуров, свой в ту доску, о которой он выдохнул под конец восьмидесятых –

*Действительно, мы жили, как князья,
Как те князья, кого доской давили,
А наверху ордынцы ели-пили,
И даже застонать было нельзя.*

Он знал в стихе все ходы и выходы, от спросонок процеженного бормота до четко продекламированной эпиграммы, и в современной ему поэзии редко чему удивлялся. Теперь он сам покоится на страницах антологий, а когда-то был тревожно озабочен тем, как должна выглядеть русская поэзия после самого строгого перебора.

В 1972 году он писал мне: «Заходил Шмаков, показывал роскошную, только что вышедшую и действительно бездарнейшую антологию русской поэзии 20 века Достаточно сказать, что в ней отсутствует Вагинов, а в качестве последнего слова русской поэзии приведено «Пусть всегда будет солнце...» – сочиненное, как выяснилось, неким юным Гришей(?) Баранниковым». В юности бывал еще строже: рассказывал, как когда-то они со Стасем Красовицким, взяв Анненского, попробовали его сокращать, и нашли, что если «То было на Валлен-Коски» редуцировать до четырех строф, то стихотворение будет еще лучше. Понятно, что при таких изначальных установках, литературоведом он был в некотором

смысле незаконным, сочинитель вздорил в нем с хронистом, и не неожиданным было его письмо ко мне (совсем не по адресу, вернее, адресованное адресанту, а не адресату) 1979 года:

«...и вообще занялся бы ты чем-нибудь познавательней (и другие тоже) – сколько можно вылавливать блох в проблематичном серебряном веке. Написал бы что-нибудь и сам. Литература ведь (и не только отечественная) – на последнем издыхании». Забавно было, что, надевая форму литературоведа (а какая у них форма? нарукавники? накладные карманы для выписок?), он забывал о правах и привычках противной стороны. Вскоре после отъезда: «Был в Монтрё у В. В. Н. Мои попытки натолкнуть его на его же лит. генеалогию успеха не имели» (Лёня был одним из двух авторов дуриком проскочившей заметки о Набокове в «Краткой литературной энциклопедии»). «Лужин как информант плох. Впрочем сказал, что его приятель в Берлине был Н. В. Яковлев, который дал ему ряд необычных фамилий, в том числе Чорб».

Перед его отъездом я показал ему свою статью, которую переправлял на Запад и в которой Лёне, вместе с Сашей Морозовым и Гариком Суперфином, выражалась благодарность – «чьи многолетние разыскания только отчасти отразились в опубликованных ими трудах». Он нашел формулировку точной. Она и сейчас точна, несмотря на приличные библиографические столбцы, числящиеся за ним. История долгая и не очень нынешнему поколению внятная, но намечалось на исходе шестидесятых такое приватное, изустное, вполне, кажется, профессиональное, но накрытое только на дюжину персон литературоведение, в котором Леонид Натанович Чертков (1933-2000) был, словами Хлебникова, «король беседы за ужином».

Осмотришься, какой из нас не сваян из хлопьев и из недомолвок мглы. Покойный был сваян из эвакуационной неприкаянности, оттепельной слякоти 1955 года, подслеповатого библиотечного света, тюремных снов, жидкого полуморока ленинградских сумерек. Его непременно кто-нибудь назовет поэтом второго ряда прошлого века, как будто поэты выстраиваются рядами. Но ему, может статься, и понравилось бы. Он был партизаном недооцененных и непроявленных, сброшенных с пароходов, списанных в расход, в отставку, в спецхран, в запасник, в сноску, в петит. Вот вспомнилось – защищал кандидатскую по Пушкину В. Э. Вацуру, Лёня написал мне: «К чести Вацуры надо сказать, что он хотел защищать по Хемницеру, что не было позволено ввиду малозначительности этого автора. Так-то, любители малых сих».

Роман Тименчик

«МОЕ СЕРДЦЕ ГОВОРИЛО НА ТОМ ЖЕ ЯЗЫКЕ...»

О Сергее Горном и его творчестве

Александр (Марк) Авдеевич Оцуп (1882 – 1948) был хорошо известен современникам по псевдониму Сергей Горный, взятому по названию петербургского института, в котором он когда-то учился (его другая, менее известная литературная маска – Александр Авдеев, использовавшаяся в театральных и книжных рецензиях). В русскую печать 1900-х – 1910-х годов молодой беллетрист пришел с беззаботно-веселыми стихами, остроумными литературными пародиями и смешными рассказами, успешно конкурируя ими с творчеством своих учителей – Аркадия Аверченко и Саши Черного.

Большевистский переворот и гражданская война привели Сергея Горного, как и многих его сверстников, под знамена Добровольческой армии, где он храбро воевал с красными на юге России. В одном из боев под Екатеринославом (1919) он был тяжело ранен, попал в плен к махновцам, и, чудом избежав гибели, был эвакуирован в английский военный госпиталь на острове Кипр, где лечился долгих полтора года. В автобиографии писатель скупно, но выразительно описал это переломное событие: «Пришли. Ударили штыком. Глубоко заглядывая в глаза, наклонилась смерть. И вся та прежняя жизнь ушла. Навеки» («Калифорнийский альманах»; 1934). С ней ушло и прежнее творческое мироощущение, сменившееся, как у всех эмигрантов, ностальгией по утраченной родине.

На чужбине Сергей Горный начал новую, полную неожиданных поворотов, жизнь. Много лет он прожил в Берлине, где перепробовал себя в разнообразных качествах: выступал на сцене одного из русских кабаре, издавал театральный журнал, не без успеха практиковал в первой профессии горного инженера. Но за всем этим не забывал о главном служении – литературном творчестве, активно сотрудничая с множеством периодических изданий русской эмиграции. Время от времени выходили книги его «избранного» («Янтарный Кипр», «Санкт-Петербург», «Всякое бывало», «Только о вещах», «Ранней весной» и др.), не вобравшие и десятой доли из написанного. Со второй половины 1930-х годов имя Сергея Горного, к тому времени покинувшего нацистскую Германию, практически исчезло из русской зарубежной печати и из памяти соотечественников, заслоненное творчеством его младших братьев – поэтов Николая и Георгия Оцупов (последний известен историкам литературы по псевдониму Г. Равевский).

На чужбине С. Горный писал о многом и о многих, но подлинное вдохновение он нашел лишь в полузабытом к тому времени жанре «физиологического очерка» в его петербургском изводе. Обладая почти фотографической, чувственной памятью, писатель сумел перевести в художественное слово приметы «анатомического» строения российской повседневности и образы ее вещественной среды, заменив при этом обличительный социальный пафос своих давних предшественников ностальгической печалью по безвозвратно утраченному прошлому. Многие рецензенты отмечали, что благодаря его бессюжетным миниатюрам, читателям открылась новая грань петербургского мифа, аккумулявавшая его материальное измерение.

Все без исключения современники Сергея Горного отмечали неповторимую оригинальность и самобытную непохожесть его творчества. Сам же писатель оценивал себя так: «Когда-то мне помог Розанов. Он «узаконил» мою манеру мышления основной рекой и непрерывной сетью мыслей-притоков. Я «стеснялся» себя самого, думал, что я один только такой урод, думал, вживаюсь, веду не так, как все. Он «узаконил» меня в моих собственных глазах... Я работаю, не «стиснув зубы», а просто и безумно-настойчиво, без паники. Во мне сильнее всего кровь моего деда-купца. Это замечательный урод».¹

Судьба и творчество Сергея Горного еще плохо изучены, но одно обстоятельство останавливает на себе внимание. Многие из им написанного говорит о том, что он был православным, искренно верующим человеком, хотя известно, что по рождению старший сын кронштадтского купца Авдия Мордухова Оцуца Марк принадлежал к еврейству. Теперь можно лишь строить догадки о мотивах, определивших уход будущего писателя от веры отцов. Сам он, по-видимому, не любил распространяться на эту тему, лишь самым близким людям намекая на присутствие в своей жизни какой-то мистической тайны: «Как-то давно, выйдя на Васильевском острове из Горного института, я посмотрел на небо – и оно вдруг позвало туда, в голубой провал меж облаков, в разрыв – мою душу. Мне сделалось так хорошо, что я никогда этого мига не забыл».²

Так или иначе, но конфессиональный выбор не отменил его генетической памяти, уважения и живого сочувствия к соплеменникам. Об этом свидетельствует, например, едва ли не единственный «еврейский» очерк Сергея Горного, в котором описана экскурсия по еврейскому гетто в чешской Праге. Он, несомненно, заслуживает перечтения, тем более что после публикации в берлинской газете «Руль» 16 октября 1923 года этот текст более не переиздавался.

Рашит Янгиров

¹ Из письма к Н. Тэффи от 30 октября 1931 года.

² Из того же письма.

Сергей Торный

ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ (ТРАТА)

Плавные потоки окаменелого горя, с отдельными крепкими застывшими ногами: это – покачнувшиеся, застывшие памятники. Иногда – общий вздох, общее покорное согласие, опускали вниз целый пласт земли: это – какие-то души, лежащие рядом, вдруг принимали еще больше мир – Бога и смерть. Целый пласт уходил еще глубже вниз. А вместе с ним памятники – указательные пальцы в небо («помни!»), – склонялись все одинаковой волной. Такая каменная волна, – хорал наклонных труб еврейского органа, – видна через узкую калиточку, через щель меж заборов, домов и каменных стен, обступивших кладбище. Высокие, современные стены, – желтое, штукатурное бессмыслие, окружившее давнюю каменную скорбь.

Высокие стены сжали это кладбище. В самом центре города спрятали его, закрывают собою. Подхода к нему нет. Только щелочки, калиточки меж домами со всех сторон – и сбоку, и с тыла. Вот плоские задние стены: кирпич. Вот тусклый глянец фасадов – стекло, железо и эмаль вывесок у подъездов, закрывающих кладбище, – маленький, зигзагами изрезанный кусок земли. Оставшийся меж болтливой, оштукатуренной, – словно желтоватые мешанские дома – нашей жизни.

Господи! Слышишь ли Ты? Или здесь, на земле. Тебя нет?

«Рабби Бен-Цви».

«Рабби Бен-Авроом».

* * *

Какая-то черная птица, сидевшая на острие памятника (на тупом, изгрызанном дождями ногте указательного пальца), поднялась и перелетела к кустам. Кусты – черные, без листьев. И деревья – старые, в узловатых корчах. В одном месте дерево поцеловалось с камнем. Памятник вонзился в дупло, и оно его обняло древесиной. Оба поняли тщету. Один раньше, другой позже – оба искрошатся, ибо вечен только Бог.

– Что вы сказали? – спросил я проводника.

– Я сказал: вечен только Бог. Это, пане, надпись здесь, на памятнике.

Крючки и певучие буквы. Говорить с Богом можно было только, должно быть, на этом округлом языке, таком медлительно-густом.

Ядрышки в буквах – утолщения и потом внезапно, как вздох облегчения, утонченный штрих. Густое, спокойное основание и певучий изгиб.

Важные, медлительные, непонятные буквы. Возможно, что это – язык Бога. Это – первый язык Единобожия. Просветы меж буквенных ядер, кружочки, катышки, накипания. И вдруг подъем – тон-

кий, как шея жирафа, иди плавный спуск, как лебединое крыло. Вот такая это азбука – на памятниках.

«Бен-Цви».

«Бен-Авроом».

«Рабби Гилель».

Какие буквы. Какой язык. Если Ты ходишь по дорожкам сада (ходишь ведь?), и за Тобю, за Твоим просторным хитоном, шуршащим по осенней листве, ходишь Негорящий, – я хотел бы Тебе сказать несколько слов на этом волнующем языке. Языке Бога.

Я привык к Тебе одному. Ты был нарисован для меня все детство на деревянной доске. Был оваян кадилным ладаном. О своих близких я плакал пред Тобю, вместе с Дамаскиным. В сельской церковке, где луч бил в круглое оконце и, оплывшись воском, была закапана многосвечная стойка. Для меня Ты в сиреневой книжке, что я возил с собою и брал на операцию, когда боялся умереть. В книжечке несколько глав, и первая, самая дорогая, от Матфея.

Но на этой осенней дорожке, – Ты понимаешь меня, – я хочу говорить с Тобю на давнем горестном языке, – Бен-Цви, Бен-Авроом, – и сказать Тебе ту странную молитву, которую сложил какой-то большой Рабби после большого пражского погрома. «Es kol hatloo». Такие странные, волнующие слова. И я верю, что они означают большую скорбь.

– А это что за буква?

– Это «Э», пане.

Такая горестная, всюду покосившаяся буква. С раскрытым рас-трубом наверх, точно лилия с поднятой чашкою – «Э». И, вот, здесь тоже. А это?

– Это «Ш», пане.

Такие черные узлы и точки, набухшие сгустки. Эта буква шипит тремя взвитыми змеями. Понятно – это «Ш».

Железным крюком сцеплены отдельные плиты саркофага, большой семейной могилы. И еще крюк. И еще. Чтобы не расплзлось.

– Это – цадик, пане, который делал чудеса. Это – другой рабби, которого звали Голубем. Здесь выбита птица. Здесь – рыба. Здесь легкий олень. Вышел указ, что евреям нужно принять, кроме имени, фамилию, и они взяли себе прозвища. А здесь лежит Рабби, сделавший из глины чудесного человека, Голема...

«Es kol hatloo». Странная черная птица летела за нами. Вы поняли? Это очень странно, – она перелетела снова на покатый овал изгрызанного пальца. Кто она была, эта птица?

* * *

О Тебе нужно петь, Тебя нужно сыграть. Угрозой и криком взнесть. Стылым камнем смириться. Замереть, замолчать. Укором поднять лес каменных пальцев. Ибо Ты не помог. Слышишь? Ты не помог. Вот и птица, кажется, не верит.

– Не веришь?

Какая-то странная, черная птица. Довольно большая.

Она, должно быть, все знает, и эти буквы с набухшими узлами, и то, что Иосиф II-ой дал этому Бен-Леви право чеканить монету.

Первый еврей.

– Что?

– Первый еврей, получивший такое право. Он чеканил монету. Почему даже этот, даже этот объяснитель спустя пятьсот лет сказал эти слова с такой подобострастной радостью? Станный народ. Вязкие, тяжкие, молитвенные буквы. Буквы-лебеди. Буквы-чаши. Буквы-змеи. Все об одном.

«Es kol hatloo».

О горе.

Боже мой!

– На ночь, пане, цепь закрывалась. Кто не приходил обратно к шести, должен был идти ночевать в деревню. В городе нельзя было. Это было – г е т т о . Городская стража закрывала входы цепями. В шесть утра можно было выходить. Вы еще могли недавно видеть места, где стояли столбы. Вот здесь, недалеко от кладбища. И там, дальше.

И вы знаете, пане, они не имели права носить колец и браслетов. Ходили в темном. Венчали их в синагоге казенными кольцами. Венчали и брали кольца обратно.

Говорил просто, понуро. И хотя была речь заученной и привычной – от нее веяло давнею скорбью. Цветок полыни меж листиков мстительной, обрекающей Библии.

– И прокляну Я детей твоих. И в рассеянии будут жить они. Об этом сказано там теми же буквами сгущенной скорби, буквами накипающего горя. С такими вздохами линий. Передышками. Буквами – чашами. Буквами – цветами. Буквами – шипящими трехголовыми змеями.

– Тогда, пане, был большой погром. Очень большой.

Он увидел пристальный вопрос в моих глазах. Я спрашивал сквозь него все поколения.

– Очень большой, – сказал он. – Очень большой. Земля напиталась кровью. И вот, этот рабби был свидетелем погрома. Он спрятался от смерти и видел все.

Над домами, в просвете, было светло. Там было небо. Корявые пальцы деревьев узлились, как письма. Толстая ветка шла не вверх, а лежачею, круглою линией, бревнышком, словно основание буквы, – а вверх подымались, утоньшаясь, острые ветки. Мое сердце говорило на том же старинном языке и с просветом там, на небе, и здесь, с этим понурым евреем, знавшим все так хорошо о давних погромах, на которых была обречена тоска и смятенью душа всего народа.

Он погладил памятник, точно давно уже сроднился с ним.

– Он видел все это, пане, сидел и все видел. И составил молитву к Богу. О том, что женщин тогда много убили, и мужчин. В земле было много крови.

Я посмотрел на землю. Она ничего не отвечала. Простая, чуть влажная, – она просто и мягко роднилась с теми, что, сжавшись и скрюченно, прилегли в гостях у нее. Небо там, над нами, было как

эмалевый просвет, свободный и тоже спокойный. «Им нет никакого дела до нас, – подумал я. Небу, земле. Мы жалуемся обтесанным камням и кажем указательными пальцами на Бога: видишь, что наделал. Но Его нельзя дразнить. Значит, Правда не здесь?..»

* * *

Трудно выйти из оцепенения, из заколдованного круга. Я рванулся и выбежал. Мимо эмалевых дощечек, желтых и кремовых стен, по гулким, ничтожным тротуарам.

В тот полдень шла панихида в костеле. Среди пышных отяжелевших завитков и золотых ангелов барокко. Служба шла русская. Перед скульптурным, певучим Христом – поставили Простого, скорбного, оваянного ладаном наших дум, нашей любви.

Я только что пришел оттуда, от большой Обиды, от молитвенных букв. Букв, как чаши, как лилии, как стылые змеи. Пришел я от деревьев, повторявших шипящее «Ш», открытое, емкое «Э». И от поломанных пальцев – каменных трубок органа, – великой Обиды. Пришел к певучим, тяжелеющим сводам, золоченым ангелам, белым колоннам. И вот, увидел впереди вынесенный маленький иконостас большой, невыразимой Распятой Любви.

Я Ему сказал обо всем, что видел.

«Es kol hatloo», – сказал я Ему на языке скорби и обиды.

И, вы знаете, – Он меня понял. Дамаскин пел о надгробном рыдании. Шлейф священника, большой и траурный, с чужого плеча, подметал чужие плиты собора. Но на маленьком иконостасе, на золоченом поле была голова Того, Кто звал прочь от земли, без обиды, без ненужных надежд, к потоку любви. Просто любви.

И я Ему все рассказал. Я говорил с ним на неведомом мне до сих пор языке. Я жаловался Ему за них. За рабби Бен-Цви. За рабби Бен-Авроома. За того рабби, что был свидетелем погрома и молился потом. За своего проводника, понурого, тоже обиженного. За черную птицу, которая, понятно, была не просто птицей. И, понятно, за того, кому Иосиф II-ой, – да, Иосиф II-ой, позволил чеканить монеты. За всех них говорил я. За всех, что возвращались к шести, к пикету городской стражи. Что стояла с алебардами, в шлемах и перьях. За всех, что колец не носили. За их черные платья. За понурую согбенность, как у проводника. За птицу молчаливую, что, понятно, была не просто птицею.

И говорил я Тому, Кто был благостен и светел в потоке вечности. «Царствие же мое не от мира сего есть». Говорил Тому, Кого на деревянном, окуренном ладаном складне просили – и звали поколения детских и верящих душ. И воск оплывал по душе и по пальцам. Тот воск неземного хотения, которого не было на кладбище. И Он меня понимал.

* * *

Я говорил ему все.

Говорил языком, где буквы, как чаши, как лилии, как змеи. Языком обиды.

Я говорил...

Михаил Агурский

*ЭПИЗОДЫ ВОСТОМИНАНИЙ**

Подошла наша сиамская кошка Ялка. Я поманил ее: кис-кис-кис. Напкин удивился:

– Мы в Голландии зовем кошек: кц-кц-кц.

Не желая упустить оказию, я предложил Напкину взять с собой часть моих бумаг. Напкин вежливо, но твердо отказался.

К столу под села Тата.

– Тата! – сказал я по-русски. – А правда, этот тип похож на Валу Турчина?

– Не думаю, – пожала она плечами.

Напкин заторопился и быстро ушел. Минут через пятнадцать позвонил Наум Коржавин. Не дав ему сказать ни слова, я торжествующе спросил:

– Ну, Эмка, как ты думаешь, сколько я получил за статью в "Таймс"?

– Ну, сколько?

– 250 фунтов!

Эмка почему-то захихикал, что мне показалось неуместным.

– Слушай, – продолжал он хихикать, – к тебе никто не заходил, похожий на Турчина?

– Да-а-а... – протянул я, и вдруг жуткая мысль ослепила меня.

– Ха-ха-ха! – неслось из трубки.

Я был жестоко разыгран. Только что вернувшийся из Карелии, Турчин отрастил там бороду. Первым делом пошел к Коржавину и неожиданно убедился, что его не узнают. Он сразу притворился иностранцем и сказал, что пришел по рекомендации господина Авербуха из Израиля, что он представляет издательство "Иегуда". Ему нужны стихи Коржавина. Теща Коржавина сказала:

– Эмочка! Смотри, как этот иностранец похож на нашего собачника! (так она звала Турчина).

Тут Турчин проявил малодушие и рассмеялся. Воодушевленный успехом, он побежал ко мне.

С тех пор я не раз пытался отомстить: посылал Турчина на почту за посылкой, делал другие мелкие гадости, но ничего эквивалентно великого придумать не мог.

Но деньги из "Таймса" я все же получил, хотя не 250, а только 30 фунтов. Для их получения пришлось явиться в официальную инстанцию и оформить перевод, прямо адресованный из газеты. Чиновник очень удивился.

– А как это вы печатаетесь в буржуазной газете?

* Публикацию подготовил С. Гринберг. Окончание. Начало см. в №№ 2 – 4.

– Я опубликовал положительную рецензию на одну из советских энциклопедий.

После консультации он дал мне разрешение. Я не замедлил истратить первые иностранные деньги в "Березке".

ШИМАНОВ

Молодым славянофилам

Снова снится пух перин.

Наум Коржавин

До меня давно доходили слухи, что Генмих Шиманов стал русским националистом и антисемитом, несмотря на свою милую полуврейскую жену. Имя его связывали с новым самиздатовским журналом "Вече", разговорами о котором полнилась Москва. Спрашивали, почему ГБ не преследует этот журнал, и делали заключение, что он находится под покровительством. Летом 72-го года я навестил Генмиха. Было любопытно, что это за "Вече" и правда ли, оно антисемитское. Генмих принял меня дружелюбно, но метал громы и молнии в адрес "евреев", козни которых были повсюду. Он уже расстался с демократической деятельностью, ибо она служила еврейским интересам и была "антирусской". В его разговоре мелькали новые имена. Особенно он хвалил критиков Олега Михайлова и Михаила Лобанова.

– Хорошо! – согласился я. – Если вы так против евреев в России, вы должны понимать, что сионистское движение этот вопрос решает. Давай я напишу открытое письмо в "Вече".

– Я передам, – неуверенно сказал Генмих. – Сам я ничего не могу сказать.

Я тогда слишком преувеличивал его связи с "Вече". Через некоторое время он позвонил:

– Это невозможно. Люди не согласны.

– Ну, как знаете.

ЛИВАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО

Я араба уговорил:

Плюнь на догму, люби свинину!..

Она мясистой, жирнее – кушайте,

С перцем, с хреном

И с аппетитом –

Сразу израильтяев победите!

Олжас Сулейменов

В сентябре в Мюнхене арабскими террористами были убиты израильские спортсмены. Днем того же дня позвонил Белоцерковский и просил срочно прийти. Когда я пришел, он сказал, что

в 6 вечера около ливанского посольства будет демонстрация. Организаторы демонстрации предупредили об этом Моссовет.

Я не мог устранился: я был глубоко потрясен мюнхенскими событиями и отправился троллейбусом на Садовое кольцо, где находилось ливанское посольство. С самого начала я почувствовал следы грубой провокации. Кто-то был заинтересован в этой демонстрации! Я понимал, как и всякий советский человек, что если власти хотят что-то предотвратить, они хорошо знают, как это делается. Начиная с Лихова переулка до Самотечной площади были согнаны сотни милиционеров, преимущественно старших офицеров. Однако они умышленно не закрыли подход к посольству, что было раз плюнуть: поставить преграду и все. Но этого-то как раз не было сделано!

Около Лихова я встретил Володю и Машу Слепак и других и присоединился к ним. Плечом к плечу мы пошли в сторону посольства. Милиция не мешала. Правда, навстречу выскочил полковник и притворно закричал:

– Куда вы идете?

Не говоря ни слова, мы его обошли с двух сторон. Через несколько минут около посольства собралось около сотни человек. Нас явно заманивали, но почему-то прямо к посольству. Как только набралось достаточное количество демонстрантов, нас немедленно окружили. Около посольства, несколько вдали от всех, стоял пожилой человечек в штатском, который вдруг дал сигнал рукой и, как по мановению волшебной палочки, откуда ни возьмись подъехали автобусы. Тот же человечек показал рукой на Виктора Перельмана, милиционеры выхватили его из толпы, вывернули руки, разорвав на нем плащ, и запихнули в автобус. После этого принялись запихивать остальных. Я сам направился к автобусу, не сопротивляясь. Вдруг меня толкнул в спину милиционер.

– Я иду сам, – объяснил я.

– Ах, ты сам! – заорал милиционер и принялся толкать еще сильнее.

Александр Яковлевич Лернер кричал из автобуса:

– Они ответят за все!

Нас повезли в район метро Сокол в отделение милиции, которое уже было знакомо ветеранам. Там всех загнали в комнату с железными койками без матрасов. Лидерство немедленно захватил Белоцерковский. Как Ленин на броневик, он влез на койку и стал вслух сочинять письмо протеста, красной нитью которого было желание вернуться на родину предков. Не отставал и Перельман. Я сидел в стороне, относясь ко всему пассивно. Стали вызывать по двое. Меня позвали с Перельманом. Хотя каждого допрашивал отдельный следователь, все происходило в общей комнате. В углу молча сидел полковник милиции, а сзади стоял огромный пузан в штатском, явно большой чин. Перельман принялся жаловаться на побои и разорванный плащ. Хотя это происходило у всех на виду, следователи начисто отрицали:

– Вы сами порвали.

Я разозлился и вмешался:

– Хватит морочить голову. Я внимательно за всем наблюдал, вы были заинтересованы в демонстрации! Не хотели бы, так ее и не было бы.

Полковник взорвался:

– Но мы же предупреждали, чтобы вы не шли!

Вмешался пузан:

– Нечего разводить философию. Времени нет!

Выйдя из отделения, я узнал, что в соседней комнате находилась задержанный одновременно с нами академик Сахаров.

Через два месяца многие из демонстрантов уехали. Уехал и Белоцерковский, историческая родина которого оказалась не в Израиле, а в Мюнхене, на радио "Свобода".

Для меня же последствия демонстрации обнаружались очень скоро.

ЗАГАДОЧНЫЕ СОБЫТИЯ

*Когда мы с дьяволом схватились насмерть,
Мы победили – сатана помог.*

Олжас Сулейменов

Через месяц после демонстрации ко мне явился участковый, чтобы выяснить, где я работаю. Я объяснил то же, что и следователям после демонстрации: внештатный референт ВИНИТИ, после чего меня вызвал инспектор Черемушкинского отделения милиции и занес сведения о моей работе и источниках заработка в протокол. Вскоре снова явился участковый, и на сей раз ультимативно потребовал, чтобы я устроился на работу. «В противном случае, – сказал он, – против вас будут приняты меры как против тунеядца». Он настаивал, чтобы я устроился именно в ВИНИТИ. Я объяснил, что там нет штатных референтов. По правде говоря, я работал там незаконно, так как по положению ВИНИТИ могло давать переводы только работающим или же пенсионерам. Участковый сказал, что милиция сама обратится в ВИНИТИ, чтобы меня трудоустроили. Я заметил, что, если они туда обратятся, я сразу потеряю там работу.

Надо было что-то срочно предпринимать. В юридической консультации профсоюзов меня ознакомили с инструкцией 58-го года, согласно которой внештатная работа сохраняет право на трудовой стаж, и этот статус является законным.

Я решил применить хитрость. Уже во время демонстрации я стал догадываться, что существует конфликт между милицией и ГБ, и, вероятно, милиция спровоцировала демонстрацию, чтобы показать, что ГБ, мол, распустило евреев. Исходя из этого предположения, я написал жалобу в милицию с копией в ГБ, в расчете вызвать их столкновение, если действительно такой конфликт существует. Если же нет, я ничего не терял.

Отослав письмо, я позвонил в Черемушкинское отделение милиции. Начальник сказал, что действует по команде свыше, что он

еще раз проверит, но если снова получит команду, то церемониться со мной не станет.

В это время начались необычайные вещи, назлектризовавшие отказников. Человек пятнадцать, в том числе и меня, вызвали в ОВИР. Я не ждал разрешения и готовился к длительному ожиданию. 22 ноября меня принял человек с вкрадчивыми вежливыми манерами. Это был легендарный Леонтий Кузьмич, которого одни считали полковником ГБ, другие генералом. Вместе с ним в кабинете был заместитель начальника Московского ОВИРа майор Золотухин, который молчал. Кузьмич назначил день, когда комиссия ОВИРа вынесет решение по моему делу, и что, как он думает, решение будет положительное, ибо, объяснил он, есть понимание, что к настоящим секретам я доступа не имел. Примерно в таком же духе Кузьмич говорил и с другими. Не всем он обещал немедленное решение, но обещал внести ясность в сроки ожидания.

Дальше началось и вовсе уж невероятное. 25 ноября мне позвонил заместитель начальника Черемушкинского районного отделения милиции и исключительно дружелюбно попросил извинения:

– Наши товарищи допустили ошибку. Вы же работаете внештатным референтом? Ну и прекрасно! Имеете право на стаж? Замечательно! Работайте на здоровье! Вы приносите обществу пользу. Живите спокойно и не беспокойтесь.

Я был в восторге. Моя гипотеза была верной. Но так как, по словам Кузьмича, я мог ждать уже разрешения на выезд, это меня мало касалось. Но и это было не все. 28 ноября раздался звонок из ГБ. Сотрудник, назвавшийся Александровым, сердито спросил меня, почему я обратился с моим письмом также и в ГБ.

– Я считал, – соврал я (на самом деле я полагал как раз обратное), – что между действиями милиции и КГБ есть некоторая связь...

– Никакой такой связи нет, – отрезал "Александров". – И впредь на неправильные действия милиции следует жаловаться в прокуратуру. Нам бы очень не хотелось с вами встречаться.

Все это звучало ободряюще. Происходила схватка между ГБ и милицией. На самом деле, число участников схватки было больше. Но опять, повторяю, это меня уже не волновало. Я вот-вот ждал разрешения.

ИЛЛЮЗИОНИСТ

На сатану поднялся водяной.

Забавные у черта имена.

Олжас Сулейменов

7 декабря я пришел в ОВИР. Комната, куда меня вызвали, была полна старших офицеров МВД. Хозяином был генерал-лейтенант Сорочкин. Золотухин был, а вот Кузьмича не было. Вообще не было людей в штатском. Интересно!

Сорочкин не церемонился:

– Комиссия, рассмотрев ваше дело, решила вам отказать...

– Простите, но неделю назад в этой же комнате мне было сказано, что я, скорее всего, получу разрешение.

– Кто вам это сказал?!

– Как кто? На вашем месте сидел человек вместе с товарищем Золотухиным.

– Никого здесь не было (!!!).

Золотухин молчал. (Вот это да!).

– Как не было?

– Ничего нам об этом неизвестно! – твердо сказал Сорочкин.

– А если спустя некоторое время на ваше место сядет еще кто-нибудь и скажет, что вас здесь не было? – разозлился я.

Высшие офицеры засуетились:

– Прекратите такой тон!

– Знаете, – пошел я дальше, – я вас тогда не просил о разрешении. Зачем нужно было выводить из равновесия и внушать надежды?..

Такой же фокус был разыгран с другими. Евреи решили, по обыкновению, что это игры властей с целью лишний раз поиздеваться. У меня было достаточно здравого смысла, да уже и опыта, чтобы убедиться, что это не игра, а схватка двух сил. Кузьмич от имени ГБ в молчаливом присутствии сотрудника МВД Золотухина пообещал, а Сорочкин от имени заклятого врага Андропова – Щелокова – переиграл Кузьмича и даже не пустил его на заседание комиссии.

Я понял и другое. Меня прямо провоцировали на какие-то действия. Не считая демонстрации, в которую я был втянут Белоцерковским, я ни в чем не участвовал. Раз так, решил я, буду действовать. В тот же вечер я накатал издевательскую жалобу в МВД с копией в ГБ на то, что в помещение ОВИРа проник иллюзионист с провокационными целями. Я просил срочно изловить его и указать приметы. Жалоба эта имела успех среди отказников, и ее сразу переправили на Запад. К моему большому удивлению, приехав в Израиль, я обнаружил, что мое письмо переведено на английский в Бюллетене комитета ученых по содействию евреям СССР как пример юмора.

Так начал я свою публичную эпистолярную кампанию.

В это время было неожиданно объявлено о введении налога за обучение для выезжающих из СССР. Это было взрывом бомбы. Суммы денег, которые надо было платить, были астрономическими. Перельман уже имел разрешение, но и от него требовали несусветную сумму. Он отказался платить и начал борьбу за отмену налога. В этом все московские активисты были едины. Но появились и штрейкбрехеры. Рижанин Герман Бранновер демонстративно заплатил гигантский налог за свою докторскую деньгами Любавического ребе. Понимал ли он, какой вред этим приносит? Не знаю, чем он оправдывал свои действия: бегством Йоханана бен Заккая из Иерусалима в Явне? Примером доктора Кастнера?

Спустя несколько дней мне позвонил Виталий Рубин:

– Поздравляю! Твоя статья в "Нью-Йорк ревью оф букс"...

– Какая еще статья?

– О книге Юрия Иванова.

Виталий, в отличие от многих, был всегда рад чужой удаче. Были и такие, которые воспринимали чужой успех как личное несчастье.

Виталию передал журнал с моей статьей от 16 ноября корреспондент "Таймс" Джим Шоу, удивленный, что такая статья была послана из Москвы.

Стало быть, когда "Александров" звонил мне, он наверняка о ней знал...

В конце декабря большая группа евреев была арестована на две недели за демонстрацию у Президиума Верховного Совета. Я в демонстрации, по обыкновению, не участвовал. Вдруг Веру, уже вернувшуюся на работу в поликлинику, вызвали к главному врачу. В кабинете сидели парторг и представитель райкома партии. Ее обвинили в том, что она демонстрировала у Президиума.

Последовало длительное промывание мозгов и выяснение моих связей, после чего Веру настойчиво попросили никому не рассказывать ни об этом разговоре, ни о том, что она подала документы на выезд.

Узнав об этом, я немедленно пожаловался в райком, требуя ответа, по чьей вине Вера явилась объектом провокации...

Статья в "Нью-Йорк ревью оф букс" решительно изменила мою жизнь. В январе 1973 года мне позвонили из Лондона, потом из Америки. Часто стали звонить из еврейской школы в Нью-Джерси. Пользуясь случаем, я начал передавать по телефону заявления. Одно из них было направлено против книги Юрия Колесникова "Земля обетованная". Затем я выступил по телефону на митинге еврейских студентов Мичиганского университета по случаю праздника Песах.

Другая моя статья, против Гробмана, в связи с его обвинением Солженицына в антисемитизме, вышла в Израиле и на русском в газете "Трибуна", а спустя некоторое время появился текст рецензии на книгу Юрия Иванова, на сей раз в "Нашей стране", сообщившей обо мне как о неизвестном московском еврее.

В апреле позвонил Саня Авербух и передал трубку... Даниэлю Руфейзену. Даниэль говорил по-русски с сильным польским акцентом. Материализовался человек, которого я заочно почитал вот уже лет восемь. Саня проявил широту души, связав меня с Даниэлем. Он не знал, какая внутренняя эволюция совершалась во мне.

Я тщательно уклонялся от любой попытки выдвинуться среди московских сионистов, опасаясь, что тут же сработает интрига, и меня начнут клеймить как христианина.

Существовали вожди: Польский, Слепак, Хенкин, Лернер, Воронель. Я держался в стороне и ни с кем не конкурировал...

СМИТ И КАЙЗЕР

Уезжая в Англию, Жорес Медведев договорился, что сдает Турчину и мне свои контакты – Хедрика Смита и Роберта Кайзера, представлявших "Нью-Йорк таймс" и "Вашингтон пост". Было решено, что мы будем встречаться у меня дома. Встречи наши были очень дружественными, Боб и Рик много нам помогали. Говорили мы не таясь, хотя я отлично знал, что у меня, со времен Бонавии, на чердаке (я жил на последнем этаже) установили микрофон. Я исходил из принципа, что от ГБ не скроешься, а поскольку я не планировал подпольной и террористической деятельности, то предпочитал все делать открыто, в отличие от наивного большинства, игравшего в прятки с могучим и технически оснащенным аппаратом ГБ.

Я отлично видел, что ГБ почему-то не препятствует нашим встречам. К лету 73-го года я понял, что приобрел определенное влияние на иностранный репортаж, влияние, начавшееся со знакомства с Бонавией. Рик, кстати, первым принес мне книгу Бонавии о его пребывании в Москве, где тот выделил меня из всех, с кем он общался, как лучшего наблюдателя...

Я ожидал, что вот-вот мои отношения с Журналом московской патриархии прервутся. Это было вопросом времени. Я уже нарушил правила игры. Точнее, меня вызвали на это, но так или иначе, моя активность зашла слишком далеко. Вскоре после дебюта на телефонных митингах мне сообщили, что пока мои библиографические труды следует приостановить.

Не было никакого смысла беспокоить Питирима. Он многим мне способствовал и, самое главное, помог сформироваться как историку и журналисту. Никому из "внешних", не говоря уже о евреях, не было дано сотрудничать так тесно, так интимно с Патриархией, как мне. На Пасху 73-го года я еще получил последние приветствия от Антония и Филарета и, разумеется, от Алексея Остапова.

Но как раз ему-то и был нанесен в это время смертельный удар. Ночью в его дом явились сотрудники ГБ для обыска. Остаповых обвиняли в хранении валюты. Валюта, возможно, и была, но она была там всегда, и это раньше никого не трогало. Дом перевернули вверх тормашками и сразу выяснилось, что дело вовсе не в валюте. Забрали все: бесценную коллекцию религиозного искусства, иконы, утварь, монеты и т. п. Но самое главное, забрали всю его рукописную коллекцию. Валюта была лишь предлогом для карательной операции.

Отец Алексей сломался. Говорили, он запил. Я не мог больше посещать его в моем положении. Последний раз я видел его издали в Александрове, когда он участвовал в отпевании Андрея Сергеенко. Мы понимающе раскланялись издали.

ГРОДНО

Местечко – праздничная свеча.

Догорая, медом запахла свечка,

Воспоминаний давних печаль

Вместе со мной бредет по местечку.

Изи Харик в переводе Р. Сефа

Летом я решил поехать в Литву. В Друскениках отдыхал мой двоюродный дядя Макс Шапиро. Макс стал правоверным хасидом и регулярно посещал московскую синагогу. Был там еще в это время московский гипнотизер Шкловский. Раз в году он собирал со всех концов страны заик и лечил их гипнозом.

Шкловский не только просил меня приходиться на его сеансы, но и обязательно садиться в первый ряд.

Сущность его метода лечения заключалась в следующем: с помощью гипнотических действий он добивался того, что в течение минут десяти–пятнадцати заики начинали плавно разговаривать. Это не приобретало устойчивого характера, но вселяло надежду, что они могут избавиться от своего недостатка. И действительно, у многих намечался после этого прогресс.

Шкловский вызывал нескольких человек и в присутствии всех остальных, в том числе и не заикающихся (в этом и была моя функция), после нескольких упражнений втягивал пациентов в ритм нормальной речи.

Этиология заикания была самой различной. Большинство пережило испуг в детстве. Были такие, которые заразились (!) от своих родителей. Были, кто не заикался в разговорах со знакомыми, но заикался в присутствии чужих, в особенности при публичных выступлениях, как, например, один преуспевающий архитектор. Одна красивая молодая скрипачка, у которой поклонников было хоть отбавляй, начинала страдать от заикания при появлении соперницы в одной с ней компании. Были простые люди, были известные ученые.

Тем, у кого заикание было вызвано внутренними авторитарными амбициями, Шкловский старался, так сказать, ломать гордыню. В лицо одному пациенту он при всех выплеснул стакан воды.

Были очень тяжелые случаи, когда люди полностью теряли способность членораздельной речи. Одну очень миловидную девушку Шкловский ввел в глубокое гипнотическое состояние. Во сне она начала говорить ровно, без всякой тени заикания. Она описывала, как с дорогим для нее человеком плывет в лодке. До этого она почти не могла говорить членораздельно.

Были заикания, сопровождавшиеся ужасной гримасой, как, например, у одного красивого еврейского мальчика. Гримаса исчезла у него в те четверть часа просветления, которые ему дал Шкловский...

Выбирая Друскеники местом своего отдыха, я преследовал старую цель: побывать в Гродно, находившемся оттуда в часе езды. Наконец, моя давняя мечта сбылась. Первым делом я напра-

вился в музей, который располагался в старом замке на высоком берегу Немана. То, что я не нашел там даже упоминания отцовского имени, меня не удивило. В гродненском музее вообще не было ни слова о том, что в этом городе когда-то жили десятки тысяч евреев. Будто тут их никогда не бывало. Здесь хотели начисто изгладить из памяти страны всякое упоминание о евреях. Мне тоже здесь не было места. Мы были вычеркнуты из исторических списков. Уезжал я из Гродно с тяжелым сердцем...

НАЧАЛО ДИССИДЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После того, как я вернулся в Москву, мне позвонил Шиманов и сообщил, что люди из "Вече" теперь не против, чтобы я написал открытое письмо по еврейскому вопросу. Я передал ему такое письмо. Не скрою, что когда я писал его, то руководствовался желанием вызвать поляризацию между религиозными и политическими националистами, впадавшими в еврейском вопросе в расизм. Я высказал идею, что русский национализм, сосредоточенный на интересах своего народа, и сионизм – не враги друг другу и, более того, имеют общие интересы.

Я, кстати, передал для "Вече" номер журнала Survey со статьей Дмитрия Поспеловского с анализом русского национализма в СССР...

Началась разнузданная кампания против Сахарова. Поразило меня в ней одно обстоятельство. Среди подписей академиков, осудивших Сахарова, стояла и подпись Бориса Николаевича Петрова, одного из наиболее высокопоставленных "религиозников" СССР, о котором я рассказывал. Борис Николаевич был слишком независим, чтобы его могли примитивно заставить сделать это. Я уверен, что он подписал документ по доброй воле, что никак не вязалось с обликом кающегося христианина, каким я его случайно видел во время исповеди. Петров был спиритуалистом, полагая, вероятно, что вся внешняя деятельность не имеет значения, но не исключено, что за его поступками стояла националистическая философия, в силу которой он верой и правдой старался служить величию Третьего Рима.

ОБЫСК У СЕМЕКИ

Ираклий, Тихон, Лев, Фома

Сидели важно вокруг стола.

Николай Заболоцкий

В эти дни произошло странное событие, которое я до сих пор затрудняюсь правильно истолковать. Лена Семека, востоковед, служила важным каналом передачи на Запад рукописей. Через нее было переправлено множество материалов. Когда появлялся "терминал", забиравший рукописи, она предупреждала друзей, и они при-

ходили с "товаром". На этот раз собралось много людей: Павел Литвинов, Боря Шрагин, Эдик Зильберман, Наум Коржавин и другие. Я знал об этой дате, но что-то в тот день мне помешало прийти.

"Терминал" прибыл часов в одиннадцать. Через короткое время после его прихода явилась милиция для "проверки документов" у мужа Лены – Миши Панкратова. Жили они на первом этаже в доме на в улице Вавилова. Лена и Миша вышли в тесную прихожую, закрыв за собой дверь в комнату, где сидели перепуганные гости, начавшие спешно жечь принесенные бумаги. Милиция, проявляя поразительную вежливость, топталась в прихожей, в то время как из комнаты потянуло горелой бумагой. "Терминал" выпрыгнул в окно, оставив шубу на вешалке. Дав возможность произойти многим вещам, милиция все же вошла в комнату, забрала лежавшие в прихожей портфели с рукописями и проверила документы у присутствующих.

Интересно, что милиция не обратила внимания на вопиющие странности во время проверки документов и обыска.

Позже, кстати, выяснилось, что они сумели даже сфотографировать "терминала", прыгающего в окно, но не стали его задерживать. Что это значило? Признаюсь, я не имею удовлетворительного объяснения. Никто не пострадал, все присутствующие вскоре уехали из страны без каких-либо препятствий...

Когда началась Война Судного дня, Наум Коржавин страшно разволновался и проявил исключительный патриотизм. Он при мне сделал заявление, что сам готов идти на фронт в Израиле. Кто хорошо знает его лично, может по достоинству оценить его предложение. Тут-то ему и дали разрешение. Жена его, Любаня, не позволила ему колебаться и настояла, что надо ехать в Штаты. Уверен, что она сделала ошибку.

Уезжали они в конце октября. На проводы собралось много людей. Я мирно беседовал на кухне с философом Карякиным. Водка кончилась, и темные инстинкты подвигли меня на безобразный поступок. Я наполнил пустую бутылку водой и, вернувшись на кухню, сказал:

– Вот, одна нашлась!

Карякин страшно обрадовался, налил стакан, но когда поднес его ко рту, изменился в лице. Помрачнев, он сказал с тихой укоризной:

– Больше так никогда не делай.

Да, это был гнусный поступок...

ЗАПИСКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

А я, я должен был со стороны смотреть...

Проклятое бессилье!

Арон Кушников в переводе Д. Бродского и Л. Руст

Сюрреализм моей жизни усугубился тем, что, когда заболел Матвеенко, редактор серии экспресс-информации ВИНТИ, мне

предложили работать вместо него. Я должен был дважды в неделю приходить в ВИНТИ для просмотра свежих иностранных журналов и отбора интересных статей для перевода и реферирования. От меня стал зависеть заработок десяти-пятнадцати человек, ибо только я определял, кому должен быть направлен тот или иной материал. По моим указаниям делались фотокопии, посылавшиеся референту на дом. Полученный перевод редактировался тоже мною и передавался на техническую обработку. Среди референтов были ведущие специалисты в той или иной области, некоторые из них работали в военной промышленности.

Напомню, что я создал миф, что до сих пор работаю в ИАТе и хотя, как оказалось, в ВИНТИ были и посвященные люди, многие в это верили. В начале 74-го года, когда однажды я выходил из комнаты редакции, один из референтов, бывший главный инженер крупной организации, сидевший в той же комнате, вдруг вышел вслед за мной.

– Простите, это вашу статью передавала "Немецкая волна"?

– Мою, – как ни в чем не бывало ответил я.

– И вы работаете у Трапезникова?

– Да, – соврал я.

– И ничего?

– А что тут такого? – притворно удивился я.

Не говоря ни слова, бывший главный инженер пожал мне руку и вернулся в комнату. В дальнейшем, встречая меня, он на эту тему не говорил.

В ВИНТИ я встретил одного одессита из ЭНИМСа, который уже успел защитить диссертацию по методике моей диссертации. Она прошла "на ура", но было запрещено ссылаться на меня в библиографии.

Сюрреализм нарастал. Через несколько дней после высылки Солженицына и после того, как наше обращение в его защиту было передано по радио, меня пригласил к себе главный редактор журнала ВИНТИ. Я ждал чего угодно, но не того, что услышал. Мне поручалось составить записку для правительства (с моей подписью) о тенденциях автоматизации на Западе с рекомендациями для советской промышленности. Я быстро ее составил и даже рекомендовал внедрить для автоматического составления технологических языков программирования язык, разработанный Валей Турчиным.

ВИНТИ как бы не замечало моей политической деятельности. А ведь выбросить меня оттуда было проще пареной репы – просто не давать работы, я же был внештатником. Потом выяснилось, что ВИНТИ следовало инструкции ГБ – на этой работе меня не трогать. В ВИНТИ я получал тогда денег больше, чем многие высокооплачиваемые инженеры, и это не было единственным источником моих доходов.

СТЫЧКА С ПРОСОВЕТСКИМИ СОВЕТОЛОГАМИ

В начале 74-го года Боб и Рик передали мне номер "Нью-Йорк ревью оф букс", где было опубликовано письмо некоей Этель Данн

против моей статьи о книге Юрия Иванова. В письме утверждалось, что в СССР никакого антисемитизма нет и что я допускаю передержку нарочно, путая антисемитизм с антисионизмом. Там же было опубликовано письмо Питера Раддауэя, в котором Данил вежливо опровергалась, причем Питер сожалел, что сам я не могу ответить на письмо Данил. Это было мое первое знакомство с разветвленной корпорацией просоветских советологов, поставивших себе целью во всем оправдывать СССР, представлять его жизнь как нормальную. Частично это объясняется непониманием советского общества, частично идеологией самих советологов. Такие люди причиняют западному обществу огромный вред, делая западную молодежь, которой они все это внушают, слепой силой в руках советской пропаганды. Прикрываясь якобы научной объективностью, они дают злостно неверные советы политическим деятелям. Я с удовольствием ответил этой даме, и мое письмо вышло в "Нью-Йорк ревью оф букс" в начале марта. Но это было лишь началом длительной борьбы.

ГИБЕЛЬ АЛЕКСЕЯ ОСТАПОВА

Где твое, Смерте, жало?

Где твоя, Аде, победа?

Огласительное слово Иоанна Златоуста

Мне сообщили по большому секрету, что старик Данила Остапов арестован и находится в Лефортово по обвинению в финансовых преступлениях. На основании всего, что происходило с Остаповыми, я понимал, что с ними расправляются, причем не только светские власти. Надо было иметь сильные мотивы, чтобы упрясть 80-летнего человека в политическую тюрьму.

Давно, в порыве благодарности, я написал Алексею Остапову, что когда-нибудь отплачу ему добром. Не думал он тогда, что у меня будет для этого предлог.

Я пошел к Андрею Дмитриевичу и попросил его опротестовать арест Данилы, вернее, потребовать, чтобы его дело было рассмотрено открыто. Я объяснил Сахарову, кто это такой, и он согласился подписать протест, если его подпишет Шафаревич. Шафаревич легко проверил причины ареста Данилы, так как у него были знакомые в церковных кругах. Его не пришлось уговаривать. Протест появился на Западе, и Данила был освобожден.

Но вскоре наступила трагическая развязка. Скончался не 80-летний Данила, а... Алексей Остапов, его сын, в возрасте меньше пятидесяти лет! Погиб в Загорской больнице в результате пустяковой операции по поводу аппендицита, операции, на которую не хотел идти!

Не думаю, что его гибель была организована, но кто знает... Уж слишком на них навалились.

Пала семья Остаповых. Мemento мори! Так рассчиталась власть с людьми, философией жизни которых был компромисс с нею!

ЛОМБРОЗО В ПОТЬМЕ

*Уж солнышко не греет
И ветры не шумят,
Одни только евреи
На веточках сидят...
Воробей-еврей,
Канарейка-еврейка,
Божья коровка-жидовка,
Термит-семит,
Грач-пархач...*

Николай Олейников

Редактор "Вече" Осипов стал приводить ко мне по очереди лагерных дружков, чтобы убедить их, что с евреями можно общаться. Раз он пришел с киевлянином Владиславом Ильяковым, бывшим с ним в Потье. Ильяков сел в Курске по "югославскому" делу. Его организация решила разбросать листовки с бельэтажа кинотеатра во время сеанса. Листовки-то они бросили, но тут же их всех арестовали, ибо с самого начала среди них был стукач.

Некоторое время занятием ГБ было отбирать листовки у любопытных граждан, причем, произошло много курьезов, во-первых, не все вернули листовки, другие же вернули с преступным опозданием, прочтя сами и дав прочесть другим, за что и пострадали. Следователь на допросах называл листовки "этой гадостью". Попав в Потье, Ильяков, как и другие русские, был взят буквально психической атакой воинствующих русских националистов. Каждого лагерного новичка-"демократа" они убеждали, что тот обманут "евреями", причем раскаявшиеся "демократы" тут же это подтверждали. Среди людей культивировался погромный антисемитизм нацистского толка. Туда же попал и сам Осипов. Оба, и Осипов, и Ильяков, рассказывали, как происходила эскалация антисемитизма. Тщательно проверяли друг у друга родословную, черты лица, а потом дошли до такого одурения, что по ночам стали на ощупь проверять у спящих форму черепа, чтобы выявить в своей среде тайных евреев. То же рассказывал и кубанский станичник Репин, севший за то, что в начале 60-х годов умудрился подключить к станичному радиоузлу на короткое время "Голос Америки".

ДРУЖБА С ТОГО

*Негры, индейцы, арабы с пеньем
Стали на тропы,
Сжимая приклады...*

Олжас Сулейменов

Защитив кандидатскую диссертацию, Бернард Теку со своей женой Верой уехал, наконец, после девятилетнего пребывания из СССР. Его направили в Триест, где располагался центр ЮНЕСКО

для стран "третьего мира". Там Бернард подготовил еще одну диссертацию и защитил ее во Франции. Во время визита в Париж тоголезский министр стал звать Бернарда обратно в Того. Поучился, мол, пора и честь знать, надо и для отечества что-то сделать. Бернард не хотел продавать себя дешево и после переговоров получил пост декана инженерного факультета в Лома. Но Бернард не вынес родины более года и бежал в Париж. Отвык...

У меня стали бывать, вызывая всеобщее любопытство, друзья Бернарда, красивая молодая пара – Жюль, с горного факультета в Лумумбе, и Мартина из медучилища – им Бернард, уезжая, оставил мой адрес. Оба собирались вернуться в Того. Жюль с возмущением рассказывал о системе шпионажа за иностранными студентами в Лумумбе. Каждая комната в общежитии была рассчитана на троих. Двое были иностранцами, а третий из СССР. Советских студентов, как правило, набирали из глухой провинции, чтобы они не имели связей в Москве. Эти шпионили за своими товарищами по комнате, проверяли их письма, книги. Иногда они попадались с поличным. Весной 74-го года Жюль и Мартина пригласили меня с Татой на вечер тоголезского землячества в Москве, который проходил в Лумумбе. Всего в Москве было более 100 студентов из Того, но на их вечер приходили африканцы и из других стран, в особенности, из Дагомеи. Вечер был организован, как и все вечера такого рода. Произносились проклятья в адрес империализма, но это было лишь на поверхности. За исключением нескольких подкупленных людей, большинство африканцев уезжали из СССР ожесточенными из-за фактического расизма, который они наблюдали. Да и как им было не обижаться? Помню, была машинистка в ЭНИМСе, которая печатала мои левые работы. Повзвела она встречаться с африканцем. Ее зазвали на собрание и устроили головомойку. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания, если бы она была с европейским студентом. Африканцы хорошо это видели.

ВНУТРЕННИЙ ПРОЦЕСС

*Идти примиренно,
Без страха,
В сердце на Бога обид не храня,
Без стыда жгучего пред солнцем,
Без горечи змеиной к ближайшим из близких.
Идти примиренно, целуя глазами всякий вид
И целуя душой всякое чувство,
Переходить спокойно из храма в храм.
Из храма в храм.*

Зельда в переводе Ф. Гурфинкель

Внутренние мои попытки окончательно определить свое духовное место между еврейством и христианством никогда не прекращались. Нашелся новый повод. Леня Бородин стал просить для

его "Московского сборника" статью о том, как я смотрю на христианство среди евреев. Я попытался заново сформулировать свои теоретические взгляды, хотя понимал, что моя внутренняя эволюция еще не закончена.

Я утверждал тогда, что если христианству и суждено выжить среди евреев, то только не на пути ассимиляции среди других народов, в том числе среди русских, а лишь в форме национальной церкви в среде самих евреев. Я не знал о существовании мессианских евреев в Израиле и фактически формулировал их платформу...

В Москве ожидали Никсона. Начались, как было принято, превентивные аресты. Уже сидело человек шестнадцать, но меня не трогали. Я не очень верил в свой арест и свободно передавал письма и информацию. Корреспондент Си-Би-Эс Маррей Фромсон предложил мне дать телевизионное интервью.

25 июня я получил повестку явиться завтра в ОВИР в одиннадцать утра.

Вместо сотрудников ОВИРа меня принял мой "старый друг" Леонтий Кузьмич, а вместе с ним – рыжий детина, который представился Игорем Митрофановичем Сазоновым. Про него говорили, что он не то полковник, не то генерал. В Израиле знающие люди объяснили, что главным был Кузьмич.

– Я большой друг Давида Семеновича Азбеля, – начал Сазонов. – Вы помните, что он несколько раз откладывал голодовку?

– Помню.

– Это было по моему совету. Хороший человек, и у него настоящая семья. Знаете, что с ним случилось в Вене?

– Примерно знаю, – ответил я, соображая, зачем он мне все это говорит.

– Приехал он туда, ему израильское посольство номер в роскошной гостинице устроило, красивую израильтянку приставили, а он ночью из гостиницы тайком в Рим уехал. Если ему трудно будет – я всегда помогу.

Мне стало ясно, что Сазонов зачем-то проводит операцию по дискредитации Азбеля, в явном расчете на то, что я всем об этом расскажу. Я, конечно, решил этого удовольствия ему не доставлять. Тем не менее, анализируя сейчас то, что было больше девяти лет назад, я прихожу к выводу, что операция возмездия была вызвана каким-то нарушенным обещанием. В Израиле Азбеля ждала большая популярность и непонятно, почему он променял это на безвестность в Америке, может быть, Давид почему-то боялся ехать в Израиль.

– Мы просим вас, – повернул разговор Сазонов, – уехать из Москвы до конца месяца и не принимать участия в семинаре.

В это время Воронелем был затеян научный семинар, где я подрядился делать доклад.

– Я не хотел бы никуда уезжать из Москвы.

– Мы пошлем вас в командировку.

– Я же внештатный сотрудник! Внештатных в командировки не посылают.

– Не беспокойтесь, мы это уладим. Если же не поедете, потеяете работу.

– В этом случае мне лишь остается подчиниться. Своей волей я не поеду.

– Не волнуйтесь, – сказал Сазонов, выходя из кабинета. Минут через пять он вернулся. – Все в порядке. Послезавтра вы едете на две недели в командировку.

Далее посыпались комплименты. Выяснилось, что я и человек с принципами, не как другие. И зарекомендовал себя как хороший наблюдатель.

– Нам кажется, что вы к нашей организации хорошо относитесь, – заметил Сазонов.

И это было правдой. Я давно убедился, что по сравнению с милицией и партийными органами, ГБ было много лучше.

– А не согласитесь ли сделать то, что мы вас попросим? – неожиданно встрял Кузьмич.

– Давайте прекратим говорить таким образом, – потребовал я.

– Сначала одно, потом другое, – не унимался ничуть не смущенный Кузьмич.

– Я не давал вам никакого повода вести со мной подобный разговор. Если будете продолжать таким образом, я прекращаю с вами разговаривать.

Кузьмич отстал.

– Мы знаем, что все лучшие люди из евреев шли к христианству, – неожиданно сказал Сазонов.

Вот оно что! Стало быть, ГБ сознательно в течение многих лет покровительствовало еврейскому христианству! Вот почему они давали зеленую улицу Александру! Вот почему они не трогали меня, дав сделаться люкс-христианином! Вот почему Куроедов, с которым я вместе провел пасхальную заутреню 65-го года, не начал против меня кампанию!

Стало быть, это было сознательной политикой, а не совокупностью случайностей. Вероятно, эксперты ГБ справедливо полагали, что еврейское христианство – один из наиболее надежных способов интеграции евреев в России. Не то, чтобы ГБ специально провоцировало крещение евреев, но я не знаю ни одного случая, чтобы еврей-христианин серьезно преследовался, если только не нарушал правил игры, вроде Левы Регельсона, или не становился нарушителем общественного спокойствия. Общая дискриминация евреев была намного более сильной, чем частные ущемления евреев-христиан, которых развелось немало. Правда, ортодоксальный иудаизм, уводящий от сионизма и от требования гражданских прав, тоже поощрялся, однако он вел лишь к общественной, а не к национальной интеграции.

– Я не хотел бы говорить и на эту тему, – твердо сказал я, категорически отказавшись продолжать "миссионерскую" беседу с Сазоновым. Мне легко теперь представить, чего собственно хотел Сазонов. Кстати, наш разговор совершенно не брал под сомнение моих сионистских убеждений. Они не пытались меня переубедить. Стало быть, фраза о "лучших людях" могла касаться моей

будущей жизни в Израиле. Я вижу теперь, какие разговоры могли вестись с недалекими "лучшими" людьми и в какие сети их можно было увлечь. Мне пришлось столкнуться потом с такими "лучшими людьми", причинившими ужасные несчастья.

Было немало еврейских активистов, которым ГБ в той или иной форме пыталось навязать сотрудничество, нисколько не боясь, что его отвергнут. Я не полномочен перечислять, что мне известно, но случай Марка Машпица, которому предложили возглавить группу демонстрантов с провокационными целями, был публично разглашен им самим. Я знаю, какие сети ГБ расставило вокруг свердловчанина Ильи Войтовецкого. То, что предложения отвергались, их не смущало. И в этом случае они выигрывали. Люди начинали бояться друг друга. Это было частью психологической войны...

Сазонов и Кузьмич нагло хвастались тем, что отлично знают, что, например, происходит у меня дома. Я пропустил это мимо ушей.

В дверь постучали. Сазонов вышел. Через несколько минут он снова вернулся.

– Что это за интервью вы дали?

– А что, его уже передали?

– Да, – соврал Сазонов.

Интервью Си-Би-Эс, как потом я выяснил, передали только через два дня.

– О чем вы говорили?

– Если его передали, вы же знаете!

– Так, в двух словах.

Я пересказал содержание интервью.

– А кто вам его организовал?

– Это что, формальный допрос?

– Нет! – засмеялся Сазонов.

– Тогда на этот вопрос я не хотел бы отвечать.

После этого Сазонов попытался узнать, где находится Алик Гольдфарб, который ухитрился здорово спрятаться.

Под конец Сазонов дал мне свой телефон и предложил пользоваться им в случае надобности. Потом я узнал, что у некоторых отказников был тоже его телефон, но они об этом друг другу старались не говорить. Когда я уходил, Сазонов напомнил, что в ВИНТИ меня будет ждать командировка...

Не успел я вернуться в Беляево-Богородское, как заметил из окна моего девятого этажа, что к подъезду подъезжают три битком набитые "Волги". Я сразу все понял. Приехавшие были в некотором недоумении лишь относительно моего этажа. Высунувшись из окна, я помахал им рукой:

– Сюда!

Те заулыбались. Я заранее открыл дверь квартиры. Из лифта вышло двое молодых ребят в штатском: один высокий и широкоплечий, другой среднего роста, худощавый, по виду типичные инженеры. Тогда в ГБ усиленно брали именно таких.

– Заходите! – пригласил я.

– Нет, мы постоим. Понимаете, Игорь Митрофанович с вами хочет еще раз поговорить...

– Переодеваться?

– В общем, да, – хихикнули они.

Мы сели в машину. По правилам игры ГБ, Длинный остановил машину у ближайшего автомата. Вернувшись, он сказал:

– Игорь Митрофанович просит передать, что вы нарушили договоренность и нам придется доставить вас на "точку"...

"Сазоновцы" привезли меня в Можайск в уголовную тюрьму. У входа выстроились по струнке изумленные тюремщики. По-видимому, им это было в диковинку. "Сазоновцы" же сразу укатили...

В камере меня встретил обрадованный Гриша Розенштейн, мой сосед по Беляеву-Богородскому. С ним я познакомился еще в Тракае в 1969 году.

На третий день старшина пришел к нам с матрасом: «Еще один ваш прибыл». В дверях появился... Виталий Рубин.

Нас особо не беспокоили. Раз в день был обход начальника тюрьмы, и все, что от нас требовалось, – это вставать при его появлении.

Мы явно были привилегированными зэками. С нами не обращались, как с другими. Не вели следствия. Но самым главным была тюремная библиотека.

Каждый день к окошку камеры приходила библиотекарь и протягивала каталог из 600-700 книг, вписанный в простую школьную тетрадь... Одной из книг, которую мне захотелось взять в первый же раз, оказалась книга английского писателя Уильяма Годвина "Калейб Уильямс". Я выбрал Годвина потому, что в последнее время я преимущественно читал английскую художественную литературу.

Погрузившись в чтение "Калеба Уильямса", я не сразу заметил, что на полях книги имеются еле заметные карандашные вертикальные линии, отчеркивающие какие-то места текста. Я стал всматриваться в отчеркнутые места и вскоре понял, что неизвестный заключенный отмечал те места текста, которые соответствовали его тогдашнему положению...

Я счел себя нравственно обязанным по отношению к этому человеку сделать его тайные страдания известными хотя бы некоторому числу людей. Это побудило меня предложить вниманию возможного читателя те места из "Калеба Уильямса", которые узник выделил. Я снабдил их очень краткими комментариями.

«Неужели, установив такое правило для самого себя, вы не позволяете воспользоваться им никому другому? Мне от вас ничего не нужно. Как смеете вы отнимать у меня право всякого разумного существа жить спокойно в бедности и невинности? Каким человеком выказываете вы себя – вы, имеющий притязание на уважение и похвалы со стороны всех, знающих вас?» (стр. 68).

По-видимому, неизвестный заключенный был человеком бедным, не занимавшим сколько-нибудь значительного социального положения. Выделенное место говорит, что главным виновником

его несчастий был, скорее всего, человек, занимавший относительно видное положение в обществе.

«А закон, надо думать, найдется и для бедняка, как для богача» (стр. 84).

Заключенный вновь отождествляет себя с бедняками.

«Закон приспособлен скорее к тому, чтобы служить оружием тирании в руках богачей, нежели щитом, ограждающим более бедную часть общества от их несправедливых притязаний. Однако нанесенная ему на этот раз обида была так жестока, что казалось невозможным, чтобы даже самое высокое положение могло защитить виновного от строгости закона» (стр. 85).

Это уже явная социальная критика окружающего общества, но вместе с тем и надежда на наказание виновника несчастий.

«Если я вижу, что вы идете в своих поступках неправильной дорогой, мое дело направить вас на верный путь и спасти вашу честь» (стр. 89).

Неясный личный намек. Быть может, чувства заключенного по отношению к виновнику своих несчастий были столь же противоречивы, как у самого Калеба Уильямса?

«Болит сердце, когда думаешь, что один рождается для того, чтобы наследовать всякий избыток, тогда как доля другого, без какой-либо вины с его стороны, – грязная работа и голод» (стр. 90).

«Общество отвергнет вас, люди будут гнушаться вами» (стр. 91).

Эту фразу заключенный явно относит к себе, к своим страданиям, как и герой романа.

«Тиррел – самый отъявленный негодяй, который когда-либо бесчестил человеческий образ» (стр. 103).

Тиррел (персонаж романа) либо отождествляется с виновником несчастий, либо же заключенный был рад отметить место, в котором говорится о том, что подобные злодеи вообще существуют.

«Я горжусь тем, что могу терпеть несчастья и горе, неужели же я окажусь неспособным перенести незначительную неприятность, которую может причинить мне твое безрассудство?» (стр. 113).

«В один день на него свалились ужаснейшие бедствия: самое жестокое оскорбление и обвинение в самом гнусном преступлении. Он мог бы бежать, так как не было никого, кто мог бы начать преследование...» (стр. 115).

По-видимому, возможность побега перед арестом существовала и для можайского заключенного.

«О, бедность! Поистине ты всемогуща!» (стр. 137).

Вновь подчеркивается собственная бедность.

«Я не мог двинуться ни вправо, ни влево без того, чтобы глаз моего надзирателя не провожал меня. Он сторожил меня, и его бдительность была пыткой для моего сердца. Конец моей свободе, конец веселью, беспечности, молодости!» (стр. 168).

Личные переживания от пребывания в заключении.

«Я жертва, принесенная на алтарь преступной совести, которой неведомы ни покой, ни пресыщение; меня вычеркнут из списка живых, и судьба моя навеки останется покрытой тайной; человек, который, убив меня, присоединит это преступление к предыдущим,

наутро будет с восторгом и знаками одобрения приветствуем своими согражданами» (стр. 177).

Заклученный, кажется, находился в состоянии отчаяния, не будучи уверенным, что ему удастся оправдаться.

«У меня не было ненависти к виновнику моих несчастий, – это обвинение должно быть снято с меня во имя правды и справедливости» (стр. 183).

Вновь свидетельство противоречивого отношения к врагу.

«Не было во всем мире двух вещей, на мой взгляд, более противоположных, чем невиновность и преступность. Я не допускал мысли, что первая может быть смешана со второй, разве только если невинный человек позволит победить себя прежде, чем у него отнимут доброе имя» (стр. 188).

«Между тем я видел, что все начала справедливости ставятся вверх ногами, что невинный, но осведомленный человек оказывается обвиняемым и страдает, вместо того, чтобы держать подлинного преступника в своих руках» (стр. 191).

«Правдоподобно ли то, что я, украв эти вещи, не позаботился унести их с собой?» (стр. 196).

По-видимому, заключенный обвинялся в том же.

«Нет на земле человека менее способного на то, в чем меня обвиняют. Я призываю в свидетели свое сердце..., свое лицо... все чувства, которые когда-либо выразил мой язык» (стр. 197).

«Что касается меня, я никогда не видел тюрьмы и, подобно большинству моих собратьев, мало печалился об участи людей, совершивших проступки против общества либо заподозренных в этом. О, сколь завидным покажется грозящий падением навес, под которым земледелец отдыхает от своих трудов, в сравнении с пребыванием в этих стенах!» (стр. 198).

«Тюремная грязь наполняет сердце печалью и производит такое впечатление, будто она гниет и распространяет заразу» (стр. 198).

«Благословенное состояние невинности и удовлетворенности собой» (стр. 216).

«Я всегда заявлял, что не совершал преступления, что моя мнимая вина – целиком дело рук моего обвинителя. Он тайно подложил свои вещи и после этого обвинил меня в воровстве. Сейчас я заявляю не только это. Я заявляю, что этот человек преступник, что я узнал о его преступлении и что по этой причине он решил лишиться меня жизни... я убежден, что вы несколько не склонны способствовать ни действием, ни бездействием – неслыханной несправедливости, от которой я страдаю, – заточению и осуждению невинного человека ради того, чтоб убийца мог оставаться на свободе. Я молчал об этой истории, пока мог. Мне до крайности претило стать причиной несчастья или смерти человеческого существа. Но всякому терпению и покорности есть предел» (стр. 317).

Выделенные места укрепляют меня во мнении, что неизвестный заключенный был обвинен в воровстве, и что ему было, по-видимому, подложено краденое. По каким-то причинам он не хотел выдавать истинного виновника...

"Неужели мне не остается никакой надежды? Неужели даже оправдание по суду ни к чему? Неужели не найдется такого промежутка времени в прошлом или в будущем, который принес бы облегчение моим страданиям? Неужели гнусная и жестокая ложь, возведенная на меня, будет следовать за мной, куда бы я ни пошел, лишая меня доброго имени, отнимая у меня сочувствие и расположение человечества, вырывая у меня даже кусок хлеба, необходимый для поддержания жизни?" (стр. 346).

Это последнее выделенное место указывает на состояние отчаяния, которое владело заключенным.

Закончив чтение книги, я еще раз внимательно осмотрел ее и в самом начале обнаружил на левом поле одной из страниц полустертые слова, написанные тем же карандашом, что и пометки на полях. Всего имелось два слова. Одно из них все же сохранилось. Это слово "Одинцово" – название небольшого подмосковного городка, находящегося на той же железной дороге, что и Можайск, но гораздо ближе к Москве. По-видимому, неизвестный происходил именно оттуда. Первое же слово состояло только из четырех букв и, по-видимому, являлось именем. Насколько можно было разобрать, последней буквой этого слова было "а". Быть может, это была женщина?

Насколько удивительны пути, заставившие с трепетом биться сердце неизвестного русского заключенного (заклученной?) под воздействием второстепенного английского писателя XVIII века...

Когда нас выпускали, на исходе десятого дня моего ареста, нам прочли наставление, как себя следует вести. Начальник тюрьмы, прощаясь, проявлял исключительное доброжелательство...

ПЯТИДЕСЯТНИКИ

В августе Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов передал мне приглашение посетить свадьбу пятидесятников. Я приглашался в качестве диссидента, из чего можно было предположить, что пятидесятники решились выйти из изоляции.

Пришлось добираться через всю Москву на окраину, в поселок деревенского типа, не так давно включенный в городскую черту. Свадьба происходила в одноэтажном деревянном доме с довольно большим садом, в котором уже собралось множество людей. Было приятно встретить нескольких знакомых. В их числе я, не без некоторого удивления, обнаружил молодого православного священника, служившего в одной из главных московских церквей. Среди гостей был и Леня Бородин, и Овчинников. Все это придавало свадьбе известный экуменический характер. В саду были выставлены длинные столы, за которыми уже сидели гости. Многие собравшиеся поместились в разных углах сада и даже за его оградой. Не ошибусь, если скажу, что на свадьбе присутствовало не менее 500 человек. Гости приехали с разных концов страны, с Дальнего Востока, Западной Украины. В отличие от того, что можно увидеть в православной церкви, здесь было примерно одинаково

вое количество мужчин и женщин, причем преобладали люди среднего возраста и молодежь. Преимущественно среди собравшихся были люди рабочего вида, но были и люди с высшим образованием, которые, по-видимому, пользовались большим влиянием. Одним из моих соседей оказался шофер. Через некоторое время я познакомился с двумя молодыми женщинами-экономистами с высшим образованием. Разговоры носили чисто религиозный характер, сводились, в основном, к толкованию отдельных мест Священного Писания и целиком поглощали внимание слушающих. Видно было, что их интересы прикованы к религиозным вопросам.

В течение примерно шести-семи часов перед собравшимися выступали проповедники, которые на очень простом языке говорили о значении веры и обязанностях, которые накладывает христианская мораль. Почти все проповедники обладали даром слова, умели завладеть вниманием публики, их слушали с неослабевающим интересом. Несколько раз проповедники обращались к присутствующим с предложением помолиться, и я впервые увидел молитву пятидесятников, которая, кстати, являлась предлогом для запрещения в СССР этого народного религиозного движения. Известно, что одним из основных элементов религиозной веры пятидесятников (вернее, не веры самой по себе, их религиозного обряда) является так называемая "молитва духом". Пятидесятники и получили свое название оттого, что стараются воспроизвести в своей жизни молитву, которой молились апостолы в день Пятидесятницы, о чем рассказывается в Деяниях Апостолов. Во время этой молитвы апостолы, неожиданно для самих себя, обрели способность говорить на незнакомых языках, что признается особым даром Божиим. Впоследствии способность эта получила свое терминологическое название – "глоссолалия". Так вот, "глоссолалия" и является, по существу, особенностью пятидесятников, отличающей их от других протестантских сект.

Наслушавшись за последние 15 лет всевозможных нелепых историй о пятидесятниках, я с некоторой предосторожностью ожидал молитвы духом. Она оказалась короткой и продолжалась не более 2-3 минут, но повторялась несколько раз за время свадьбы. Молитва духом, несомненно, носила экстатический характер, но не сопровождалась заметно выраженными телодвижениями. В момент этой молитвы сад наполнялся неким неясным шумом, так как каждый молившийся произносил незнакомые слова. Я прислушался к тому, что произносили мои соседи. Характер произносимых ими слов явно зависел от культурного уровня человека. У образованных пятидесятников произносимые звуки напоминали какой-либо европейский язык, немецкий или английский, хотя набор звуков явно не принадлежал к какому-либо известному языку. У менее образованных людей звуки носили гортанный, отрывочный характер, не будучи часто вообще похожи на речь. Разумеется, мое наблюдение – весьма поверхностное. Я не слышал, как именно молился каждый присутствовавший на свадьбе.

Остальное, что я видел у пятидесятников, можно видеть и у баптистов. После окончания молитвы духом присутствующие возвращались в обычное состояние.

После проповеди стали накрывать столы. Странно было наблюдать, находясь в России, что на столах не было ни капли вина. Курящих тоже не было. Трапеза сочеталась с песнями, исполнявшимися молодежным хором. Кроме песен, специально предназначенных для свадебной церемонии и, по-видимому, составлявших важную часть свадебного ритуала пятидесятников, читалось много стихов с поздравлениями жениху и невесте. В целом, эта часть свадьбы чем-то напоминала студенческие капустники, но лишь внешне, ибо пятидесятники не ставили своей задачей рассмешить и вообще проявить остроумие. Для них это было торжественной религиозной церемонией. Интересно отметить, что за оградой сада, выходящей в переулок, толпилось много посторонних. Калитка была открыта, каждый желающий мог свободно пройти в сад и даже получить свадебное угощение. Несколько активных пятидесятников вышли за ограду и приняли участие в горячих спорах с посторонними. Мне показалось, что именно таким образом они привлекали новых приверженцев. Свадьба пятидесятников произвела на меня глубокое впечатление. Я воочию убедился в искренности и религиозном порыве этих людей, хотя, признаться, молитва духом не стала для меня убедительной. Но уж во всяком случае, я не мог найти в ней ничего такого, что могло бы поставить этих людей вне закона, как это было и остается в СССР в течение уже многих лет. С тех пор пятидесятники стали моими частыми гостями. Я передавал их материалы на Запад.

ПЕРЕПИСКА С ЖЕЛУДКОВЫМ

*Открылась правда мне в ночи,
Отчетливо проста:
Увидел я, как палачи
На крест вели Христа.*

*Он шел, избитый и худой,
К высокому кресту,
И некий человек седой
Напиться дал Христу.*

*Превыше всех богов и вер
Он человеком жил.
За милосердые Агасфер
Бессмертье заслужил.*

Борис Камянов

Священника Сергия Желудкова я знал с 65-го года. Ему не запрещали служить, но у него не было места. Жил он в Пскове и часто наезжал в Москву. Это был классический русский правдоискатель, склонный к религиозному анархизму. Как человек, он был чист и честен. За несколько лет до этого он написал книгу "Почему я христианин?", которая вышла на Западе на русском и немецком языках. Мне довелось прочесть ее только летом 74-го года. Я был

неприятно поражен почти полным отрицанием в этой книге того, что христиане называют Ветхим заветом и что для евреев составляет основу их вероучения.

Желудков видел в Ветхом завете зачатки фашизма.

Я не преминул написать ему письмо с развернутой критикой его отношения к Ветхому завету. Из истории русского православия я знал немало таких попыток ниспровергнуть Ветхий завет как вредное еврейское наследие, но они шли только из кругов правого русского радикализма, из среды черносотенцев. Все эти попытки обычно решительно отвергались официальной церковью, как бы антисемитски не были настроены те или иные иерархи. Вообще говоря, отрицание Ветхого завета коренится в древнем гностицизме, который в первые века после провозглашения христианства дошел до утверждения, что сам ветхозаветный бог является злым демиургом и что спасение человечества заключается в борьбе с ним. Отец Сергей, сам того не зная, шел в направлении гностицизма, который всегда был связан с либертарными идеями.

В своем письме о Сергию я сделал еще один шаг в кристаллизации своего мировоззрения. Я говорил о Ветхом завете как общей ценности евреев и христиан. Я исходил из принципа развития Откровения, которое разделяю и сейчас, но тогда, в письме к Желудкову, я как бы признавал, что христианское откровение является более высоким уровнем Божественного Откровения по сравнению с ветхозаветным. Позднее я пришел к выводу, независимо от того, что обнаружил в еврейской религиозной мысли, что еврейское и христианское Откровения являются разными, не предназначенными вытеснить одно другое. Они должны сосуществовать.

В письме к Желудкову я уже был очень близок к такой концепции.

ТРАНСФИНИТИЗМ

*И угас твой пыл,
И угас твой жар.
Жаль, Мойше-Лейб,
Жаль.*

Эзра Фининберг
в переводе Д. Бродского

Летом 74-го года уезжал отказник Лев Либов, химик по профессии. Я пришел на его проводы. Раньше я никогда у него не был и удивился – он жил в том самом доме, где 16 лет назад жил Володя Слепян. Мне даже показалось, что я вхожу в тот же подъезд. В разгаре проводов я спросил у хозяев, помнят ли они художника, уехавшего в Польшу? Хозяева переглянулись. Я был в квартире Слепяна, а жена Либова была сестрой Володи!

Все эти годы разные сведения о Слепяне доходили до меня. Приехав во Францию, Володя быстро развернулся. Он предложил

новое направление в искусстве – трансфинитизм. С группой поклонников, которыми он быстро обзавелся, он выезжал на глухое загородное шоссе, где не было движения транспорта, раскатывал рулон газетной бумаги и, в присутствии зрителей и журналистов, начинал двигаться вдоль рулона с кистью и красками в руках, не имея заранее обдуманного плана. Его художественный экстаз достигал предела в какой-то точке, и именно этот фрагмент рулона был искомым произведением искусства. Олег Прокофьев дал мне, когда я еще жил на Арбате, то есть до 67-го года, два номера маленькой газеты *trans-finite*, которую Слепян сам издал в Париже. Его поклонники объявляли трансфинитизм революцией в искусстве. Приводились выдержки из статей о нем в различных газетах, и не только Франции.

Володя был непредсказуем. Рассказывали, что его пригласил к себе Пикассо; это означало большое признание. В последний момент Слепян к нему не пошел. Вероятно, решил, что один художник не должен зависеть от другого. Совершенно неожиданно он забросил искусство и занялся техническими переводами, быстро разбогател, организовав собственную фирму на бульваре Сен-Жермен...

А его сестру ждало тяжелое испытание. Муж ее, Либов, едва приехав в Вену, оставил ее и уехал в Израиль к кому-то другому. Такой уж был шустрый парень. После его отъезда в "Вечерней Москве" появилась статья, где говорилось, что в вещах Либова было найдено семь икон, которые он пытался незаконно вывезти из СССР. Слепаки сказали, что это было правдой. Легко догадаться, для Либова эти иконы не были предметами религиозного почитания. Таких Либовых было немало среди отказников. Бывали и почище.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ

*Покуда Америка в яме подвала
Ни дяде, ни тете дышать не давала,
В России народ победил навсегда,
И стали счастливыми люди труда.*

Зяма Телесин
в переводе А. Безыменского

В МГУ Тата, как и следовало ожидать, не прошла, несмотря на то, что занималась в кружке энтомологии, куда ее в свое время пригласил Евгений Сергеевич Смирнов, получала грамоты на олимпиадах, училась в классе с биохимическим уклоном. После этого она подала документы на биохимический факультет Ветеринарной академии, получила все пятерки, но по сочинению – тройку, что уничтожало все ее шансы. Имея за собой опыт МИФИ 50-х годов, я поспешил в приемную комиссию. Уже давно было официально введено правило, что каждый поступающий мог увидеть свою письменную работу. Просматривая сочинение, я не обнаружил в нем ни одной ошибки!

- За что же тройка?
- За стилистические ошибки.
- Какие? У вас есть формальное определение, что такое стиль?

Председатель приемной комиссии по литературе переправила оценку на "четыре".

– Мы приглашаем преподавателей из средних школ, и они нам такие фокусы выкидывают!

После этого я посчитал, что поступление Таты обеспечено. Но принята она не была, ибо проходной балл, учитывавший и школьные отметки, был 23,5. Экзамены носили характер отрететированного спектакля. Свободный конкурс был лишь инсценировкой, ибо проходной балл был установлен заранее и оценки под него подгонялись.

Я пошел с Татой к проректору Академии Абуладзе. Разговор шел очень мирно. Он объяснял, что преимущественное право на прием имеют выходцы из сельских местностей. Но это было фикцией, ибо они причисляли к сельской местности города-спутники Москвы, например Люберцы, а кое-кому были оформлены фиктивные справки о работе в сельской местности.

Неожиданно Абуладзе вскочил и безо всякой видимой причины заорал:

– Убирайтесь отсюда! – явно стараясь спровоцировать скандал.

Я опешил, но уходя, пообещал, что он об этом пожалеет.

Я немедленно настрочил жалобу в несколько адресов, выяснив слабые места Ветеринарной академии. Я рассчитывал на то, что мое положение зубастого диссидента со связями поможет в деле. Кроме того, я опять-таки полагал, что ГБ вмешается в это дело на моей стороне из своих соображений.

Спрашивается, зачем я это все делал, собираясь уезжать? Во-первых, я вовсе не был уверен в том, что меня выпустят, тем более, в ближайшее время. Во-вторых, я боялся, что Тата, будучи выбита из процесса учебы даже на короткое время, вообще отобьется от нормального ритма, и потом ее нельзя будет в него возвратить. Через недели две Тате позвонили и сказали, что она принята!

Академия сделала ход конем. Под мою жалобу она добилась девяти новых мест для студентов, то есть я осчастливил еще восемь человек. Так я выиграл еще один бой.

ПИСЬМО К ВОЖДЯМ

Высылка Солженицына, отъезд Наташи, его жены, которую я провожал на аэродроме, обогатил меня новыми знакомыми – Димой и Таней Борисовыми, Машей Слоним, Сашей Горловым, Аликом и Ариной Гинзбург, которые жили в нашем Беляево-Богородском. К ним примыкали Феликс Светов с Зоей Крахмальниковой и Владик Зелинский с женой Наташей.

Вскоре после высылки Солженицын опубликовал свое нашумевшее "Письмо к вождям". Последовали комментарии Сахарова и Роя Медведева. Написал свою статью и я. Рой Медведев пред-

ложил мне собрать разные отзывы на "Письмо" и сделать из них сборник. Я охотно согласился, причем, согласно моему замыслу, отзывы должны были принадлежать противоположным течениям.

К отзывам Сахарова и Роя я добавил статьи Левитина-Краснова, Толи Иванова, Осипова, Бородина, Шиманова, Раисы Лерт, двух левых псевдонимщиков, один из которых, Абовин-Егидес, потом эмигрировал, а другой был старый, очень симпатичный троцкист, больше половины жизни отсидевший в лагерях.

Были и другие авторы. Составляя сборник, я столкнулся с большими трудностями. Сахаров из-за оппозиции к Солженицыну не хотел его поддерживать. Но и сам Солженицын в Цюрихе не испытал по поводу сборника энтузиазма, вероятно, полагая, что будет слишком много критики в его адрес. Он ошибся. Это был уникальный документ, и факт, что такие разные люди согласились участвовать, сам по себе говорил о многом. То, что сборник не вышел, было, я уверен, большой потерей.

Я позвонил с Центрального Телеграфа в Цюрих открыто и спросил Наташу об их отношении к сборнику:

– Мы его поддерживать не будем. Одна ваша статья стоит всего сборника, – успокаивала она меня, но я хотел видеть сборник в печати целиком.

До отъезда я сделал еще одно самиздатское издание сборника. Примкнул Лев Копелев, а также шустрый журналист Александр Янов, с которым у меня были общие знакомые – Гриша Розенштейн и... Толя Иванов. Но и этот вариант не увидел свет. Андрей Твердохлебов сказал, что в выходе сборника очень заинтересован некто Ригерман, уехавший из России в 71-м году и осевший в Европе. Я попросил передать ему единственный экземпляр, но, несмотря на мои настойчивые напоминания, Ригерман держал его у себя несколько лет, никому не отдавая, пока актуальность публикации не отпала. Не знаю, чем руководствовался в этом Ригерман. В настоящее время этот сборник похоронен в известной братской могиле, называемой "Архив Самиздата" в Мюнхене.

ВИКА ФЕДОРОВА

*Он жаден к деньгам, к человеку свиреп,
Он доллары щиплет, как нищие хлеб...*

Зяма Телесин в переводе А. Безыменского

В августе я получил для передачи Зое и Вике Федоровым два письма. Федоровы – более чем известные имена. Зоя – одна из наиболее популярных кинозвезд до и во время войны. После войны она отсидела восемь лет, а затем снова стала кинозвездой в амплу пожилой боевой бабы. Виктория, ее дочь, тоже стала кинозвездой.

Через мои руки однажды уже проходил пакет с вырезками из журналов о Вике для передачи в Америку. Краем уха я слышал об истории Федоровых. Зоя сидела за связь с американским военным летчиком, который потом стал адмиралом. Вика была их дочерью.

Пакет с вырезками предназначался адмиралу. В детали же я не был посвящен. Федоровы раньше поддерживали связь с Западом через Лену Семеку, которая уже уехала. Я не знал Федоровых и знать не мог. Это был мир кино, в который я никогда не был вхож.

Я тут же позвонил по указанному в письме номеру телефона. Трубку взяла Зоя.

– Вы меня не знаете, – объяснил я, – я хочу видеть вас по важному делу.

Голос Зои заметно дрогнул:

– Приходите...

Вскоре я был у нее дома, рядом с гостиницей "Украина".

– Вам два письма на английском из Америки.

– Я так и знала, – разволновалась Зоя.

– Прочесть?

– Читайте, читайте, – стала она торопить.

Одно письмо было ей, другое Вике. Текст был редкой человеческой силы. Адмирал Джексон Тэйт умирал. Он напоминал Зое, которую не видел 34 года, как держал ее в объятьях 9 мая 45-го года. И он, и она сейчас были уже довольно пожилыми людьми, но меня поразила свежесть его памяти на пороге смерти. Он слал Зое последний поклон. Вике, которую он никогда не видел, адмирал передавал благословение и писал, что распорядился, чтобы часть его наследства отошла ей. Вика в это время была на съемках в Калуге. Пока я сидел у Зои, раздался звонок:

– Вика! Это то, то самое! – закричала Зоя. – Хочешь, сама поговори! – и передала мне трубку.

Вскоре Вика вернулась. Я прямо ее спросил:

– Хотите уехать в Америку?

– Да, очень.

– Уедете...

Было несколько причин, почему я ей хотел помочь. Во-первых, и это главное – мне было просто интересно. Во-вторых, это давало мне сильный козырь в психологической войне против властей. В-третьих, я полагал, что эта история поможет общему делу, покажет еще один человеческий аспект эмиграции. В-четвертых, это было еще одним разоблачением сталинского террора.

Я составил план действий. От имени Вики я написал адмиралу письмо с просьбой срочно прислать гостевой вызов. И просил начать юридический процесс удочерения.

Я познакомил Вику с моим другом, новым американским консулом Джимом, рассказал ему об этом деле, прося срочно связаться с адмиралом.

В конце августа корреспондент "Нью-Йорк Таймс" Крис Рен, заменивший Рика, привел ко мне журналиста из "Лос-Анджелес Таймс" Боба Тота. По секрету я рассказал им, что готовится большой scoop*, но чтобы они ничего не делали без моего сигнала. Я сразу оценил возможности именно "Лос-Анджелес Таймс" как газеты, близкой к Голливуду.

* Scoop (англ.) – сенсация.

Через месяц мне пришла в голову новая мысль: что, если прямо позвонить адмиралу, телефон которого я знал через Джима? Я предложил Вике заказать разговор на мое имя с Центрального Телеграфа. Минут через десять нас позвали в кабину. Мы втиснулись вдвоем. Ответил ровный и отнюдь не старческий голос. Я сказал:

– Я говорю по поручению вашей дочери. Она стоит рядом, – и передал трубку.

– I love you, – нашла Вике.

– I love you too, – ответил отец.

– Вы получили письмо? – спросил я.

– Я задержался с ответом, потому что мне делали операцию на открытом сердце. Я все сделаю как можно быстрее.

Адмирал Джэксон Тэйт не умер! Он жил и здравствовал. Вика была в восторге. Это был ее первый разговор с отцом. От радости она обняла и расцеловала меня. Мы стали большими друзьями.

ПРОВОДЫ ЛЕВИТИНА–КРАСНОВА

Уж нет бунтовщиков на площадях Москвы.

Илья Рубин

Целый слой московской интеллигенции снимался и уезжал на Запад. Уехал Алик Штротас в Англию, по приглашению сестры, которая была давно замужем за английским лордом. Уехал Андрей Волконский с помощью фиктивного брака на еврейке. Вдогонку стали его звать "Андре Жид".

Володя Максимов развернулся на Западе с быстротой молнии и уже принимался издавать журнал "Континент". Уехал Саша Галич, с которым мы успели подружиться перед отъездом. Уехал Виктор Некрасов. Если Максимова и Некрасова выпустили в Западную Европу по гостевым визам, то от лиц еврейского происхождения, даже если они заведомо не ехали в Израиль, вызов требовали только из Израиля. Галича, например, не выпускали до тех пор, пока он не подал заявление в Израиль. Такая же судьба ждала полуеврея Анатолия Эммануиловича Левитина-Краснова, христианина по рождению, а не по выбору.

Как-то раз, на праздничном обеде в праздник Покрова в Духовной Академии, кто-то обронил сакраментальную фразу про него:

– В нем его еврейская половина играет...

Левитину-Краснову было выслано множество приглашений от различных христианских организаций. Но власти знали, что делают. Ему, на его еврейскую половину, друзья прислали вызов из Израиля, и его выпустили.

На его проводах я встретил Николая Эшлимана. Он страшно изменился. Это был сухой, ушедший в себя человек. Куда делась вся его прежняя вдохновенность. Я пробовал выяснить,

чем он дышит, и увидел, что сомнения его зашли гораздо дальше, нежели оппозиция правящему духовенству. В его душу закрались капитальные сомнения, и трудно сказать, был ли он уже верующим.

На проходах я, к своему удивлению, встретил еще раз и бывшего доцента СТАНКИНа Галанова, которого видел в 54-м году в Главной военной прокуратуре. Выяснилось, что он кадровый "религиозник". Кстати, Коля Парин с не меньшим удивлением узнал от меня в свое время, что бывший преподаватель Рыбного института ихтиолог Коншин не просто верующий, но и плодовитый анонимный богослов.

ВРАЖДА К ОСИПОВУ

*Ведь совесть – это Вечный Жид,
И Вечный Жид – добро.*

Борис Камянов

Мои отношения с Осиповым продолжали укрепляться. Он приободрился и собрал первый номер нового самиздатского журнала "Земля". Я передал "Землю" корреспондентам, и имя Осипова снова зазвучало по радио.

Тем не менее, с первых же попыток восстановить отношения с диссидентами (в чем я ему активно способствовал) Осипов стал наткаться на глухое сопротивление. Его долго не хотел поддерживать Сахаров, находившийся в данном вопросе под влиянием Люси.

Вскоре мне пришлось столкнуться с еще одним неприятным проявлением этой вражды. Была освобождена Сильва Залмансон. По дороге в Израиль она заехала в Москву. Осипов попросил меня устроить с ней встречу. Его жена, Валя Машкова, сидела с Сильвой в лагере, и у них были хорошие отношения. Он хотел передать Сильве привет от Машковой и еще раз попытаться возобновить отношения с более широкими кругами. Я привез его на квартиру, где можно было увидеть Сильву, и готов был провалиться сквозь землю. По чьему-то "доброму" совету, Сильва повела себя с Осиповым крайне высокомерно, от нее не отставали и прочие. Было стыдно за них – Осипов ехал к ним с открытой душой.

Вскоре его снова арестовали. Я собрал подписи в его защиту. Согласился поставить свою подпись и уже уезжавший Воронель.

ОТВЕТ ИЗ ФЛОРИДЫ

*Вот слышится крик. Полисмены лютуют!
Вот слышится стон. Это негра линчуют.*

Зяма Телесин в переводе А. Безыменского

Я середине октября я уехал на неделю в Гагры. Я устал и хотел перевести дух. Это было время суда над Польским, ради которого я много сделал и, в частности, убедил прийти на суд Андрея Дмитриевича.

В Гаграх я прочел "Герцога" Сола Беллоу, которого мне прислала из Америки Лорел Гульд. Если "Мистер Сэмплер" казался мне очень близким, то куда ближе оказался "Герцог", в котором я усмотрел много личного, пугающе много. Я уже не говорю о переписке Герцога с покойным В. В. Розановым, моим мистическим "предком".

В Москве я узнал от Джима, что адмирал прислал Вике вызов. Пришло время действовать. Я сочинил Вике письмо для Театра-студии киноактера, где она числилась в штате. Вика объясняла, что просит визу на три месяца, чтобы повидать отца. Письмо нужно было, чтобы получить характеристику для ОВИРа, без этого заявления не принимались.

Вику вызвали на заседание месткома. Я был рядом в коридоре. Через полчаса она вернулась расстроенная. Характеристику не дали, ссылаясь на ее неустойчивое поведение.

Личная жизнь Вики и впрямь была сложная, она сама ее честно описала позже в своей книге. Но она была несколько не сложнее, чем у других киноактрис в любой части земного шара. И уж во всяком случае, на этом основании нельзя было отказывать во встрече с отцом, с которым она была разлучена исключительно из-за бесчеловечия режима. Я не хотел толкать Вику на радикальные шаги и советовал исчерпать до конца легальные возможности, прежде чем играть ва-банк. Была еще одна инстанция, куда она могла апеллировать, – Мосфильм.

В это время в Москву приехала из Америки Ирина Кирк, которая начала всю эту историю пятнадцать лет назад. Она первой связала адмирала с Федоровыми. Ирина мечтала написать об этом бестселлер.

– Ирина! – предупредил я ее, – история скоро выйдет из-под контроля. Оформите с Викой какой-нибудь договор.

– Мелик! – строго сказала Ирина, – не учите меня, как делать дела.

У меня всегда было уважение к американской деловитости.

– Ну-ну! – только и оставалось мне сказать.

Тем временем мы стали похаживать с Викой в Дом кино и другие места. У нее было много друзей, вокруг всегда собиралась компания. Коньком Вики были анекдоты. Раз за вечер она рассказала, чтобы не соврать, анекдотов 200, которые я тут же, из-за их обилия, позабыл. Запомнил только, как артисты Мосфильма, спустив в командировке деньги, умудряются все же напиться допьяна. Один из рецептов был мне известен и раньше: макать хлеб в водку и сосать его. Другой рецепт отмечен печатью гениальной изобретательности и был, вероятно, результатом многих экспериментов. Выпив четвертинку на троих, собутельники клали голову на горячий радиатор и быстро доходили до кондиции.

Вика раз была за границей – в Египте. По дороге в Каир известный киноартист Петр Глебов учил остальных:

– Главное, не выпускать из рук чемоданы, а то их тут же схватят феллахи, а потом придется платить.

Когда артисты вышли в Каире из самолета, Глебов начал целоваться-обниматься с встречающими египтянами. Волей-неволей

пришлось выпустить из рук чемодан. А когда освободился, было поздно, чемодан сжимал в руках счастливый феллах. Взбешенный Глебов приблизился с угрожающим шепотом:

– Отдай, сука! Отдай сейчас же, кому говорю!
Перепуганный феллах выпустил добычу.

"ГЛЫБЫ"

*Чудо-юдо рыба-кит!
Оттого твои мученья,
Что без божия веленья
Проглотил ты средь морей
Три десятка кораблей.
Если дашь ты им свободу,
Снимет Бог с тебя невзгоду.*

Петр Ершов, "Конек Горбунок"

Наконец, Шафаревич сообщил, что все готово для пресс-конференции, которую раньше Солженицын планировал на апрель. В тот же день сам Солженицын устраивал пресс-конференцию в Цюрихе. С Нильсом Удгаардом был давний договор, чтобы он дал нам знать о начале цюрихской пресс-конференции. В назначенный час на квартиру Шафаревича пришло пятнадцать корреспондентов. С нашей стороны были Шафаревич, Дима Борисов, Женя Барабанов и я. Каждый из нас сделал свое заявление. Я говорил о том, что представляю в сборнике, который Солженицын окрестил "Из-под глыб", еврейское национальное движение, что свидетельствует об общности русских и еврейских интересов.

Корреспонденты решили проигнорировать появление "Глыб" как явление малосущественное.

В Москве только об этом и говорили, а за границей сборник не имел желаемого эффекта. Если бы Солженицын был в это время в России, дело было бы иным.

ТУЧКИ

*Безбожник, лентяй, дармоед!
Тебя развенчал твой сосед.
А ну отвечай, почему ты
Молился не больше минуты?*

Моше Тейф в переводе Ю. Мориц

После Можайской тюрьмы мое имя стало весьма популярно в американо-еврейском мире. Появились даже майки и значки с моим именем. Конечно, я не мог соревноваться со Слепаком или Польским, но был уже известен.

"Глыбы" дали новый импульс этой известности за пределами еврейского мира.

Я добился одной из своих целей. Я освободился от страха перед системой. Я говорил вслух почти все, что думал. Многим моя дерзость казалась чрезмерной. Находившийся уже в Израиле Вика Раскин говорил:

– Ясно. Он наверняка стукач. Почему ему все сходит безнаказанно?

Все безнаказанно мне отнюдь не сходило. Угроза "Александрова" начинала сбываться. Начался тихий процесс моей дискредитации. Не знаю, кто первый заговорил о моем христианстве. Теперь это невозможно проверить. Говорили, что начал в Америке Давид Азбель, другие указывали еще на кого-то.

Впрочем, этот процесс был вполне естественным. Раньше у меня не было врагов. Нечему было завидовать. Теперь было, и они не замедлили явиться.

Всем почти отказникам моего стажа и уровня известности заочно дали израильское подданство. Я просил об этом по телефону еще Саню Авербуха, которого для разговора со мною отпустили с Суэцкого канала. Однако результата не было. После моих настойчивых напоминаний передали, что я получу подданство в Израиле.

В телефонном разговоре покойного Гирша Токера и Дины Бейлиной с Канадой им сказали, что ходят слухи, мол, Агурский вообще нехороший человек. Дина их обругала. Мое участие в еврейских делах быстро усиливалось, авторитет также возрастал, но в отношениях с американскими евреями я стал ощущать подозрительную настороженность. Меня это не удивляло, я давно был готов ко всему самому худшему. Чтобы нейтрализовать эти слухи, я счел нужным написать в Америку письмо, отослал его 8-го декабря:

«Мне стало известно, что среди американских евреев распространяются ложные слухи относительно моей национальной ориентации. Я считаю себя обязанным сказать, что главной своей целью рассматриваю борьбу за будущее нашего народа. Я убежденный сионист и приеду в Израиль даже при самой худшей ситуации. История моей жизни, конечно, отличается очень сильно от большинства еврейских активистов (вся необходимая информация обо мне может быть получена от рабби Чарльза Херринга, Феникс, Аризона). Она началась давно, когда не существовало еврейского движения и не было никакой еврейской альтернативы. Теперь я глубоко убежден в том, что еврейская жизнь должна основываться, главным образом, на еврейском наследии, хотя я рассматриваю это наследие широко, следуя великому еврейскому философу Мартину Буберу.

Мне удалось установить много дружественных связей с неевреями. Я всегда старался убедить их в справедливости сионизма. Одним из них, как, вероятно, вы знаете, является Солженицын. Он пригласил меня (лишь одного еврея) написать статью в его сборнике (см. "Таймс", 25 ноября). В своем выступлении на пресс-конференции в Цюрихе он подчеркнул, что я принял участие в этом сборнике как сионист.

Имея моральную поддержку еврейских организаций, я мог бы сделать больший вклад в укрепление моральной позиции сионизма среди неевреев. Я был бы рад встретиться с представителем вашей или любой другой американской организации, чтобы прояснить свою позицию и свои взгляды. Пожалуйста, передайте о моем письме в другие еврейские организации».

Прямого ответа на это письмо я не получил, но готов биться об заклад, что один из американских евреев, посетивших вскоре Москву, наводил обо мне справки.

Вдобавок, из-за моих отношений с диссидентами разного толка, возникло совершенно ложное представление обо мне как об изначально "демократи", то есть как о нееврейском диссиденте. Эта репутация осталась за мной до сего дня.

ДЕЛА ЕВРЕЙСКИЕ

Ах, Мойшеле, смотри, как интересно:

Алэф – А,

Бейт – Б,

Гимел – Г.

Моше Тейф в переводе Ю. Мориц

Уезжал Воронель, издававший самиздатский журнал "Евреи в СССР". В Москве он почти не имел хождения и вряд ли печатался в количестве более одной закладки, но зато был широко известен за границей. Воронель попросил меня формально возглавить журнал после его отъезда, хотя вся практическая работа должна была делаться Рафой Нудельманом и Ильей Рубиным. Они еще не подавали заявления о выезде и опасались ставить свои имена на титульном листе. Таким образом, я мыслился чем-то вроде зиц-председателя. Я дал на это согласие.

Я уже твердо решил изменить свою специальность и при первой же возможности полностью отдаться гуманитарным наукам, но не надеялся сделать это сразу после приезда в Израиль. Я планировал сначала поступить учиться или же, если удастся, защитить гуманитарную диссертацию. Пока же временно работать инженером или найти научную работу, типа той, которую вел в ИАТе. С этой целью я стал посещать семинар Александра Яковлевича Лернера, где принимали участие Лунц, Брайловский, Файн. Вместе с моей работой в ВИНТИ это позволило мне не отрываться от прежней специальности.

Правда, посещение этого семинара стало втягивать меня в конфликты между разными группировками в среде отказников, от чего я старался всячески уклоняться.

Кроме того, я давно посещал гуманитарный семинар Виталия Рубина, одно время привлекавший много народу, но там состав был гораздо более текучий, так как гуманитарщики быстрее уезжали. На этом семинаре я впервые в докладе Димы Сегала услы-

шал про книгу Гершома Шолема о еврейском мистицизме и каббале. Я также сделал несколько докладов на этом семинаре.

Несколько раз я принимался учить иврит, сначала слевой Коганом, но он уехал, потом с моим другом Вольфом Московичем, который тоже уехал, и, наконец, с Валей Рогинской, которая уехала, проведя всего два урока.

В конце 73-го года я отправил в Штаты на имя одного из моих юных покровителей, Гарри Блэра, микрофильм письма отца Шахно Эпштейну. Микрофильм мне сделал Валя Турчин. Через год Виталий Рубин дал мне копию этого письма, уже переведенного на английский. Вначале кто-то даже принял его за фальшивку. Уж не я ли с моим "отличным" знанием идиша сделал ее?..

Уже года два как стали поступать противоречивые слухи об А. М., который на многие годы исчез с моего горизонта, и я даже стал сомневаться, жив ли он. Сначала мне сказали, что он имеет отношение к двадцатке ленинградской синагоги и отговаривает евреев уезжать, а потом вдруг, что сам уехал.

САНА ХАСАН

Мой Ибрагим поет, как Авраам,

Якув как Яков,

Вот Иса – Иисус.

Муса – мой Моисей по вечерам.

Олжас Сулейменов

В то время развернула бурную активность египтянка Сана Хасан, жившая в Америке. Она вступила в диалог с левыми израильтянами, что само по себе было необычно. Мне попался "Нью-Йорк ревью оф букс" с ее статьей по ближневосточному вопросу. Я тут же послал туда письмо, которое, однако, не было опубликовано. Мое письмо говорит, что я занимал уже тогда позицию, которую можно было бы назвать militant left*.

LOVE STORY

Вот толпы рабочих, что, сжав кулаки,

Грозят уоллстритовцам гордо и смело –

Их Белому дому и черному делу.

Зяма Телесин в переводе А. Безыменского

В середине января Вика получила решительный отказ и от Мосфильма. Она, было, пробовала сунуться в ОВИР без характеристики, но безрезультатно. Оставалось идти в открытую. В последние мирные дни Вика устроила день рождения. Была там Бэлла Ахмадулина с мужем Борисом Мессерером, был Викин ре-

* Воинствующий левый (англ.)

жиссер Миша Богин, мой приятель Эмма Бобров с женой и еще кое-кто. Я получил, наконец, полномочия от Зои и Вики звать корреспондентов. На ближайшем семинаре у Лернера я встретил Боба Тота и назначил ему день и час в доме у Федоровых. Он должен был привести Криса Рена, но тот уехал лечить зубы в Финляндию.

Тем временем я репетировал, что нужно сказать. Самым легким и испытанным путем была новая жалоба на власти. Не пускают! Я решил действовать иначе. Надо было сделать love story и так ее изложить, чтобы не было непосредственной атаки на власть. В книге Вики, опубликованной в Америке, рассказывается, что за Зоей Федоровой ухаживал Берия и что ее арест был, в конечном счете, его личной мстью. Этот эпизод должен был стать частью love story. Естественно, версия зависела от меня, так как ни Зоя, ни Вика по-английски не говорили.

Наконец, пришли Боб и журналист из "Нью-Йорк Таймс", заменявший Криса в его отсутствие.

Когда я дошел до Берии, Зоя, которая предположительно не знала английского, зло прервала меня:

– Что это вы о Берии рассказываете? Я что, об этом вас просила?

Сказались лагерные страхи. В последнюю секунду она испугалась. Корреспонденты переглянулись. Почва уходила из-под ног. Зоина выходка могла сорвать все.

– Извините ее, – вышел я из положения. – Она долго сидела, вы должны понять ее опасения. Опустим все, что касается Берии.

Обстановка доверия восстановилась.

Наступили мучительные для Федоровых дни ожидания и неопределенности. Они не отходили от приемника. Прошло дня три и все еще ничего не было слышно.

– Что будет! Что будет! – причитала Зоя.

Наконец, на четвертый день "Голос Америки" в программе для полуночников передал содержание статьи. Весть об этом облетела Москву.

Зоя и Вика всегда были очень популярны. Жизнь у них дома перевернулась вверх дном. Их стали осаждать репортеры. Прибыла и бригада Си-Би-ЭС, бравшая у меня интервью в роще. Позвонил адмирал. Рвала телефон Ирина Кирк. Как я и предполагал, дело уходило от нее. Но и я стал терять над ним контроль. Не мог же я просиживать у Федоровых целыми днями.

Атака повелась сразу с двух сторон. Однажды, при мне, явился господин лет шестидесяти, одорукий, худощавый, выдавший вид. Отрекомендовался – Генри Грис, raving editor еженедельника "National Enquire". Он не был аккредитован в Москве и был в это время в СССР на конгрессе парапсихологов. Господин говорил порусски с акцентом и сказал, что родом из Риги. Вероятно, он был немецкого происхождения. Он мне сразу здорово не понравился. В то время как раз посадили одного советского парапсихолога, и я, естественно, решил, что Грис заинтересован этим делом. Не тут-то было. Мистер Грис проявлял полное отсутствие интереса ко всему, что пахло оппозицией.

– Вы получите разрешение, – уверенно сказал мистер Грис, – я уже говорил об этом в АПН.

Странная прыть для не аккредитованного корреспондента!

– Мой журнал предлагает вам полностью оплатить поездку в США со всеми расходами, связанными с вашим пребыванием в Америке, в обмен на исключительное право освещать вашу поездку.

– Мы подумаем, – ответил я, имея в виду несчастную Ирину Кирк.

Но мистеру Грису не стоило класть палец в рот. Он тут же умчал в Штаты, явился к адмиралу, сказав ему, что якобы уполномочен на это Викой, и устроил ему звонок за свой счет в Москву. Вике же сказал, что уполномочен адмиралом. Заинтересованные стороны друг друга не понимали, так что переводчик мистер Грис стал хозяином положения.

В Викиной книге говорится, что адмирал считал Генри агентом ГБ. Ту же уверенность высказывали и некоторые американцы в Москве.

Атака велась и на другом фронте. Вероятно, ГБ руководствовалось ложной мыслью, что у нас с Викторией роман, чего на самом деле не было.

Так или иначе, ее решили вырвать из-под моего влияния. Возле нее мгновенно появился статист из балета Большого театра, эдакий русский Садко. О том, что ГБ широко пользуется балеринами, известно всем, но к его услугам есть не только девицы. Садко сразу утащил Вику к себе, так что иностранные журналисты не могли к ней пробиться в самый разгар ее популярности. Зоя заволновалась:

– Мелик! Это же ГБ, я их по запаху знаю! Вы должны вмешаться!

– В какое положение вы меня ставите? Чего ради я буду вмешиваться? И вообще, все это ненадолго. Вы же Вику лучше меня знаете.

ПОПРАВКА ДЖЕКSONА

*Свободно ты можешь всегда голодать –
За это не будут тебя упрекать!
Свободно ходи у дверей ресторанов,
Где жрут бизнесмены телят и баранов!*

Зяма Телесин
в переводе А. Безыменского

Когда ТАСС 19 декабря 74-го года передало сообщение, что СССР отказывается смягчить свою эмиграционную политику, я тут же сделал по телефону следующее заявление:

«Почти нет сомнений в том, что заявление ТАСС отражает острую внутреннюю борьбу и нестабильность советского руководства и имеет своей целью скомпрометировать тех его членов, которые ответственны за советско-американские переговоры.

В то же время оно демонстрирует полное банкротство так называемой "тихой дипломатии" доктора Киссинджера не только в этом районе мира, но и повсюду.

11 час. 19 декабря 1974 года».

Это заявление было упомянуто в "Нью-Йорк Таймс". И как только СССР расторг советско-американский торговый договор, я передал еще одно заявление, где вновь указывал на внутреннюю борьбу руководства и на полную ошибочность политики Киссинджера.

Вокруг поправки Джексона разгорелся спор, в частности, вызванный очередной статьей Роя Медведева. Я решил пойти на необычный шаг и устроил у себя на квартире диспут. Совершенно открыто я стал договариваться об этом по телефону, чтобы исключить спонтанные реакции ГБ. Я пригласил Роя, Турчина, Юру Орлова, Леню Бородин, Алика Гольдфарба. Были представлены все ведущие течения оппозиции: социалисты – Рой, либералы – Тур и Орлов, сионисты – я и Алик, русские националисты – Бородин. Собралось с десятков корреспондентов. На сей раз они, видимо, договорились комментировать это, в общем, незаурядное событие. Уходя, Нильс Удгаард засмеялся:

– Ну, после этого, мне кажется, вы здесь долго не задержитесь...

Это было правдой, но "не задержаться" я мог в двух диаметрально противоположных направлениях: на Запад или на Восток...

ЖУРФИКС

Он совсем разнуждался, подлец,

Он отбился от рук.

Александр Галич

Начиная с конца 74-го года количество приходящих ко мне людей (без предупреждения, из-за отключения телефона) так возросло, что жить стало невозможно. Я решил ввести журфикс раз в неделю, чтобы в другие дни ко мне не приходили. На этот журфикс стали собираться десятками. Я открыто раздавал книги, в изобилии получаемые мною из-за границы, с условием возврата.

Кто только у меня не бывал! Люди, о которых я знал понаслышке, к которым и попасть не смог бы в нормальных условиях, приходили советоваться, просить поддержки и т.п.

Однажды на пороге моей двери возникла... "Вавилонская Башня", ну, не сама, конечно, башня, а ее бывший редактор из Детгиза: Анна Викторовна Ясиновская. Что сделала с человеком жизнь! Точь-в-точь как в анекдоте про Чапаева:

«Идут в Нью-Йорке Василий Иванович и Петька. А им навстречу Пеле. Василий Иванович спрашивает Петьку:

– Это кто такой?

– Солженицын.

– Как человека очернили!»

Вот и Анна Викторовна. Из страстной любительницы русской литературы она превратилась в столь же страстную иудейку. По

ее просьбе я заказал ей вызов и связал с религиозными евреями, из которых самым лучшим и достойным был мой приятель Илья Эсас. Он был в то время одним из немногих органичных, цельных, религиозных молодых евреев, пришедших к иудаизму не из божьих, как остальные, а из традиционной семьи.

Поскольку, согласно одному из законов Мэрфи, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, не осталась безнаказанной и моя помощь Ясиновской, но возмездие за это я получил уже в Израиле.

Явился ко мне представившийся врачом-психиатром из Владимира Исаак Гиндис, получивший мой адрес от Воронеля. Здесь, правда, действовал какой-то другой закон, не вышеуказанный закон Мэрфи. У него было сухое лицо изувера и колючий взгляд. Он, по его словам, искал литературу по антисемитизму и произвел на меня тогда впечатление психиатра, который сам заслуживает лечения. Выяснилось, что он принадлежит к тем самым "лучшим людям", о которых пытался говорить мне Сазонов. Говорил ли с ним Сазонов?

РУССКИЙ КАТОЛИК

*Чтобы было все понятно
Надо жить начать обратно
И ходить гулять в леса
Обрывая волоса.*

Александр Введенский

Март принес еще один сюрприз. Я получил письмо от Солженицына, в котором он сообщал, что Панин, тот самый идеализированный им Сологдин из "Первого круга", вдруг обвинил меня в том, что я якобы украл его идеи для статьи в "Глыбах"! Оказывается, будучи знакомым с Глазовым, я мог читать у него рукописи Панина.

Во-первых, с Глазовым я вообще никогда не говорил о Панине и даже не знал, что они знакомы. О Панине я слышал от Юры Давыдова и Пиамы Гайденко. Во-вторых, я никогда не читал его рукописей и был только понаслышке знаком с двумя его идеями: необходимостью создания рыцарского ордена и изгнания всех атеистов на комфортабельный, но не обитаемый остров. По просьбе Александра Исаевича я вернул ему как его письмо, так и письмо Панина. Самым нелепым образом Панин считал у себя украденными тривиальные высказывания, просто общие места.

Панин грубо шантажировал Солженицына и грозился, что если тот не объявит публично, что будто бы я заимствовал его идеи, он устроит вселенский скандал и подаст в суд, чтобы прекратить продажу "Глыб".

Солженицын просил меня подготовить ответ на случай, если Панин решится на такие безумные действия, что я немедленно и сделал. В тот же вечер отправил соответствующее письмо в Цюрих.

Русский католик не выполнил своей мрачной угрозы, и письмо мое не было опубликовано. С тех пор я содрогаюсь от одного его имени. Думаю, однако, во всей этой истории Паниным руководила обида на Солженицына, потому что тот не пригласил его в соавторы.

ТУПИК

*Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе.
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.*

Николай Олейников

Я понимал, что поставил власти перед выбором: посадить меня или же выпустить. Я зашел слишком далеко. Алик Гинзбург сказал в Милане в 83-м году, указывая на меня:

– Этот человек выдумал советское диссидентство года на три ранше.

Он сильно преувеличивал. Я лишь сводил разных людей и разные течения, придумывал новые модели поведения, новую тактику. Это открыло дорогу для ряда людей, но она, эта дорога, обошлась другим недешево. Пошел по ней Толя Щаранский и дорого за это заплатил. Останься я в России чуть дольше, и я бы схлопотал на полную катушку. Я чувствовал нарастающую напряженность положения и понимал, что зашел в некий тупик. Это не могло не привести к разным срывам, облеченным в иронию, иногда граничащую с истерикой. Иногда все это напоминало пир во время чумы.

На одном таком пиру Юра Шиханович совершил гораздо более предосудительный поступок, чем я в свое время с Карякиным на проводах Коржавина. Он тайно выбросил последнюю бутылку водки в мусоропровод.

Как-то в середине марта пировал я в одной компании. Были там глыбщики, Наташа Горбаневская и другие. В это время у Войновича, квартира которого была в том же подъезде, готовился к выпуску в Париже "Чонкин". Я договорился с Наташей, и она, инсценируя парижскую телефонистку, позвонила Войновичу. Трубку взяла жена. Ничего уже нельзя было остановить.

– Isi Paris. Monsieur Voinovitch?

Войновича не было дома.

– Никита Алексеевич? – радостно спросила его жена.

– Это я, – ответил я спокойным баритоном.

– Никита Алексеевич, мы все вопросы получили и поправки внесли.

– Спасибо, но я звоню вам по неприятному делу.

Незадолго до этого Войнович высмеял вновь созданное Всесоюзное агентство по охране авторских прав – ВААП.

– ВААП подал на вас в суд и требует запретить выпуск книги. Все зависит от твердости вашего мужа.

– Будьте в этом уверены!

Я повесил трубку под всеобщий хохот. Минут через пятнадцать я снова позвонил Войновичам, и еще раз изменив голос, мрачно сказал:

– За систематическое ведение антисоветских разговоров ваш телефон отключается на полгода.

Войнович вернулся домой часа через два от Кости Богатырева. Мы зазвали его к себе и вдоволь посмеялись.

ОТЪЕЗД

*О, Русь моя, родимый мой барак!
Прости меня, неверного еврея!*

Борис Камянов

*Лишь ты остаешься мне, русская речь,
И только распев дактилической рифмы
Сумел бы с Россией меня примирить.
Ах, только б найти Ариаднину нить!*

Нина Воронель

Вика, наконец, получила разрешение. Генри Грис обтяпал дело чисто. Условия отъезда исключали встречи с другими корреспондентами. Адмирал написал благодарственное письмо Брежневу, кроме того, Вика публично пообещала вернуться и выйти замуж за Садко. Я тепло ее поздравил. День отъезда Генри держал в секрете.

– Увидимся, – сказал я на прощание.

28 марта и меня вызвали в ОВИР. Я уже имел печальный опыт и не возлагал на это больших надежд. Фадеев, начальник ОВИРа, доброжелательно сообщил, что принято решение... дать мне разрешение на выезд в Израиль. На сборы давалось только десять дней. Обычно давался месяц.

Поблагодарив Фадеева, я обратился к инструктору Сивец:

– Какие нужны документы?

– Характеристика для жены и дочери.

– На это уйдет месяц.

– Ладно, – поморщилась Сивец, – пусть будет без характеристик.

Получение характеристики было, как известно, самой неприятной и унижительной процедурой. Моя семья, вероятно, была едва ли не единственной, в которой все умудрились этой процедуры избежать.

Я тут же передал корреспондентам о том, что получил разрешение. Уже тогда я обратил внимание на совпадение моего разрешения и разрешения Вики. Было ли это случайностью? Теперь я думаю, что да, но разговор об этом впереди.

Когда я сообщил Войновичу о своем отъезде, он обрушился на меня по телефону с руганью:

– Хватит разыгрывать! Моя жена после твоего розыгрыша больна.

– Володя, это правда, честное слово.

– Ну да!

– Правда!

Времени было чудовищно мало. Уехать за десять дней казалось нереальным. Предстояло продать кооперативную квартиру, решить как быть с вещами и тому подобное.

Свои проводы я назначил на мой день рождения, пятое апреля. По оценке Нильса Удгаарда, написавшего об этом большую статью в "Афтенпостен", было около пятисот человек.

Валя Турчин заблаговременно явился с постерами собственного изготовления, развесив их в разных углах квартиры:

УГОЛОК ДЛЯ ЕВРЕЯ. УГОЛОК ДЛЯ АНТИСЕМИТА

Пришел Рой Медведев. Пришла трогательная Зоя Федорова. Пришел Эрнст Неизвестный, с которым мы возобновили дружественные отношения после долгого перерыва. Он тоже собрался уезжать. Пришел Шафаревич. Все "глыбчики" были налицо – явные и анонимные. Пришли русские националисты: Бородин, Шиманов, Толя Иванов.

Пришла Наталья Николаевна Столярова, секретарша покойного Эренбурга. Все вредоносное Беляево-Богородское тоже явилось: Алик Гинзбург, Юра Орлов, Женя Якир, Гриша Розенштейн и другие. Володя Войнович потребовал от меня не звонить ему от имени Голды Меир. Андрей Дмитриевич Сахаров и Люся прислали телеграмму.

Пришел Александр. Я рассказал ему, что отныне свою задачу вижу в том, чтобы способствовать взаимопониманию евреев и христиан. Мы тепло с ним попрощались.

Давка была неимоверная. Володя Левин, заведующий литературной страницей "Труда", ныне покойный, так напился, что начал громко рыдать, а потом разбил лампочку на кухне. Большого труда стоило его уговорить...

К некоторым я поехал сам. Трогательное прощание было с моим выздоровевшим редактором, Матвеевко, которого я одно время замещал в ВИНТИ. Мы раньше никогда не говорили с ним ни о чем, кроме работы. Я поехал к нему с бутылкой дорогого коньяка.

– Я, конечно, слышал кое-что и раньше, – признался Матвеевко. – Но вы ведь не будете выступать против своей Родины?

– Если я с чем-то не согласен, это вовсе не касается самой страны и народа. Моя критика – политическая.

Прощался я с Андреем Дмитриевичем. Я пробыл у него на даче минут десять, не более. Шофер такси ждал меня и очень удивился, узнав, что человек, которого он видел, и есть знаменитый Сахаров.

– Думаешь, я всему верю, что в газетах пишут? – сказал он.

По дачному поселку, где жил Андрей Дмитриевич, вздернув комсомольский нос, разгуливал не кто иной как один из главных героев моего повествования... Николай Михайлов, бывший министр культуры, бывший секретарь ЦК, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ, бывший уголовник Карзубый. Тот самый, которого чуть не побил в свое время Вася Ситников. Коля Михайлов, удивительно мало изменившийся, был, наконец, изгнан на пенсию.

Евгений Сергеевич и Милица Сергеевна Смирновы пожелали мне всего наилучшего и снова высказали свою затаенную надежду, что, мол, вновь воспрянет христианская Россия и народ-богоносец еще скажет свое слово.

Много лет я дружил с ближайшей подругой Надежды Васильевны Розановой – Еленой Дмитриевной Танненберг, художницей Союзмультфильма. Пришла пора прощаться и с нею. Она уже уехала из вечного Лихова переуллка, где занимала антресоли в коммунальной квартире в доме, что до революции целиком принадлежал ее семье. Занавес закрылся и за нею. Я отправился в Загорск прощаться с Татьяной Васильевной. Она умирала, но была в полном сознании. Мы распрощались навеки. Через три недели она скончалась.

Я прошелся по Лавре, в которой провел столько времени и от которой был уже внутренне отчужден. Это было прошлым.

Простился я и с Аллой Александровной Андреевой, которой тоже был стольким обязан. Ведерниковым я передал привет, ибо не хотел причинять им неприятностей своим визитом.

Кончалась длительная и исключительно важная эпоха моей жизни. Христианская Россия отпускала меня, и мой долг перед ней был вовсе не в том, чтобы взять с собой ее обычаи и заветы, а в том, чтобы помочь ей, насколько это было в моих силах, прийти к себя.

Мой приход к христианству был вызван не богословскими соображениями, не убеждением в превосходстве христианства, а тем, что в момент религиозного поиска я получил именно эту традицию, в отсутствие альтернативы. Я был младенец из Галахи, лишенный воспитания, и мой путь не был ошибкой или же заблуждением. Для меня это был единственно возможный путь. Именно он привел меня через различные промежуточные стадии к своему народу, к его традиции, к его заветам. Я получил иудаизм из христианства в той мере, в какой, по словам рава Кука, оно было освящено светом Торы. Я вышел из него, а не ушел от него. Это был мой Исход. Я не рассуждал в категориях истинности, а в категориях родства и близости. В делах религии истинно то, во что человек верит, то, в чем он находит свой дом. Христианство не было моим домом. Я был у него в гостях. Это был другой дом, другой путь.

Этот дом оказал мне гостеприимство, великое гостеприимство. Он воспитал меня. Я взял у него все лучшее, что мог, но меня ждал свой дом. Пути наши расходились. Накануне моего отъезда была еврейская Пасха. Первый раз в жизни я праздновал ее в еврейском доме. Я раньше не знал, что такое *седер*. Мое переселение началось.

Михаил Торелик
В ПОИСКАХ ДОМА

1

Даже беглое знакомство с рукописью Михаила Агурского, ставшей впоследствии книгой*, привело к выводу, что основой этого текста послужил значительно более обширный вариант мемуаров. Об этом свидетельствовал характер правок второй части. Внимательный читатель книги, должно быть, обратил внимание, что размер глав второй части резко отличается от первой: это даже не главы – главки, так что вполне можно было предположить, что это лишь фрагменты некоего не дошедшего до нас целого. Вторая часть в три раза меньше первой, а ведь она посвящена наиболее насыщенному времени российской жизни автора. Людям, знавшим Агурского, было прекрасно известно, что за границами повествования осталась очень важная часть его жизни.

Первоначальный вариант мемуаров – вариант без изъятий – попал ко мне в руки, когда подготовка к публикации рукописи вошла уже в завершающую стадию. По правде сказать, хорошо, что это не произошло раньше: воля автора была выражена ясно – он не хотел публикации полного текста, он работал над ним, целенаправленно изымая порой значительные фрагменты; результатом стала та редакция воспоминаний, которая и вошла в книгу.

Как следовало поступить, располагая с самого начала обеими рукописями? Не знаю. Допускаю, что, даже учитывая исключительный интерес отвергнутого Агурским текста, все-таки не стоило его тогда публиковать. Во всяком случае, я рад, что мне не пришлось принимать этого решения.

Но, с другой стороны, кому дано знать, как отнесся бы к этому сам Агурский? Быть может, когда стали неактуальны сиюминутные ограничения и вызванные ими соображения, он был бы только рад, чтобы прозвучало наконец то, что внутренняя цензура не позволяла ему сказать при жизни.

Хочу напомнить, как была устроена рукопись – а вслед за ней и книга. Она состояла из двух частей. Первая завершалась 60-м годом, вторая – 75-м (отъезд из СССР). Первая часть практически не претерпела изменений, основным объектом авторской хирургии стала вторая часть, которая была исчеркана, изрезана, переписана.

Смысловая граница второй части, а вместе с ней и всей книги, совершенно внятна: завершение российской жизни. Граница первой части кажется лишенной какого бы то ни было смысла, она представляется механическим разделением объемного текста: можно было бы разрезать в этом месте, а можно было и в том.

* Михаил Агурский. «Пепел Клааса», URA Publishers, Иерусалим, 1996

Впечатление совершенной произвольности и случайности деления усугубляется тем, что граница как бы демонстративно проходит внутри 60-го года. Отчего бы не довести год до конца? Или же полностью не перенести его во вторую часть?

В том, что создается такое впечатление, – вина и публикаторов, и самого автора.

Публикаторам уж очень хотелось познакомить читателя хотя бы с несколькими автономными фрагментами из ставшей доступной «большой» рукописи; они и были вставлены в конец первой части. Речь идет о главах 81-84; среди них переписка с Иваном Ефремовым, политико-культурологический этюд о Китае и пара историй о контактах с ГБ. Будучи сами по себе интересны, они свели на нет точную драматургическую завершенность первой части.

Кроме того, целенаправленной правкой автор сделал все, чтобы скрыть свой первоначальный замысел. В сущности, в конце первой части он показал ружье, которое должно во второй части выстрелить – и оно еще как выстреливает! Да только читатель книги не может этого заметить: все эпизоды пальбы оказались безжалостно вырезаны.

О чем идет речь в «на самом деле» последней, 80-й главе?

Это – забавная новелла о посещении правительственной делегацией ВДНХ, где тогда работал Михаил Агурский.

Кстати, одной из героинь этой новеллы стала находившаяся тогда с визитом в СССР член политбюро Албанской партии Труда красавица Лири Белишова. «После посещения СССР, – пишет Агурский, – она была внезапно арестована и расстреляна по приказу Великого Вождя Албанского Народа Энвера Ходжи».

Непрерывно фонтанирующий в части идей и концепций автор объясняет падение Лири Белишовой не последовательной политической игрой албанского диктатора, а неосторожной любовной интрижкой, вызвавшей его раздражение.

В преамбуле к книге я предупреждал, что она «несвободна от некоторых фактических неточностей... – пища для будущих комментаторов», имея в виду, в частности, и этот эпизод. Воспользуюсь здесь случаем, чтобы выступить в качестве «будущего комментатора». Лири Белишова не была расстреляна, ей не пришлось томиться в тюремном застенке и в лагере – она была «только лишь» отправлена в ссылку, где провела десятки лет. В 90-м (кажется) году она была освобождена. Но, в конце концов, и в этом, и в некоторых иных случаях, важно не как все было «на самом деле», а как воспринимал свое время автор на основании имеющейся у него тогда информации и в рамках своего представления о мире. Но это так, кстати.

2

Для понимания смысла завершения первой части важна концовка 80-й главы, которая действительно становится кодой.

«Бессонная неделя, нервозность и напряжение не прошли даром... Я испытал серьезный нервный срыв, который произвел на меня, как потом выяснилось, глубокое воздействие. Это было

началом моего внутреннего переворота. Я лежал в постели один. Все близкие уехали на лето из Москвы. Я не испытывал никакой боли, но не мог встать и не хотел выходить на улицу. Чтобы чем-то отвлечься, я снял с полки «Анну Каренину», которую читал в школьные годы. Взял просто так, быть может, потому, что она стояла прямо передо мной. Я нехотя заставил себя вчитаться и поймал себя на мысли, что сцены, которые когда-то при первом чтении пропускал, стали для меня центральными, а вся линия Анны вызывала тяжелое раздражение. Я заново перечитал также «Войну и мир», увидев там многое, чего раньше не замечал и не понимал.

Во мне наметился резкий душевный перелом, который был необратим. Я вдруг нащупал в своей жизни новую точку опоры, которую судорожно искал, вынужденный блуждать в мире кафкианских Главных Павильонов, «хлопковых полей», Абдурахмановых и Рыликов, Мойсеевых и Позиных.»

Промежуточный итог жизни автора-героя – кризис, который может быть очевидным образом интерпретирован в терминах депрессивного синдрома. Кстати говоря, публикацию в «Иерусалимском журнале» открывает глава, которая именно так и называется – «Кризис». Она посвящена тем же тяжелым дням жизни автора. Агурский рассказывает, что сам был склонен рассматривать свое тогдашнее состояние как болезнь и подумывал обратиться к врачу. На сей раз «нервное переутомление» было вызвано иными причинами.

Можно ли объяснить духовный переворот, происшедший с Агурским, редуccionистски? Почему бы и нет. Редуccionистски можно объяснить все что угодно. Вообще говоря, постановка такого вопроса обладает здесь внутренней уместностью, поскольку и сам Агурский по прошествии времени задумывался над природой своей внутренней динамики. В «Кризисе» он называет философию жизни, к которой приходит в определенный момент, «чистой рационализацией»: «я просто нуждался в философии жизни, оправдывавшей мое нынешнее угнетенное положение». Интересно, что, придя к такому выводу локально, он не делает следующего, как будто логичного и естественного, шага: не ставит этот вопрос более широко – относительно религиозного мирозерцания, в значительной мере определявшего его жизнь долгие годы. Не хватило ему интеллектуальной смелости? Был ли сам вопрос чересчур болезнен? Просто не приходило в голову? Или же Агурский размышлял об этом, но полагал даже постановку вопроса бессмысленной из-за очевидности ответа?

Сам он объясняет внутренний переворот, положивший начало его пути из кафкианских павильонов советской жизни, чисто мистически, и это объяснение потом не ставится под сомнение. Во тьме возникает свет. «Я вдруг нащупал в своей жизни новую точку опоры, которую судорожно искал». Что это за «точка опоры»? Что привлекает внимание потерявшего смысл существования героя, который дошел уже до того, что не может заставить себя встать с постели?

Вот Агурский берет случайно оказавшуюся рядом книгу (сам-то он, впрочем, склонен все видеть в провиденциальном свете):

«сцены, которые когда-то при первом чтении пропускал, стали для меня центральными», «увидел там многое, чего раньше не замечал и не понимал». Духовные искания героев Толстого помогают не то чтобы найти, но, скорее уж осознать Агурскому свой собственный путь. Между прочим, в главе «Кризис» он пишет: «Спасение пришло из книг». На сей раз спасителем оказался не Толстой, а Достоевский.

Агурский сначала пишет о книгах и о том действии, которые они на него произвели, и только затем о душевном переломе, о новой точке опоры. Но эта последовательность условна: ведь он читает уже новыми глазами.

Первая часть книги завершается положительным религиозным кризисом автора. Встав с постели, он знает, в каком направлении двигаться. По логике вещей вторая часть должна быть посвящена этому движению. Да только читатель ничего подобного не найдет: стараниями автора весь этот важнейший пласт повествования оказался полностью уничтожен. Ну а если и остались кое-где едва заметные следы, то их обнаружит разве что уж очень внимательный или специально ориентированный на поиск читатель.

3

Вторая часть книги (в первоизданном состоянии) повествует о двух больших любовных романах Михаила Агурского: православном и сионистском. Разумеется, они далеко не исчерпывают ее содержания, много чего интересного есть и помимо них, но эти две не только пересекающиеся, но и взаимно проникающие темы оказываются магистральными. Сионистский роман и прагматически и с точки зрения общей фабулы, представляется важнее – благодаря ему автор-герой покидает Россию. Однако концептуально, с точки зрения сюжета, православный мотив ничуть не менее важен. «Пепел Клааса» полон еврейских историй и переживаний – «выставочная новелла» лишена их как бы демонстративно. Душа героя не может более существовать в абсурдном и обесмысленном мире, она отчаивается и гибнет (то есть буквально гибнет, уже и с постели не встать), откуда вдруг не приходит неожиданное спасение. Есть ли тут какой-нибудь еврейский мотив? Хоть намек? И намек нет! В остром внутреннем кризисе героя национальность вообще не играет никакой роли. Это уж потом Агурский будет порицать «новых христиан» за равнодушие к национальным и конфессиональным границам. А сам-то каков был? Какое там православие, какая Россия?! Душе тошно, дышать нечем, ноги не ходят – не до народности! Правда, в таком первоизданном младенческом состоянии пребывал он недолго.

На вопрос, почему он выбрал православие, Агурский отвечал: не я выбирал – оно меня выбрало. Его обращение – это «да» Богу, крик из глубины, благодарность за спасение. Другое дело, что это духовное движение обретает не то что при родах, а уже (естественно) при зачатии русскую «плоть». В мире Агурского иудаизм в то время вообще отсутствовал – ну, разве что как далекий, ли-

шенный какой бы то ни было актуальности и экзистенциальной значимости исторический феномен. Один из израильских друзей Агурского написал в некрологе о непродолжительном его увлечении христианством. Читатели «Иерусалимского журнала» могут легко убедиться в совершенной неадекватности этого определения. Не «увлечение» – любовь, переворачивающая жизнь, новая земля и новое небо. Автор пригласил в свою книгу многообразное сообщество в высшей степени оригинальных и не разменянных мемуаристами церковных лиц (а и те, что уже разменяны, увидены уникальным образом). Он украсил свое повествование фрагментами внутреннего, порой очень интимного, церковного быта, тщательно укрытого от внешнего глаза – иерейские (а впрочем, и архиерейские) мелочи, не слишком известные и поныне. Даже слегка диковато, что подобная фактура материализуется на иерусалимской скале, а не на московском суглинке. Тут масса всего любопытного, но я намеренно оставляю эту богатую тему, она хоть и в высшей степени насыщенный, но все-таки фон: главное (для этих размышлений) – сам герой.

Воцерковление погружает его в наиболее нежные и интимные сферы «русского».

Все-таки не написать об этом оказалось выше моих сил. В послесловии к прооперированной автором книге я написал и для внимательного читателя рассказал все. Ну не все, так многое. И даже стилистически подчеркнул – чтоб мимо не пролетело.

«Русская культура, русская идея <...> Агурский <...> находит путь в град-Китеж <...>. Символическая «вратарница» этого града – Надежда Васильевна Розанова – как бы «нарочная», уж, конечно, «романная» соседка. На что ей эта коммуналка?! А потому что ей так по сюжету положено – дожидаться перед смертью нашего героя (Бог послал). Сколько теплоты и многозначительности в этом соседстве, как сам Василий Васильевич в облаке своих текстов благосклонно взирает на сретение на Сретенке! Один из этих текстов дождичком-эпиграфом брызг с небес – совсем, впрочем, мимо главы (ни боже мой, ни даже по касательной! – забавное свойство многих здешних эпиграфов), зато со свидетельством о сидящем во облаце, о всей т о й культуре, о последних ее, великих, страшных, больших, прекрасных и обидных вопросах.»

И Китеж, и вратарница, и русская идея, и Бог послал – куда уж больше. «Бог послал» – здесь вовсе не идиома (в идиомах я пишу с маленькой), и понимать надо совершенно буквально: тут сретение на улице со специальным именем (Набоков бы остался доволен). Надежда Васильевна Розанова – интеллигентная московская церковная старушка par excellence (тоже ведь чистой воды литература!) дождалась-таки духовного младенца, посланного ей свыше! И она ему тоже послана и в тех же (симметрично) терминах.

И тут новая глава романа. Во глубине церковных руд герой заново переживает свое еврейство, но уже под иными небесами. Если раньше от него были одни только большие и малые неприятности, то теперь он вдруг открывает для себя его великий положи-

тельный религиозный и историософский смысл – заметьте: все это происходит в начале 60-х.

Михаил Агурский рассказывает, как поразила его в свое время диалектика Константина Леонтьева, как этот мыслитель вооружил его новым методом понимания истории и культуры. Леонтьевское влияние отчетливо видно и в «Идеологии национал-большевизма» – уж не помню, ссылается ли на него Агурский. Кто хочет – может проверить. Сходные идеи он найдет потом (благодаря Гершому Шолему) в саббатизме. И вот оказывается, что такого рода диалектика приложима не только к большим общественным процессам, но и к собственному духовному пути Агурского.

В первой части книги видно, какую огромную внутреннюю работу проделал автор к моменту своего обращения. Душе настало пробуждение, но прежде он глубоко погрузился в русскую культуру, он ее «нашел», он ее избрал для себя как нечто принципиально противостоящее доминантной культуре общества, как нечто родное и соприродное его душе – для советского молодого человека тех лет (не только еврея) путь очень индивидуальный и неординарный. Агурский сам создал культурные предпосылки своего обращения, именно на путях погружения в русскую культуру он открывает для себя православие и обретает все более русское культурное дыхание. Все еврейское постепенно смывается с него в этом потоке. Вот, кажется, сейчас еще шаг – и не останется уже совсем ничего.

И тут оказывается, что это был путь к обретению своего еврейства.

В христианских рассказах Агурского есть два уровня: непосредственного переживания и последующей рефлексии. Уже выйдя за церковную ограду, ему надо было как-то осмыслить тот огромный жизненный опыт, который в сущности никуда не девался, но продолжал пребывать в нем. У него ни на миг не возникает искушения просто объявить его цепью интеллектуальных заблуждений или духовным наваждением – он уверенно интегрирует его в свое новое понимание мира.

Тут уместно вспомнить еще одного автора, решавшего подобную же задачу. Это Арье Барац с его «Лицами Торы», который также (но, как увидим, не так же) делает это. Он выстраивает вертикальную иерархическую модель, релятивизируя свой христианский опыт, переводя его ценность из разряда абсолютных в разряд относительных. Для него этот опыт и эти ценности – одна из ступенек лестницы. При этом Арье Барац подвергает христианское понимание мира богословской рефлексии, он интеллектуально преодолевает христианство.

Ничего подобного нет в опыте Агурского. Его модель не вертикальна, а горизонтальна. У него речь идет не о лестнице, а о с благодарностью пройденном пути. Характерно, что Агурский, богословски образованный человек, вообще не подвергает христианство богословской рефлексии: не интересно. В его духовной динамике нет драмы идей – речь идет о совершенно ином уровне отношения к миру. В его описаниях преобладают чувственные, а не интеллектуальные движения. Дух Василия Розанова продолжает витать над ним.

В отличие от Арье Бараца Агурский вовсе не оценивает христианство в категориях правоты и неправоты (хотя бы и относительно). Типичный пример: он прекрасно осведомлен о внутрихристианской полемике вокруг иконопочитания, ему прекрасно известно еврейское понимание этой материи. И что же? Сказываются ли непосредственно эти знания на его новом отношении к иконам? Очевидным образом – нет. Просто почитание икон утрачивает смысл лично для него.

То же самое и по отношению к христианству в целом. Его новая позиция не нуждается в критике прежней, не нуждается в интеллектуальном оправдании. Раньше было «так» – теперь стало «иначе». Река сделала поворот, и открылся совершенно новый пейзаж. Это вовсе не значит, что новый лучше прежнего; просто сейчас его пейзаж – этот. Другой вопрос, что это результат не только течения, но и воли, и усилий гребца: мог бы ведь и вообще сидеть на берегу.

Раньше домом Агурского было русское православие – теперь он «возвращается» в свой еврейский дом. Тема дома в его книге – одна из магистральных, я не буду повторяться и отсылаю тех, кому это интересно и к книге, и к своему послесловию.

Хочу еще раз напомнить о критических высказываниях Агурского в адрес новообращенных в христианство евреев, равнодушных к национальному и конфессиональному. Тут ведь тоже вопрос ставится не в категориях правоты и неправоты – речь идет о равнодушии этих людей к «дому» – к тому, что обладает в глазах Агурского огромной экзистенциальной и культурной ценностью.

Именно это отношение сближало его с русским консерватизмом – как с церковным, так и со светским. Русские консерваторы привыкли с подозрением смотреть на евреев как на сознательную или бессознательную подрывную (для их «дома») силу – в лице Агурского они получили неожиданного и горячего союзника.

4

«Пепел Клааса» завершается Шереметьевым – автор покидает Россию в надежде обретения нового дома. В последние минуты он очень волновался и непрестанно повторял: *quite another life*. В сущности звучало это и как *quite another ל"ב**.

Итак, он как бы стоит на одной ноге, он буквально подвешен в воздухе. Интригующее завершение книги, которой, вообще говоря, по идее определено было стать Книгой Первой – Книга Вторая должна была быть посвящена Израилю и еврейскому дому (в самом широком культурном смысле). В «Пепле Клааса» есть намеки на то, что Агурский собирался ее писать, а быть может, и начал, но если и так, то каких бы то ни было следов этой работы обнаружить так и не удалось.

«Пепел Клааса», в том виде, в каком книга опубликована, – это история о пути из России в Израиль, из русского мира в ев-

* ל"ב (иврит) – дом

рейский. Изъятые и теперь опубликованные в «Иерусалимском журнале» фрагменты дают представление о духовном содержании пути Агурского: из Церкви в... Казалось бы, путь его предопределен: в Синагогу. Ясное дело в Синагогу, куда же еще?! Такое развитие и завершение сюжета представляется естественным, симметричным.

Однако история Агурского в этот сценарий (вполне реализованный, кстати сказать, упомянутым Арье Барацем), решительно не укладывается. Православные переживания Агурского полны воздуха, нежности, теплоты, сердечного трепета, выразительной фактуры, юмора, наконец. Все это нисколько не пострадало из-за последующей рефлексии. Более того, рефлексия на фоне объекта своего приложения выглядит порой как-то бледновато. Чтобы уравновесить эту православную выразительность нужен сильный эмоциональный аккорд, очень сильный – что-нибудь такое в духе Франца Розенцвейга: зайти в канун Йом Кипура в синагогу и выйти оттуда совершенно иным человеком. Или кризис, подобный тому, которым завершается первая часть книги – сильная была бы драматургия симметрии. А вот ничего же подобного! Такой путь вовсе не просматривается. В мире, в котором живет Агурский, его как бы вообще не существует. Он начал интересоваться иудаизмом еще в Москве. Уже в Израиле, в Ткоа, он недолго учился у рава Менахема Фрумена, к которому относился с глубоким уважением. Работая над соответствующей главой «Национал-большевизма», автор явным образом держал под левым локтем Гершома Шолема. К харедим Агурский относился с демонстративным отвращением. Один известный московский журналист рассказывал мне, как был удивлен, а отчасти так даже и шокирован, услышав в одной израильской компании язвительные антихаредимские инвективы Агурского – в России такой антиклерикализм не был тогда возможен (невозможен он и сейчас). Журналист не испытывал к еврейским религиозным кругам никаких сантиментов но, вот, чтобы говорить о них *так* – это, по его мнению, далеко выходило за рамки правил игры, за рамки приличий. Как и многие в России, он совершенно не понимал характера израильских оппозиций.

Умеренно-позитивное отношение к еврейскому религиозному миру кончалось для Агурского на границе вязаных кип. Впрочем, он делал исключение для рава Адина Штейнзальца – в конце концов, его интересовало не то, что на голове, а то, что в голове.

Интерес (умеренный) к иудаизму носил у него интеллектуальный и культурологический, а не сердечный характер. Он определяет свое новое мироощущение как иудаизм в духе Бубера (вполне профессорское определение) – к православию-то принимал, яко елень к источникам водным. *Quite another life!*

Так человек, испытавший всепоглощающую любовь и отдавший ей весь жар души, потом уже не в силах испытать что-нибудь даже отдаленно близкое. Агурский тщательно обустроивал свой израильский дом, но субботние свечи, которые зажигала его жена, светили только ей – ему они не светили...

Аркадий Бронштейн

«СИМХА, СЫН ПОЧТЕННОГО РАББИ...»

29 июля 1824 года А. С. Пушкин получил предписание одесского градоначальника: «Нижеподписавшийся сим обязывается по данному от г. Одессы градоначальника маршруту без замедления отправиться из Одессы к месту назначения в губернский город Псков, не останавливаясь нигде по пути по своему произволу...».

9 августа поэт прибыл в Михайловское. Новая ссылка не была радостной для Пушкина, хотя там после долгих лет разлуки он встретился с родными. После свободы южной ссылки, после шумной и открытой одесской жизни поэта ожидала глухая деревня. Ко всему еще, отец взял на себя полицейские обязанности официального надзора за поведением сына и его перепиской. Столкновения с Сергеем Львовичем закончились тем, что отец с матерью и братом уехали. Но это не принесло поэту облегчения: он оторван от друзей, от развлечений, от ставшей привычной Одессы, где осталась любимая женщина. «Все, что напоминает мне море, – писал он Вере Федоровне Вяземской, – наводит на меня грусть – причиняет мне боль в буквальном смысле слова».

Первые месяцы пребывания в Михайловском были насыщены ностальгическими воспоминаниями. «Вот уже 4 месяца, как нахожусь я в глухой деревне – скучно, да нечего делать; здесь нет ни моря, ни голубого неба полудня, ни итальянской оперы...» А в письме к брату Льву Сергеевичу поэт просит: «*Пришли... перстень, мне грустно без него*». По всей вероятности, речь идет о перстне-талисмани, подаренном Пушкину графиней Е. К. Воронцовой. Этот перстень – «герой» стихотворений «Храни меня, мой талисман» и «Талисман». С ним связано много легенд.

Одна из них, не имеющая научного подтверждения (как и опровержения), гласит, что на самом деле перстней было два. Один из них был подарен поэту влюбленной женщиной, а близнец-талисман остался у нее. Не научным, а, скорее, эмоциональным подтверждением этому может служить стихотворение «Сожженное письмо»:

*Прощай, письмо любви, прощай! Она велела...
Как долго медлил я! Как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту! ...вспыхнули! пылают – легкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утрата впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулись листы;
На легком пепле их заветные черты*

*Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...*

Летом 1823 года Пушкин был переведен из Кишинева в Одессу в канцелярию новороссийского генерал-губернатора графа Михаила Семеновича Воронцова. При первой встрече Воронцов принял поэта «очень ласково». Пушкин стал частым посетителем дома Воронцовых, пользовался обширной библиотекой графа, общался с ним в одесском светском обществе. В начале сентября 1823 года поэт познакомился с супругой Воронцова Елизаветой Ксаверьевной и стал посетителем ее одесского салона. Со свойственной ему страстностью, Пушкин влюбляется в хозяйку салона. Чувства его, возможно, не остаются безответными. На полях рукописей «Евгения Онегина» и других черновиков, сменяя друг друга, появляются около тридцати рисунков с изображением Воронцовой. Отношения поэта с Елизаветой Ксаверьевной вызывают крайнее недовольство графа, который всячески стремится подчеркнуть, что стихотворец Александр Пушкин – всего лишь мелкий чиновник его, Воронцова, канцелярии. Используя свое влияние, Воронцов пытается удалить Пушкина из Одессы, что, в конце концов, и случилось – Пушкин был исключен из службы и выслан на жительство в село Михайловское.

Правда, и поэт не оставался в долгу. На Воронцова посыпался град эпитграмм.

14 июня 1824 года семейство Воронцовых с многочисленными гостями отправились в Гурзуф на яхте «Утеха». Еще в начале года Пушкин был уверен, что попадет в число приглашенных и вновь посетит Крым. Воронцов организовал поездку, чтобы отпраздновать новоселье в гурзуфском доме, купленном у герцога Ришелье. Том самом доме, где поэт провел «счастливейшие минуты жизни» с семьей генерала Раевского. А капитаном на яхте «Утеха» был Егор Васильевич Зонтаг, муж детской писательницы, племянницы и преданнейшего друга В. А. Жуковского.

Пушкин даже приглашает в эту поездку П. А. Вяземского, чтобы вместе провести лето в Крыму, «куда собирается пропасть дельного народа».

Пушкина, однако, на яхте не оказалось. Поэту оставалось только вообразить себя на корабле, уносившем любимую к берегам Крыма:

*Морей красавец окрыленный!
Тебя зову – плыви, плыви
И сохрани залог бесценный
Мольбам, надеждам и любви.
Ты, ветер, утренним дыханьем
Счастливый парус напрягай,
Волны внезапным колыханьем
Ее груди не утомляй.*

24 июля Елизавета Ксаверьевна возвратилась в Одессу, а 29 числа поступил организованный Воронцовым указ о немедленной высылке Пушкина. В один из оставшихся ему дней поэт встречается

с любимой женщиной. Во время прощания Елизавета Ксаверьевна дарит Пушкину перстень, полученный ею в Крыму на Чуфут-Кале.

...Следует вспомнить, что еще со времени путешествия по Крыму императрицы Екатерины II знатные путешественники в обязательном порядке посещали в Бахчисарае бывший дворец крымских ханов и древний город-крепость караимов Чуфут-Кале. Здесь Воронцовых встречал караимский общественный и религиозный деятель Симха (Симха бен-Соломон) Бабович. Был он человеком незаурядным. Его отец в 1795 году, вместе с группой знатных караимов, ходатайствовал в Петербурге об отмене в отношении караимов указа Екатерины II об обложении евреев двойными податями. Сын его Симха принял фамилию Бабович, происходящую от тюркского имени Баба. Как и отец, он много старался в пользу своих единоверцев и всегда ходатайствовал за них перед высшими сановниками. В 1837 году благодаря его стараниям в Евпатории было учреждено Караимское Духовное Правление, ведавшее делами караимских общин. Во главе Правления был поставлен С. Бабович с титулом хахама^{*}. Принять на Чуфут-Кале такого знатного гостя, как новороссийский генерал-губернатор, Бабович считал для себя особой честью. Кроме того, он, по-видимому, рассчитывал, что Воронцов в дальнейшем будет оказывать поддержку караимской общине. Во время посещения древнего караимского города четой Воронцовых С. Бабович преподнес знатым гостям золотой перстень – крупное кольцо витой формы с большим восьмиугольным камнем сердоликом, с надписью на иврите: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да будет благословенна его память». Надпись сверху и снизу украшена орнаментом из гроздьев винограда.

Перстень Симхи Бабовича стал не только знаком любви Пушкина и Воронцовой, но и утешением, своеобразной компенсацией поэту за несостоявшуюся поездку в Крым. Не случайно стихотворение «Талисман» полно крымскими, восточными ассоциациями.

Знал ли Пушкин перевод надписи на камне – не известно, но с перстнем-талисманом никогда не разлучался. На известном портрете Тропинина поэт изображен с этим перстнем.

После кончины Пушкина перстень перешел к Жуковскому, о чем Василий Андреевич сообщает в одном из писем: «Это Пушкина перстень, им воспетый и снятый мной с мертвой руки его». Сын Жуковского в 1875 году подарил его И. С. Тургеневу. Тургенев хотел завещать талисман Л. Н. Толстому, чтобы тот, когда настанет его час, «передал перстень, по своему выбору, достойному последователю пушкинских традиций между новейшими писателями». Но после смерти Тургенева в 1887 году Полина Виардо передала его Александровскому музею.

В фондах Всероссийского музея Пушкина хранятся отпечатки знаменитого перстня на воске и сургуче. Сам перстень при весьма загадочных обстоятельствах в марте 1917 года был похищен из кабинета директора музея. Дальнейшая судьба этого талисмана пока неизвестна.

* Хахам (иврит) – мудрец.

НОВЫЕ ВОРОТА

Юрий ШАРКОВ-СОЛЛЕРТИНСКИЙ. «Долгое мгновение» – Иерусалим, «СКОПУС», 2000.

Юрию Владимировичу Шаркову-Соллертинскому хорошо жить в этом мире. Его «Долгое мгновение» длится и будет длиться – так оно емко, так интенсивно, так открыто краскам, звукам, всему богатству жизни. И, кажется, неважно, какие конкретные впечатления питают поэзию Ю. Шаркова, – его возлюбленная Россия, с которой поэт никогда не расстанется – с ее морозами, пахнущими «свежим бельем» и «робкими замарашками» – веснами, с ее торными и непроторенными дорогами, которые он как солдат, как геолог, как лесник прошел вдоль и поперек, – или Израиль, куда его привела судьба и который он жадно, и восторженно, и болезненно пытается вобрать в себя, освоить. Везде – чудо, «посмотрите, на каждом шагу!»

*...Под луной громадно, странно
Обозначились пруды,
Ивы встали из тумана,
Как русалки из воды.*

*Ель, что из лесу торчала,
Как забытый старый зонт,
Вдруг на цыпочки привстала
И глядит за горизонт...*

*«Хороши-и-и» – помчалось в дали,
Повторяясь, как стихи.
«Хороши-и» – вдруг закричали
По деревне петухи...*

*Вот и славно. День был труден.
Новых сил поднаберу,
Заглянув за кромку буден,
Как та елка на бору.*

(«Полночь»)

Поэт постоянно «за кромкой буден», как будто нет их в его повседневном существовании. Влюбленность – вот чувство, которое не покидает Юрия Шаркова, которое присутствует в каждом стихотворении:

«Равно люблю и степи опаленность / И хрупкость льдов, и бронзовость полей. / Изо всего, что есть в душе людей, / Мне предками подарена влюбленность». Чувство, весьма редкостное в наше время.

Не случайно появляется «Баллада о последнем мамонте» с красноречивой концовкой:

*Преследует меня виденье,
Лишь за людьми закрою дверь:
Снега, конец оледененья
И древний одинокий зверь.*

«Последний могиканин», «древний одинокий зверь» возникает и в стихотворении «Скворец»:

*Птицы песен своих не меняют.
В них высокий и смысл, и лад.
Но с годами скворцы исчезают
И пустыми скворешни висят.*

*Вымираем и мы понемногу –
Могикане в неправом бою.
Дайте только допеть, ради Бога,
Нам по-своему песню свою.*

Оговорка «в неправом бою» – вовсе не оговорка. Ощущая свою правоту и сомневаясь в ней, люди старшего поколения страдают от необходимости приспособиться к новой реальности, к новым правилам игры в искусстве: «Железа запах и бензина, как зверь лесной, я не люблю...», – пишет Юрий Шарков в стихотворении 1989 года.

Впрочем, у поэта нет нужды приспособливаться, «бежать за комсомолом», никто не в силах ему помешать «петь по-своему», у него свой мир, обширный, обжитой, даже уютный, если можно говорить об уюте, когда речь идет об отношениях с природой – с камнем, лесом, со зверями и птицами. С ними у Юрия Шаркова отношения близкие и доверительные, ему с ними «домашнее», чем в интерьере, которого почти нет в его лирике.

*У холма под грудью белой
Нежно, нежно тень легла...*

*Стога собрались на лугу.
Неспешно лось бредет по броду.
Луна, присев на берегу,
Забрасывает блики в воду...*

*...А тени, прячась от жары,
Как овцы, улеглись за камень...*

*...Как тряпки, мокрые грачи
Уныло стынут на заборе...*

Каждая метафора необходима, определяет настроение всего стихотворения, органична в его прозрачной, безыскусной ткани.

Книга Юрия Шаркова необычайно цельная. И в стихах военного времени, почти хроникальных, горестные картины гибели и разрушения просветлены деталями живой, «природной» жизни:

*У стежки улеглись бойцы.
В тыл отвели остатки части.
Играл щенок нелепой масти.
В ромашках бегали скворцы.*

И какой страшный контраст этой мирной картине в последней строфе стихотворения:

*Высоко, на обрубке клена,
Не то живой, не то мертвец –*

*Тяжелым взрывом пригвожденный,
Как на кресте, повис боец...*

(«Отступление»)

Стихи о войне трагичны, но трагическое восприятие мира не свойственно Юрию Шаркову. Есть стихи элегичные, стихи-расставания, как есть они у любого автора, но поэт приемлет мир, хотя подчас его доверие, даже простодушие бывают обманутыми.

Характерно, что правды он ищет не у людей, а у природы, то прекрасной и гармоничной, а то терпящей бедствие – и нередко по вине людей. Не оттого ли вторая страсть Юрия Владимировича – резьба по дереву, которой посвящены и некоторые страницы его книги. Об этом лучше скажет сам поэт в стихотворении «Слов не нахожу». Название несправедливое – слова он находит:

*...Являются из стружечных пелен
Рожденные рукой моей влюбленной,
Испуганный морженок, грустный слон –
Дитя большое Африки зеленой.*

*Как знаки бедствия их людям покажу.
В тех бедах мы чудовищно неправы.
Нет, я беру резец не для забавы,
А потому что слов не нахожу.*

Сочинение стихов и резьба по дереву – в своих мечтах Юрий Шарков даже ставит два эти занятия рядом: «И все ж я грежу суетной натурой / (И пусть зачтется это мне в грехи): / В музеях – деревянные скульптуры, / В руках у школьников – мои стихи».

Поэзия его – жизнелюбивая, но отнюдь не благодатная – в ней и драматизм, и напряженность, и чуткое ощущение времени и современности:

*Своим трудам я не судья.
Не мог не заболеть я
Шершавым духом бытия
И горечью столетья.*

Страшен век, но сквозь «нахмуренные, непроглядные» годы неминуемо пробивается свет: «Наш век останется, как шрам, / Который ноет в непогоду».

И в самых драматичных стихах Шаркова присутствуют основные качества его поэзии – мягкий лиризм, искренность, нежность, поиск и обретение гармонии.

*Ссутулившись под ветром и дождем,
Толпою тополя, не глядя в небо,
Чего-то ждут, как мы покорно ждем
В очередях за молоком и хлебом.*

*И если есть у тополей душа,
То им сейчас должно быть так же трудно
Средь клетей зданий думать и дышать,
Где малодушно так и многолюдно.*

*Без слез. До слез нам стало далеко.
Как арестанты, плакать разучились,
Не потому, что на сердце легко,
А потому, что мы ожесточились.*

*Листва осенняя и ржавая, и красна.
Мы маемся, чем далее, тем лютей.
И забываем в грубом неприюте,
Что в каждой почке спрятана весна.*

Не могу не привести стихотворения, занимающего особое место в книге, где не так много стихов посвящены близким поэта, его семье, стихотворение, особое еще и потому, что построено как развернутый образ – принцип, очень мне близкий.

*Я отделен стеклом алмазным
От стужи лунного двора.
Я оглушен трудом напрасным
И сокрушением добра.*

*Но если я к стеклу приближу
Свое горячее лицо –
Я, как живую, мать увижу
В прожженное во льду кольцо.*

*Она ступает в снежной глади,
Держа меня в своих руках,
В лицо растерянное глядя
И успокаивая страх.*

*Зачем теперь, в глухую просинь,
Она несет меня, светла?
Не душу ли мою уносит,
Как в жизнь когда-то принесла?*

Подлинным испытанием, чреватым потерей внутренней гармонии, обретенной всей прошлой многотрудной жизнью, стало для исконно русского человека и поэта Юрия Шаркова переселение в Израиль:

«Прощаюсь я, еще сильнее любя. / В душе неладно и на сердце скверно. / Но никого не предал я, наверно. / Я предаю лишь самого себя...» («Прощание»).

Кто осудит это понятное, знакомое многим чувство, выраженное с искренностью и прямоотой? И здесь еще чужой, и там уже не свой... Конечно, огорчаешься, спотыкаясь о «наше – ваше – не наше» или «хочу домой» («Здесь лишь, как наши, воробьи / И голоса котов в подъездах»). Но постепенно властное «не наше», израильское, покоряет поэта и даже влюбляет в себя, зрение обретает новую остроту, а голос – новую энергию. И восприимчивая душа отзывается на другую боль и другую красоту, «на хаос и лад Иудейской пустыни, и хаос и лад иудейских судеб», отнюдь не предавая себя:

*...Соль воды на камнях раскаленных,
Соль волны коростой на губах.*

*Неужели столько слез соленых,
Столько горя собрано в волнах?..*

*И чего здесь боле – света ль, горя?
Но такая вышла канитель,
Что горчайшее на свете море
ЯМ-А-МЕЛАХ в ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ.*

(«Водопадов влажная прохладность...»)

Даже ивритские слова в русских стихах, которые обычно раздражают, здесь уместны. А как поэтична и притягательна такая, например, строфа:

*И лишь, когда из-за селений
Взойдет свидетелем луна,
Согнувшись, сядет на ступени
Почтительная тишина.*

(«Руины Бейт-Шеана»)

И вот стихотворение, совершенно меня покорившее своей изобразительной силой. Оно написано в Израиле в 1993 году:

*Потряхивая узким задом,
Тащил он непомерный груз
С автомобильной трассой рядом.
Извечная на морде грусть.*

*Менялось все: потоков ропот,
Пустыни сны и войн обвал,
Дороги царские и тропы,
И даже очертанья скал.*

*Менялись языки и люди...
Он был таким же, как всегда –
Костистый раб неслышных буден
И незаметного труда.*

*Казалось, если все дороги
Бурьяном в мире зарастут,
Ослиные седые ноги
Одни по их следам пройдут.*

*Путей запутанных петлистость,
Времен бездонность и небес.
Ушей огромных бархатистость
И глаз египетский разрез.*

И еще – книга Юрия Шаркова изящно проиллюстрирована самим автором.

Елена Аксельрод

Редколлегия «Иерусалимского журнала» сердечно поздравляет Юрия Владимировича Шаркова-Соллертинского с восьмидесятипятилетием и с выходом в свет новой книги стихов!

Феликс ГОЙХМАН. «Оазис» – Тель-Авив, «STARLIGHT», 1999.

Книга так долго плутала по пустыне, что за это время успело вымереть целое поколение входивших в нее стихов... Но ведь требовалось разрубить гордые узел житейских передрыг, свить оазис в рамленной тьмутаракани – прежде чем состоялось вожделенное возвращенье к перу и бумаге. Феликс Гойхман – редчайший в русской израильской лирике (а что, как и единственный?) певец супружеской нежности:

*Но светятся руки твои.
Ниточка тянется к свету
с нежным упорством струи,
тихо впадающей в Лету.*

Настойчиво развивая удачную ассоциацию, поэт в финале загоняет Прекрасную Даму на галеру: «...и возвращайся на весла, / коль скоро вязанье – река». Что ж, не станем порицать этот мужской шовинизм – являющийся de facto прочным замесом внутрисемейного лада: все лучше, чем поставлять, как Рембо, черных рабов неизвестно кому!.. Гарантом матримониальной незыблемости в известной мере служит и рефлексия автора, обращенная к посторонней музицирующей особе:

*Я бы поддался сполна
злomu мужскому наитью,
будь ты и вправду сильна
женскою зверскою притью.*

Стоит отметить и аквалангистское владение ритмическим дыханием, вполне совпадающим с завершенностью строфического синтаксиса.

В стихотворении «Струна» стержневой образ не менее целен: «Я над тобой натянут, как струна» – вступление, «...я – голос твой единственный отныне» – концовка. Напоминает триолет. Или трельяж. Уже и не помню: под этим солнцем не канешь в Лету – так впадешь в маразм... Работая с метафорой добротной: «...потряхивая алым кошельком» (о пелухе), «Кавказа зевающий профиль», – Гойхман иногда, впрочем, грешит подсознательными реминисценциями: «И встанет на площади ядерный гриб, / как памятник Герострату» – прозвучало б и тонко, и ново, – не приди на ум строки из «Урании», где Бродский сравнивает прибрежную пальму со взрывом, наповал сразившим загорающих пляжников. Или еще пример: «...и веселые люди, как ружья, стоят / у ларьков в пирамидах по трое». Ну чем не «Прямые лысые мужья / Сидят, как выстрел из ружья» – из хрестоматийной «Свадьбы» Заболоцкого? Язык поэта – заплетаясь время от времени: «пусть от страстей душа свободна», «выхода по нужде из морей», «посыплется в стену горохом», – все же являет нам нередко чудо свежести, достигаемой за счет своеобразной филигранности словоупотребления:

*Но мимолетна усталость –
через секунду-другую
с новой нечаянной силой
крылья недужные бьют.*

Теперь о тоне и теме. Прописной дидактизм стихотворения «Юность»: «Нельзя разрушать изваянья и храмы / за то, что в богат

разуверились мы» – навязан уже самой суггестией некрасовского амфибрахия. Подчеркнуто частые отсылки к Ван-Гогу – разумеется, к его фантомному уху – не тянут, увы, на безукоризненное знание истории искусств. А в строчках: «Лишь бы ты бредила мной – / Сладкое Солнышко, Бэби!» – аukaется странная смесь джентльменского набора поэз Северянина с медоточивостью Александра Дольского... Зато в цикле «Из детства» имеются по меньшей мере две блестяще прописанных вещи: «Петух» и «Страх темноты». Уж, казалось бы, столько раз в литературе безбожно эксплуатировалось интонационное имитаторство – а как не восхититься всамделишной проникновенностью строфы:

*Я, наверное, сойду с ума,
если кто-то прячется за шторой,
за тяжелой шторой, у которой,
кажется, трепещет бахрома.*

Годы, взыскующее честолюбие, целокупность накопленного материала обусловили стремление выпустить, наконец, первую книгу. Феликс Гойхман остался верен не только семье, но и себе самому: служение святому ремеслу все-таки сделалось краеугольным камнем его земных мытарств. Но души такой камень вовек не утянет на дно: напротив – он весьма даже аэродинамичен! Поэт наш аутентичен: он – ребенок, открыто тянущийся за звуком, за видением, за нравственной чистотой. Биография автора непроста, стезя терниста, отмерявшие фунт лиха нагоняли его – предлагая пуд соли для посыпания ран, но...

*Но отзывчивей горних созвучий
и доходчивей дольных музык
настигал черноземный, дремучий,
проливной, человеческий язык...*

Григорий Марговский

Лев ЛИВШИЦ. «Вопреки времени». [Избранные работы. Драматическая сатира М. Е. Салтыкова-Щедрина «Тени». Статьи об И. Э. Бабеле. Из театральных рецензий 1940-х годов.] Иерусалим – Харьков, «ФИЛОБИБЛОН», 1999.

Выход второй книги, посвященной научному наследию и биографии Льва Лившица (1920—1965), замечательного литературоведа и критика, не только свидетельство любви его близких и друзей, но и важное общественное деяние. Не только потому, что вводит в широкий научный оборот известные не многим историкам литературы талантливые сочинения, – но, думается, и тем, что все разнообразные материалы книги (заслуга в этом составителей Б. Милявского и Т. Лившиц-Азиз): критика, публицистика, воспоминания и запечатленные в фотоснимках живые мгновения биографии, библиография работ – дают творческий и интеллектуальный портрет Льва Лившица во всем сложном сплетении его судьбы и со своим временем и – с будущим, тем самым восстанавливая целый историче-

ский пласт. (Первая книга: *О Леве Лившице. Воспоминания друзей. Харьков, 1998* – как явствует уже из заглавия, прежде всего биографическая.)

В новую книгу включена работа, посвященная оставшейся 52 года неизвестной читателю (рукопись была обнаружена только в 1914 г.), драме М. Салтыкова-Щедрина «Тени». Лившиц анализирует своеобразие идейно-образной концепции «Теней» в историко-литературном контексте и определяет место этого произведения в творчестве сатирика, уточняя время и воссоздавая историю его создания и дальнейшую литературную судьбу.

Говоря о щедринском мире государственно-чиновничьей России 60-х годов прошлого века, ученый не перестает думать и о современной ему советской действительности, – ведь эзопов язык великого сатирика стал поистине «родным языком» интеллигенции и в эту эпоху.

Лев Лившиц – один из первых исследователей творчества Исаака Бабеля, во многом его открыватель. Им осуществлены первые публикации рассказов «Закат» и «Фроим Грач», киносценария «Старая площадь, 4», писем, а также забытой на страницах давних изданий прозы. Он проделал большую текстологическую работу и изыскания по восстановлению истории текстов; он возвратил драме «Закат», которую принято было считать самоповторением Бабеля, ее место и смысл в творческом движении писателя, раскрыл ее идеи и драматическое новаторство. Этому огромному труду не суждено было завершиться – судьба его автора рано оборвалась. Лившиц оставил большое систематизированное собрание материалов к биографии Бабеля, в которых много архивных находок, собственные статьи и аналитические заметки, складывающиеся в оригинальную концепцию творчества писателя, которая должна была воплотиться в книгу.

Работы Лившица дают представление и о том, что он жил напряженным нервом своего времени, надеясь это время изменить, очеловечить, «вытащить» и сохранить в нем духовную сущность. И ему, и таким людям, как он, многое удалось, – хотя, конечно, горько сознавать – какой дорогой ценой (и Лившицу выпали годы в сталинских лагерях...). Они делали важную внутреннюю «работу» – для будущего, – и о том, что она удалась и принесла плоды, взволнованно говорят его ученики, товарищи, единомышленники в прощальных словах и воспоминаниях.

В романтических текстах Лившица сохранились для последующих поколений и не оправдавшиеся (или грубо поправленные) надежды и иллюзии того времени. И понятнее, и неоднозначнее являются перед нами пятидесятые, начало шестидесятых – время уже почти полувековой давности. Ведь возможно более полное представление о фактах, мнениях и раздумьях во всей сложности их связей с общественной жизнью на разных уровнях того времени приближает нас к адекватному пониманию непростого – и нелегкого – прошлого. А непосредственно продолжением прошлого и осуществлением связи времен – продолжением Учителя в учениках его, в своеобразной «школе» – стали *Чтения молодых ученых памяти Л. Лившица* (прошли уже Четвертые), которые организуются в Харьковском педагогическом университете им. Г. Сковороды его учениками.

Владимир ФРЕНКЕЛЬ. «Иерусалимский библиофил».
[Альманах 1] – Иерусалим, «ФИЛОБИБЛОН», 1999.

СOLIDНЫЙ темно-зеленый том. На обложке и форзаце – рисунок Ителлы Мастбаум: лев с книгами. Этот лев – то в кольце из книг, то на фоне условных городских ворот – стал эмблемой, гербом альманаха. В альманахе много иллюстраций разных художников: А. Векслер, И. Мастбаум, Л. Курис, С. Юдовин... Несмотря на объем, книга издана изящно, ее приятно взять в руки. На фоне чудовищно безвкусного, дикарского «новоиздата», нелишне подчеркнуть, как хорошо издан альманах. Эта книга – сборник трудов иерусалимского Клуба библиофилов, а уж кому и знать толк в книгах, как не им!

Клуб книголюбов собирается раз в месяц с 1993-го года. Его основатель и бессменный председатель Леонид Юниверг – главный редактор и составитель альманаха. Статьи в альманахе собраны по разделам: «Книги: история и современность». «Библиотеки и библиофилы», «Искусство книги», «Экслибрис», «Книга-событие», «Книги о книгах», «Библиохроника». В самих статьях нередко подстерегают неожиданности. Многие полагали, что цензура в царской России «свирепствовала» главным образом в отношении русской литературы, ан нет: еврейские религиозные книги привлекали самое пристальное внимание цензуры, причем, инициаторами ее ужесточения часто бывали сами евреи – сторонники просвещения, «освободители от предрассудков». Любопытные в этой связи возникали коллизии! (Виктория Хитерер. «Цензоры и цензура еврейских религиозных книг в России».) Детектив совсем другого рода – рассказ Леонида Юниверга о его попытках создания в Иерусалиме Музея еврейской книги. Сочувствующие, равнодушные, скептики, оптимисты... Проект всё еще на бумаге...

В альманахе собраны воспоминания о Григории Поляке (1943 – 1998), создателе «Серебряного века» (Нью-Йорк) – одного из лучших русских издательств третьей волны эмиграции. Нынешняя российская свобода сделала эмигрантские издательства ненужными, и они тихо исчезают, но, боюсь, от этого мы не выиграли. Интересна и статья о современных израильских издательствах, отнюдь не русскоязычных. (Дана Гилерман. «Книги для читателей-гурманов».) Эти издательства «ориентируются на небольшую читательскую аудиторию с изысканным и тонким вкусом». Может быть, именно эти элитарные, некоммерческие, небольшие издательства и сохраняют культуру книги, гибнущую под рыночным валом.

В разделе «Библиотеки и библиофилы» отмечу статью Майи Улановской «Еврейская национальная библиотека и ее российские корни». Национальная библиотека недавно отметила свое столетие, и именно выходцы из России в конце 19-го века заложили ее фонд. Иосиф Хазанович (1844 – 1919), один из этих людей, так сформулировал цель своей жизни: «Соорудить на нашей исторической родине здание не только для еврейского духа, но и для всего еврейского будущего».

В статье «Кому нужны позавчерашние газеты?» Владимир Карасик рассказывает о собственной коллекции, одним из интереснейших разделов которой является так называемая «новая пресса России» – неоценимый материал для будущего историка и сегодняшнего политолога.

Интересны и другие разделы его собрания: еврейская пресса в СССР на русском языке 70 – 80-х годов (самиздат), русско-еврейская периодика зарубежья, журналы и газеты на русском языке в Израиле, включая период до создания государства...

Анатолий Эмдин («Библиофильская серия «Возвращение книги») сообщает о первых изданиях Студии «Ять», главным направлением которой с 1991-го года стал выпуск серии факсимильных изданий – образцов русского книжного искусства первой четверти двадцатого века.

«Искусство книги», раздел, визуально наиболее интересный, начинается с записи лекции известного российского художника книги Вадима Владимировича Лазурского (1909 – 1993) «Книга как произведение искусства». Когда рассказывает человек, влюбленный в свое дело, увлекательными предстают даже такие сугубо технические вещи, как выбор шрифтов. Раздел продолжается рассказами о еврейских книжных графиках – о Соломоне Юдовине (Циля Менджеричская и Аркадий Зазулинский), Савве Бродском (Григорий Букштам) и современной израильской художнице – уже упомянутой Ителле Мастбаум (Любовь Латт).

Вообще, в альманахе счастливо сочетаются материалы исторические с современными: Элла Ганкина – «Русская детская книга в Париже»: о проходившей в этом городе в 1937 году выставке французской и русской детской книги; Григорий Казовский и Борис Ландсман – «Еврейская иллюстрированная книга в СССР»: очерк, посвященный еврейским художникам книги с начала века до наших дней. К последней статье, помимо иллюстраций, приложены и подробные сведения о художниках.

Статья «О, экслибрис!» Леонида Куриса, коллекционера и художника экслибрисов, посвящена известным их собирателям. «В советское время, – пишет автор, – экслибрис стал попыткой тихого, но упорного Сопротивления, которое можно было бы сформулировать так: «Вы утверждаете, что я винтик, что горсть таких, как я, можно заменить горстью других таких же? Ложь!!! Я – личность, я маленькая вселенная; величайшие мыслители человечества писали для меня эти книги; талантливые художники обозначили мою, имярека, принадлежность к миру высоких чувств и мыслей!».

Авторскую часть Альманаха завершает очерк Л. Юниверга об истории Клуба библиофилов с перечнем заседаний Клуба с 1993 по 1999 год.

Я упомянул далеко не все материалы, почти ничего не сказал о небольших, а они тоже весьма любопытны. Например, заметка Романа Тименчика «С. Кругликов и его книга «В красных тисках» – штрих к истории русской книги в Палестине и одновременно – к истории сионистского движения в советской России. Или статья Арье Годлина «Другой Александр Грин» – о латышском историческом романисте Александре Грине, погибшем в сталинской мясорубке 40-го года в Латвии, – один штрих высвечивает целую эпоху. (В статье, к сожалению, допущена неточность: Янис Райнис умер в 1929 году, а не в 1934.)

Вообще же, надо сказать, что альманах – свидетельство единства и жизненности культурного поля. Ибо культура – не виртуальные разговоры о ее якобы упадке и грядущем исчезновении, она и нечто осязаемое, видимое, что существует реально. Например – книга.

Владимир Френкель

ПАМЯТИ МИХАИЛА РОГОВСКОГО

Уважаемый господин редактор!

В полупудовой (и замечательной) книге «Самиздат века» (ПОЛИФАКТ, Минск – Москва, 1997) в антологии «Непохожие стихи», составленной Генрихом Сапгиром, упомянут, наконец (я долго ждал этого), московский клуб «Факел», просуществовавший всего пару лет, начиная с осени 1956-го года. Много ныне известных людей, пораскиданных впоследствии по свету, приходили тогда в литературную и театральную секции «Факела» в Дом культуры промкооперации в Харитоньевском переулке на Чистых прудах. Написать бы воспоминания об этом времени – было много чего интересного, даст Бог, когда-нибудь и сделаю, но сейчас пишу по другому поводу.

Сапгира, естественно, интересовали поэты. Пожалуйста. Еще до того, как он сам и Игорь Холин пришли в «Факел», там читали, выступали и даже собирали материалы (кое-что я сохранил) для первого номера журнала «Факел» (думали выпускать журнал! О, дети!) Леонид Чертков, Станислав Красовицкий, Андрей Сергеев (говорят, был Евгений Рейн, но я не видел) и упомянутые Сапгиром Юрий Карабчиевский, Александр Лайко, Семен Гринберг... Имена двух последних побудили меня обратиться к Вам.

«Они были два друга. Саша и Сеня, Семен» – пишет Сапгир и знает, что это не полная правда. Они были три друга, Саша, Сеня и Миша, Михаил, Михаил Роговский, или по факельскому прозвищу – Мишо Пингвин, – он сам придумал. На фотографии 58-го года они трое и Сапгир, а пятый, Холин, фотографировал. У Генриха, видно, были соображения Роговского опустить, может, потому, что Миша не соорудил позже ни Евгения Онегина, ни Василия Теркина, ни Горбунова с Горчаковым, а писал в то время такое:

Громыхала буханка хлеба,
Во все окна свистел дом,
А мне до этого мало дела,
У меня в голове стульев ком.

Или

Из гущи Галактик
Великого Бога слышался голос.
Он звал всех разумных
Пойти за безумьем
И ринуться к смерти.
Не верьте! Не верьте!

Может, у Сапгира другие причины были, не стану гадать. В моем собрании еще два стихотворения Михаила Роговского 58-60-х годов. Не знаю, писал ли он позднее. Эти стихи хочу предложить «Иерусалимскому журналу», во втором номере которого я встретил

знакомые, близкие мне имена, кроме упомянутых, еще Мелика Агурского, Ильи Бокштейна, Юрия Мамлеева, Льва Петровича Барашкова... Сам Роговский, насколько мне известно, стихов не публиковал.

Вот эти стихи. Первое Миша читал с неизменным успехом на вечерах «Факела» в присутствии таких авторитетов как Красовицкий, Сапгир, Булат Окуджава (на встрече с литобъединением «Магистраль»). До сих пор слышу его голос:

Я летом в городе,
 Я взят на мушку скукой,
 приставлен к стенке, взгляд в обои.
 Сейчас удар. И вдруг звонок.
 В каких-то странных падежах
 Звучит на дачу приглашенье,
 Но я всё понял и я еду,
 И точность адреса с сомнением
 Припоминаю на перроне.
 Проявленная с негатива дача
 на мокром, свежем позитиве
 печатает изгибы листьев
 и несколько домов-стандартов.
 И вдруг ежами по мозгам:
 там где-то дачник-подхалим
 заискивает пред цветами,
 там, разгребая летний грим,
 клянутся травам и кустам:
 «Я ваш, я с вами!»
 Здесь дачник, весь на босу ногу,
 влюблен до коликов в природу!
 С плетеных кресел две пижамы
 приподнимаются и машут.
 А где она? Сейчас придет.
 Она идет.
 В каком-то глупом сарафане
 лелеет рахитичный лист,
 и, кажется, на полпути к нирване
 уж растеряла здравый смысл.
 Та, что топтала дух асфальта,
 теперь ступает на пуантах,
 и смотрит, смотрит, унижаясь,
 на всё вокруг...
 Неоспоримость электрички
 доказана за пять минут.
 И снова – дача-негатив,
 я снова в городе,
 я взят на мушку скукой.

И второе, написанное позже:

С торчащим букварем под мышкой
 подходят к марту.
 Издалека, в двадцатых числах февраля

стремянку буквы А находят,
 уходят спать, сто раз подряд
 твердят открытый звук, приятную стремянку А,
 а утром первого числа
 спокойной совестью встречают
 знакомую весну и букву А.
 Где распечатанные окна
 продуют запах газа с кухни,
 где желтые сугробы мокнут,
 где стены, набухая, бухнут,
 там буквы в лужах, на деревьях,
 на крышах около антенн,
 у стен на сырости бликуют.
 Здесь не зубрят еры с ерами,
 здесь весь алфавит на виду,
 в витринах ХВМНП.
 Весной они начала слов,
 начала фраз, начала книг.
 Лишь нерадивый ученик
 не видит в них начала книг.
 С торчащим букварем
 он шляется по марту, будто по февралю,
 и вечерами под землей, в тоннеле учит Ю.
 «Похожа на глобус на боку».
 На эскалаторе сырой порыв перевернет страницу:
 «Я – похожа чем-то на меня».

Не пожалейте места, господин редактор, вряд ли оно будет заполнено чем-либо более стоящим и долговечным. Пусть маленькое собрание стихов станет памятником, памятным камушком Мише Роговскому, Мишо Пингвину, недавно скончавшемуся в Париже.

Анатолий Юнисов, США

В дополнение к письму Анатолия Юнисова предлагаем вниманию читателей «Иерусалимского журнала» еще четыре стихотворения Михаила Роговского.

Редколлегия

* * *

Яблочные джемы, звезды на щеках,
 Конфитюр из сливы, ямочки в глазах.

И тени счастья набекрень по тротуарам побежали,
 а вечерами от витрин еще безъязвеннее стали.

И как-то разбился матрос из фаянса
 с огромным наляпанным красным румянцем.

Ребристый, как термос, за окнами город
 хвалился, что он магазинами полон.

И есть «Магазины румяных матросов»,
где их забирают почти что без спросу.

Их там миллионы дурацких румянцев,
которым не нужно ни моря, ни шканцев.

Их целая тыща расходуется за день.
О, будь он неладен!

Ты два купила –
себе и мне подарила.

1959

* * *

Холодно по тундре днем бежать оленям,
Еще хуже ночью, колет снег рога,
Но упрямый чукча гонит, что есть мочи,
Холодно глазам.

А Валерий Брюсов ищет Атлантиду,
За спиной нахохлились часы.

Словно рьяный чукча, он идет по следу.

Не нашел Валерий, взялся за «Весы».

Умно и уютно. Я читаю книги.

Кто придумал книги? Кто придумал чукчу.

1960

* * *

Я был на свалке.
Мне стало жалко,
Что нет со мной консервной банки.

1957

СОНЕТ

Когда бы мы сонетов не писали,
Нас миновал бы ночью разговор.
Но между Ним и нами уговор,
Отдать всё то, что при рожденьи взяли.

Чтобы дары назавтра не пропали,
Проснись во тьме и вымолви: я вор.
Еще не встал в заутрене дозор –
Небесный знак, что мы не опоздали.

И обожжет лицо. Дыханье донесется.
Протянется к Отцу просящая рука.
И будет речь Его нема и горяча.

Тетрадь пустая вздрогнет и свернется.
В ушах распухнет словесная игра.
Ладонь раскроется, стих выпадет, шипя.

18 января 1978

НЕМНОГО ОБ ИЛЬЕ

Илья Бокштейн. Не написать свое «немного» об этом человеке не могу. Наверное, многие имеют на это больше прав, чем я, почему-то еще существующий.

Илья Бокштейн появился в заочном отделении Института Культуры (Библиотечного) в одно время со мной и стал ходить на занятия, именно, ходить, а не учиться, ибо ни он, ни я активно в занятиях не участвовали.

Илья писал стихи абсолютно непонятным почерком, оживлялся, слыша что-то его заинтересовавшее, потом снова уходил в себя. Маленький, горбатый, с лицом мыслителя, длинным гусиным носом, со скороговоркой, которую сохранил на всю жизнь. Три-четыре давно не мытые рубашки, старые поношенные штаны и башмаки. Таким он был там в России. Таким остался в Израиле.

Но он был богаче нас. Богаче культурой, знаниями, талантом, в конце концов. Оценить его дано не нам.

Стихи его собрать воедино, наверное, невозможно. Пусть они выплывают из прошлого, постоянно вызывая его образ. Так бродил призрак Толи Якобсона вместе с верными Томиком и сенбернардом Глебом еще долго после трагической гибели.

Вернусь к Илье. Учились мы под Москвой на станции Левобережная. Еловый лес, река располагали к поэзии. И поэты были. Саша Флешин, сын одного из первых кубинских коммунистов, книжник, переводчик с грузинского, смуглый, маленький, с большим апломбом. Его, верно, помнят Миша Гробман и Леня Иоффе. Илья выделялся из всех. Его более всего интересовала античка Каган, хромая, некрасивая старушка, знавшая свой предмет, наверное, лучше Н. Куна. Спустя пару лет она погибла под колесами автомобиля. Илья переводил с английского, не знаю только, печатали ли его переводы. Он был очень любопытен, в этом напоминая Бабеля.

Был в Москве салон некой «мадам», Фриде, кажется, где-то в районе исчезнувшего уже старого Арбата. Потасил Илья туда и меня. Полупьяные поэты и художники, дочь самой «мадам», танцующая на столе. К ней у Ильи проснулась сексуальная тяга. Были ли у него вообще женщины – не знаю. Я сказал Илье, боюсь, все тут под колпаком ГБ, и перестал туда ходить. Потом от Ильи узнал, что действительно многих прямо в салоне и взяли. Илью это не отпугнуло. Он стал активно участвовать в «днях поэзии» у памятника Маяковскому. Помню Илью чуть ли не на плечах у классика, трибуна революции, что-то кричащего в толпу. Потом Илья исчез. Ходили слухи, его посадили. Заодно начались облавы на черном книжном базаре у старого МХАТа, где я залетел уже позднее, в 1970-м году, с чемоданом книг (Саша Черный, Рильке, Бенедикт Лифшиц и т. п.).

Я часто посещал выставку на Кузнецком. Как-то в малом зале, что буквально рядом с приемной КГБ и Большой Лубянской, была выставка великого Бажбеук-Меликяна. Народу было мало, сестры Бажбеук, их друзья. Вдруг в зал вошел, дрожа от холода, нищий в драном с чужого плеча пиджаке, старых, явно не своих, брюках, галошах на босу ногу.

Я не сразу узнал Илью. Я знал, что он сидел, и все-таки спросил: «Ты откуда?» «Оттуда», – сказал он и, увидев, что в таком наряде здесь неуместен, ушел. Я хотел его проводить, но Илья как-то быстро исчез.

Увиделись мы в ОВИРе в 1972-м году. Илья боялся всех, видимо, не хотел, чтобы знали, что он уезжает, сказал, что зашел случайно. У нас, отказников, была служба помощи. Действительно, помогали советами, писали просьбы, протесты, часто коллективные письма в чью-либо защиту, собирали деньги отъезжающим. Но Илья от всего отказался, испугался, сбежал...

И вот Тель-Авив. Алленби. Первые годы он боялся и здесь. Хотя его талант признали, и в первом маленьком сборнике поэтов ГУЛАГа, вышедшем после войны Судного дня, есть и стихи Илья.

Илья был и на всю жизнь остался камерным, тихим поэтом. Часто мы, еще до моего отъезда в Японию, встречались, ходили по книжным, к Элле Вагнер, просто по Тель-Авиву. Часами я слушал его, не рискуя прерывать. Был и большой поэтический вечер, где выступил Илья, уже стареющий, поседевший.

Вернувшись спустя почти десять лет, я узнал, что умерла мать Илья, его ангел-хранитель, спасавшая его всю жизнь... В Тель-Авив я больше не ездил, только иногда слышал об Илье. И вот его нет. Похоронен на Ярконе. Никто, видно, еще не понял, кого мы потеряли. И не только поэзия России, русского зарубежья, вообще поэзия. «Блики волны», его единственную книжку, мало кто прочел. Но, думаю, придет время и, как читаем Пушкина, Мандельштама, Бродского, Давида Самойлова, мы, а скорее, кто после нас, будут заучивать стихи Илья. Я не верю, что он умер, такие не умирают. Илья был мало на кого похож, он жил жизнью поэта, писал, не думая о гонорарах. Истинный талант узнается часто только после смерти, но остается навсегда.

Вечная тебе память, Илья!

1999 – 2000, Иерусалим

Валерий Коренблит

Р. С. В разговоре с убитым неизвестно кем Мишей Михаэли я сказал: «Миша, переиздай Бокштейна. Это гений». Миша сказал, что пока не может, денег нет, но... потом убили Мишу, умер Илья... Кто сделает доброе дело, соберет, издаст Илью? Порусски. А может, и на иврите, если найдется еще один Авраам Шлёнский. С рисунками художника И. Бокштейна.

«ЛОРЕЛЕИ» ИЛЬИ БОКШТЕЙНА

Переписку мы с Ильей затеяли еще в 1987 году, когда мама его, Рахиль, тяжело заболела, а телефона у него никогда не было. Переписка продолжалась до недавнего времени. Стихи, переводы, споры об искусстве, воспоминания о поэтах, принципы творчества, как живая его речь, заполняли тетрадные листы...

Варианты стихотворения «Лорелея», и конечно, других, он называл «диллярами» и широко использовал это слово в своем лексиконе. В письме от 21 января 1999 года он писал:*

ДИЛЛЯР – МОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, ДИЛЛЯР НЕ ВАРИАНТ – ИНООБРАЗ. ДИЛЬ (DIL) – ИНОЙ, ДРУГОЙ (KVIR), ЛАР (LAR) – ОБРАЗ. ДИЛЛЯРЫ ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА, СОСТАВЛЯЯ РАЗНЫЕ ОТТЕНКИ ВЫРАЖЕНИЯ, ИЛИ ДАЖЕ РАЗНОВЫРАЖЕНИЯ ОДНОГО ЛИЦА...

Вот вариант, который он прислал мне в письме от 19.11.98:

Г. ГЕЙНЕ. ЛОРЕЛЕЯ. ПЕРЕВОД ИЛЬИ БОКШТЕЙНА. ДИЛЛЯР 1

НЕ ЗНАЮ ЧТО СТАЛО СО МНОЮ
Я СТРАННОЙ ТОСКОЮ ПЛЕНЕН
ДАВНО НЕ ДАЕТ МНЕ ПОКОЮ
СКАЗАНЬЕ СТАРИННЫХ ВРЕМЕН
ПРОХЛАДОЮ СУМРАК ОБВЕЯЛ
ЗАТИХШЕГО РЕЙНА ПРОСТОР
В ВЕЧЕРНИХ ЛУЧАХ ЗААЛЕЛИ
ИЗЛОМЫ МЕРЦАЮЩИХ ГОР
НАД ГОРНОЮ ВЫСОТОЮ
ТАМ ДЕВУШКИ СКАЗОЧНЫЙ ЛИК
ОДЕЖДОЙ ГОРИТ ЗОЛОТОЮ
И МЕСЯЦ НАД НЕЮ ВДАЛИ
И ГРЕБЕНЬ СВЕРКАЕТ НАД ЛИКОМ
ПОЮЩИЕ ГУБЫ – ВОЛНА
НО В ПЕСНЕ СОЗВЕЗДИЕ КЛИКОВ
ТРЕВОГА ФАГОТА СЛЫШНА
ПЛОВЦА НА СУДЕНЫШКЕ МАЛОМ
МЕЛОДИЕЙ ЛИК ЗАВОЛНИТ
ОПОМНИСЬ! НАДВИНУЛИСЬ СКАЛЫ
НО ВЗГЛЯД НА ВЕРШИНУ ЛЕТИТ
Я ЗНАЮ, ПЛОВЕЦ РАЗОБЬЕТСЯ
ОСТАНЕТСЯ СЛЕД НА СКАЛЕ
ОТ СЧАСТЬЯ, ЧТО СМЕРТЬЮ ЗОВЕТСЯ
ОТ ПЕСНИ ТВОЕЙ, ЛОРЕЛЕЙ

* Готовя публикацию, редакция сохранила пунктуацию автора.

Никогда прежде мне не приходилось присутствовать в его «творческой кухне». Я приехала, он сидел и работал. Просил чуточку подождать. Потом вдруг, подняв голову от тетради, спросил, могу ли я читать по-немецки. Я ответила, что могу.

Он взял со стола томик Гейне, издания 19-го века, и попросил найти в нем «Лорелею». Мне удалось довольно быстро найти стихотворение, потому, что я помнила его наизусть. Это стихотворение названия не имеет. Я нашла его в оглавлении по первой строке: «Ich wais nicht...» Когда оно получило название «Лорелея» – мне неизвестно. И с Ильей мы об этом не говорили.

Я прочла стихотворение по-немецки. Илья меня внимательно слушал, потом попросил прочесть еще раз. Я прочла... Тогда он сказал: «Теперь я знаю, что музыка моего перевода соответствует музыке подлинника...»

Через некоторое время, в письме от 21.01.99 он прислал мне свой «Дилляр 6», последний...

Г. ГЕЙНЕ. ЛОРЕЛЕЯ. ПЕРЕВОД ИЛЬИ БОКШТЕЙНА. ДИЛЛЯР 6.

НЕ ЗНАЮ, ЧТО СТАЛО СО МНОЮ
 Я СТРАННОЙ ТОСКОЮ ПЛЕНЕН
 ДАВНО НЕ ДАЕТ МНЕ ПОКОЮ
 СКАЗАНЬЕ СТАРИННЫХ ВРЕМЕН
 ПРОХЛАДОЮ СУМРАК ОБВЕЯЛ
 ЗАТИХШЕГО РЕЙНА ПРОСТОР
 В ВЕЧЕРНИХ ЛУЧАХ ЗААЛЕЛИ
 ИЗЛОМЫ МЕРЦАЮЩИХ ГОР
 НАД СТРАШНОЙ ВДАЛИ ВЫСОТОЮ
 ТАМ ДЕВУШКА ДИВНОЙ КРАСЫ
 С КОПНОЮ ВОЛОС ЗОЛОТОЮ
 ЛУНА ЗА ВОЛНОЙ У КОСЫ.
 РАСЧЕСКА В РУКАХ ЗАСВЕРКАЛА
 ПОЮЩИЕ ГУБЫ – СТРУНА
 НО В ПЕСНЕ ЗВЕЗДА В ПОЛ-НАКАЛА
 ТРЕВОГА КРЫЛАТО КРАСНА
 ПЛОВЦА НА МИЛОДОЧКЕ МАЛОЙ
 МЕЛОДИЕЙ ЛИК ЗАВОЛНИТ
 БЕЗМОЛВНО НАДВИНУЛИСЬ СКАЛЫ
 ЗВЕЗДА НАД СКАЛОЮ ЛЕТИТ
 РОМАНТИК-ПЛОВЕЦ РАЗОБЬЕТСЯ
 ОСТАНЕТСЯ СЛЕД НА СКАЛЕ
 ОТ СЧАСТЬЯ, ЧТО СМЕРТЬЮ ЗОВЕТСЯ
 ОТ ПЕСНИ ТВОЕЙ, ЛОРЕЛЕЙ

Помимо Гейне, Илья переводил также стихи Данте, Лорки, Гете, Шекспира, Верлена, Т. С. Элиота, Э. Паунда, М. Эминеску... В том же письме от 19.11.98 он называет имена 17 поэтов.

Григорий Бакланов

*СЛОВО И КНИГА В ОСВЕЩЕНИИ ИСТОРИИ**

...Но разве не при помощи слова историю искажают? Ножом режут хлеб. А сколько людей зарезаны ножом... И это все тот же нож.

Вначале было слово и слово было Бог. Смысл сказанного для людей верующих тут, видимо, один: Бог – творец и начало всего сущего. Для людей светских смысл сказанного во всесилие самого Слова, ибо каждому делу предшествует мысль, а мысль выражена в Слове. Мысль, которая не может быть выражена простыми словами, ничтожна, ее надо отбросить.

...Семьдесят с лишним лет у нас воспитывали поколение за поколением в убеждении, что Октябрьская революция 17-го года была величайшим событием истории, величайшим благом для нас и человечества. Об этом написаны тонны книг и не только у нас. И действительно, – всеобщая грамотность, школы наши, университеты наши, несмотря на определенный идеологический климат, давали достаточно хорошее образование, не случайно сегодня ученые нашей страны работают во многих университетах мира, их ценят, а мы, после того, как рухнул железный занавес, открылись границы, мы болезненно ощущаем «утечку мозгов».

Вообще-то проблема «утечки мозгов» не нова в России. И в царствование императора Александра 3-го, и Николая 2-го, и сразу после революции Россию из-за разных форм дискриминации покинуло много светлых умов. Стрептомицин, спасший от туберкулеза миллионы жизней, первым получил эмигрант из России Зельман Вакман. На Нобелевском банкете он рассказал, какой подарок прислала ему маленькая шведка. Вот – дословно: «сегодня утром получил от нее еще большую, чем нобелевская, награду – пять цветков, по одному за каждый год жизни, которой она обязана стрептомицину». А классик русской литературы Иван Бунин. А всемирно известный экономист Василий Леонтьев. Можно перечислять и перечислять.

* Из выступления писателя на 66-ом Международном библиотечном конгрессе в Иерусалиме 15 августа 2000 года.

Григорий Бакланов и глава российской делегации – генеральный директор Всероссийской библиотеки иностранной литературы и президент Российского отделения Фонда Сороса Екатерина Гениева передали в дар Иерусалимской русской муниципальной библиотеке 140 книг, изданных в рамках проектов Института «Открытое общество». От имени иерусалимского мэра Эхуда Ольмерта его советник Владимир Шкляр поблагодарил гостей за щедрый подарок.

Иерусалимскую русскую библиотеку, созданную 10 лет назад при поддержке Сионистского Форума и получившую недавно муниципальный статус, на Конгрессе представляла ее основатель и директор Клара Эльберт.

...Россия до революции вывозила хлеб, была одним из главных экспортеров, хотя урожаи были ниже, чем, скажем, в Германии, в Англии. Но – просторы. А мы не первое десятилетие хлеб ввозим, покупаем за границей. Да если б только все измерялось хлебом! На фронтах Гражданской войны, на фронтах Отечественной войны 1941-45 годов, в сталинских лагерях, от голода после коллективизации, когда тоже вывозили хлеб за границу, чтобы купить станки, вывозили, отнимая его у голодных, и люди вымирали целыми селами, от всех этих бедствий, которые в учебниках истории, в так называемой художественной литературе изображались как дело правое, как благо, взять хоть ту же «Поднятую целину» Шолохова, написанную во славу коллективизации, от всех бедствий погибло неведомо сколько миллионов, называют даже цифру 100 миллионов человек. Кстати, о возможности чего-то подобного предупреждал Достоевский.

А что же слово? В лагерях, куда на гибель ссылали «врагов народа», они, политические, с горьким юмором называли уголовников: «друзья народа». И во Французскую революцию были «враги народа» и «друзья народа». И «друзья народа» нередко и скоро становились «врагами народа» и шли на гильотину. Интересное совпадение, не правда ли? А слова все те же.

Но иногда даже не слова, одной буквы достаточно, чтобы изменить смысл исторического события. Повторю: на протяжении десятилетий говорилось и писалось, что *революция победила в России*. В дальнейшем, как предполагалось, она должна была победить во всем мире. И вот недавно смотрю документальный фильм о первой мировой войне, обо всем том, что предшествовало революции в России. Кстати, *документальный* вовсе не означает неопровержимый, подлинный. И документальный фильм, и книга выражают то же самое, полностью подчинены воле автора. Из документов, как из детских кубиков, составляют ту или иную картину мира. А разница та, что документальное произведение вызывает больше доверия: оно же не выдуманно, документы подлинные, не зря их до сих пор скрывали...

Так вот, этот фильм, о котором я говорю. Завершающие слова фильма: страны Антанты победили Германию, а *революция победила Россию*. Совершенно противоположный смысл, а выразить его хватило одной буквы: там – *победила в России*, здесь – *победила Россию*.

...Здесь, в Израиле, особенно уместно вспомнить, что перед тем, как Гитлер принял решение об окончательном решении еврейского вопроса, то есть о полном уничтожении всех евреев, часть евреев была выслана из Германии. Хочу подчеркнуть: не вследствие этого принималось решение, а перед тем. Так вот, пароход с изгнанниками не приняла в то время ни одна страна: ни США, ни Канада, ни Австралия и так далее, и так далее. И это развязало руки Гитлеру, пароход вернулся, и капитан его, видевший, что происходит, застрелился. Конечно, не говорили людям: «Езжайте на гибель, нам до вас дела нет». Слова были пристойные, на то и существует, например, дипломатия.

...Ну, а до письменности что, не было истории? Не было знаний? Не было энциклопедий? Библиотек не было – это точно. А вот энциклопедии были. Устной энциклопедией были старики. Они были хранителями памяти и опыта, они были научным пособием своего времени по всем или отдельным отраслям знаний. Наверное, это были люди лет тридцати, жизнь тогда была коротка, но они знали то, чего не могла знать молодежь, что без них заново пришлось бы узнавать людям их племени, заново приобретать опыт, вновь и вновь проходить весь уже пройденный путь. Они знали, какие растения ядовиты, не пригодны в пищу, какими можно врачевать раны, знали, как хранить и добывать огонь, как шить одежду, выхаживать младенцев, и так далее и так далее. Афоризм Кипплинга: «Никому, кроме бабушек, не следует ходить за ребенком, матери умеют только производить детей на свет», афоризм этот имеет исторические корни. И уважение к старикам – это не только «культурная традиция», сочувствие к слабым, результат целенаправленного воспитания, тут просматривается исторические и, что еще важнее, – генетические корни. Не исключено, что от старых людей, владевших ни с чем не сравнимым богатством – знаниями и опытом, – выживание племен зависело больше, чем от физически более сильных, молодых, но неопытных добытчиков пищи. Разумеется, были племена, которые относились к старикам, как к лишним ртам, убивали их, поскольку голод был тогда постоянным спутником. Такие племена погибли.

...Поскольку сказано было «генетические корни», я хочу обратиться к интереснейшей работе покойного генетика Эфроимсона: «Родословная альтруизма». Почти тридцать лет назад, с большими опасениями, снабженная соответствующим послесловием известного академика, она была напечатана в журнале «Новый мир». Эфроимсон принес ее Твардовскому, и Твардовский принял ее и оценил, но напечатана она была уже после изгнания Твардовского из «Нового мира». ...С чем же были связаны опасения, почему требовалась смелость, чтобы напечатать эту работу? Дело в том, что еще не забылось, какому страшному разгрому подверглась генетика в сталинскую пору, само слово ген не произносилось, а Эфроимсон был как раз из тех генетиков, которые претерпели самые большие гонения. А второе, не менее важное, она расходилась с официальной идеологической доктриной. Официальная доктрина утверждала, что методом воспитания мы создадим совершенно нового человека. ...Над этим трудились и философы, и воспитатели детских садов...

Время переменчиво, как ветер. И каждому времени – временные книги. Но есть книги вечные, они пережили столетия или столетия переживут: и трагедии Эсхила, и Шекспир, и Пушкин, и Толстой. При всем различии, главное, что объединяет эти книги: они обращены к добрым началам человека. Возьмем Пушкинское: «...и чувства добрые я лирой пробуждал». Он говорит не об абстрактном добре, а о том, что в человеке заложено, что надо и можно пробудить.

Мы наследуем цвет глаз, черты лица, голос, даже походку, и это нам понятно, привычно видеть, это не удивляет нас. А вот ха-

рактер, нравственные начала, такое неведущее, такое неосоздаваемое, это можно наследовать?

В своей работе «Этика» Кропоткин, князь, и он же – русский революционер и теоретик анархизма спрашивает: «Почему, в силу какого умственного или чувственного процесса человек сплошь да рядом, в силу каких-то соображений, называемых нами «нравственными», отказывается от того, что должно доставить ему удовольствие. Почему он часто переносит всякого рода лишения, лишь бы не изменить сложившемуся в нем нравственному идеалу?»

...Эти и многие другие «почему» Эфроимсон исследует с позиции генетика. «Есть основания считать, – пишет он, – в наследственной природе человека заложено нечто такое, что вечно влечет его к справедливости, к подвигам и самоотвержению...»

...Самым беспомощным, самым беззащитным на протяжении необозримых тысячелетий оставался человеческий детеныш. Ни когтей, ни клыков, ни шкуры теплой... Выжить могли те детеныши, которых защищали родители, защищала стая. Разумеется, во многих ситуациях выживали и даже оставляли большое потомство те, над кем тяготел инстинкт самосохранения, чистый эгоизм. И все же, все же именно детеныши стай и орд, родов, племен, у которых достаточно развиты были эмоции, направленные на защиту потомства, всей стаи, коллектива в целом, защиту молниеносную, полусознательную и сознательную, имели больше шансов выжить. И закреплялась, росла та система инстинктов, на которую опиралась совесть, альтруизм. Именно то, что и ныне побуждает человека совершать поступки, лично ему, возможно, невыгодные и даже опасные, но приносящие пользу другим людям.

«Возникнув на биологической основе, – пишет генетик, – эта природная сущность человека проявляет себя в качестве иной области – социальной. И одна социальная структура может способствовать ее проявлению, а другая, наоборот, подавлять и извращать». Люди уходящего за горизонт XX века слишком хорошо знают эти социальные структуры. Фашизм, тоталитаризм, расизм опираются не на альтруистические чувства, ими означены величайшие трагедии и лет минувших, и нынешних дней.

Приведу еще одну, последнюю цитату из работы «Родословная альтруизма», работы очень близкой мне лично, моему пониманию мира и человека: «Можно с большой долей уверенности утверждать, что эмоции человечности, доброты, рыцарского отношения к женщинам, старикам, охране детей, стремление к знанию – это те свойства, которые ...неизбежно развивались... и входили в фонд наследственных признаков человечества».

...Великие книги пронесли сквозь столетия и сохранили все лучшее, что выработано в человеке за века. А слово... «Словом останавливали солнце, словом разрушали города», – писал Николай Гумилев. Выспренно? Есть немного. Но это писал поэт.

ШАТЕР КНИГИ

Книги и журналы, вышедшие в Израиле на русском языке в 1999 году*

Беленький Марьян. Есть ли жизнь в Израиле? – Иерусалим: ЛИРА. – 136 с. Тел. 972-51-585490.

Брикман Владимир. Записки сибирского еврея. – Иерусалим: ЛИРА. – 120 с. Тел. 972-2-6412960.

Быть евреем в России. Материалы по истории русского еврейства 1880–1890 гг. Составление, заключительная статья и комментарии Нелли Портновой. – Иерусалим: Center for Slavic Languages and Literatures The Hebrew University of Jerusalem. – 416 с.

Вайнштейн Эсфирь. Она была женой фараона. [Автобиографический роман]. – Тель-Авив: Альфа Тикшорет. – 336 с. Тел. 972-8-8641778.

Гензелева Рита. Пути еврейского самосознания. (Василий Гроссман, Израиль Меттер, Борис Ямпольский, Руфь Зернова). – Иерусалим – Москва: Гешарим. – 318 с.

Гершзон Роман. Музеи Иерусалима. – Иерусалим: ЛИРА. – 104 с. Тел. 972-2-6412960.

Дудкин Владимир. Похождения местечкового еврея... – Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. – 178 с. Тел. 972-3-6316469.

Иерусалимский библиофил. Альманах № 1. – Иерусалим: «Филобиблон». – 384 с. Тел. 972-2-6769388.

Каган Давид. Рассказы живым... [Документальные повести]. – Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. – 308 с. Тел. 972-3-6316469.

Кандель Феликс. Земля под ногами. Из истории заселения и освоения Эрец-Израэль. – Иерусалим: Ассоциация «Гарбут». – 324 с.

Канович Григорий. Шелест срубленных деревьев. – Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. – 240 с. Тел. 972-3-5079513.

Ковсан Михаил. Иерушалаим в еврейской традиции. – Иерусалим: Издание автора. – 192 с. Тел. 972-2-6439065.

Косоновская Елена. Деловое письмо на иврите. Изд. 2-е. – Иерусалим: ЛИРА. – 128 с. Тел. 972-2-6412960.

Краткая еврейская энциклопедия. Т. 9. – Иерусалим: Общество по исследованию еврейских общин. Еврейский университет. – 1280 с. Тел. 972-2-5660899.

Лукаш Владимир. Вечно рыжая любовь. [Стихи]. – Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. – 64 с. Тел. 972-3-6316469.

Лукницкий Матвей. Суда не будет. – Иерусалим: ЛИРА. – 96 с. Тел. 972-2-6412960.

* Начало списка см. в № 4 "Иерусалимского журнала". Продолжение списка будет опубликовано в следующем номере.

Список книг, вышедших на русском языке в Израиле в 1998 году, опубликован в №№ 1 – 3.

Заказать книги можно, связавшись с их авторами или издателями.

Макрецкий Алексей. «СТИХИЯ». [Стихи]. – Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. – 192 с. Тел. 972-3-6316469.

Натан Т. Лонес Кардозо. Вызов вечности. Еврейская традиция и XX век. – Иерусалим: Издатель – Гедалия Спинадель. – 190 с. Тел. 02-5858408.

Онгейберг Дмитрий. 27 глав из жизни матросика. [Повесть, рассказы]. – Тель-Авив: Издательство «Кругозор». – 320 с. Тел. 972-3-9669571.

Пархомовский Михаил. Книга об удивительной жизни. – Иерусалим: Научно-исследовательский центр «Русское еврейство и зарубежье». – 316 с. Тел. 972-2-9917039.

Полонский Пинхас. Две истории сотворения мира. Часть I. Адам. Анализ и комментарии к 1–13 главам книги Бытия. – Иерусалим: «Махананим». – 232 с. Тел. 972-2-6256006.

Пушкин А. С. Евгений Онегин с параллельным переводом на иврит Авраама Шленского. Под редакцией Самуила Шварцбанда. – Иерусалим: Israel National Commission for Unesco. World Association for Studies of Interaction of Cultures. Embassy of Russian Federation in Israel. – 252 с. Тел. 972-2-6780023.

Пушкин А. С. «Златые дни, златые ночи...». Художник Юрий Иванов. – Иерусалим: Филобиблон. – 40 с. Тел. 972-2-6769388.

Роза ветров. № 8. [Литературный альманах]. Редактор и составитель – Марк Котлярский. – Тель-Авив: Pilies Studio Publishers. – Тел. 972-3-5505348.

Рэна. Вторая книга. [Стихи]. – Иерусалим: Издание автора. – 162 с. Тел. 972-9-7670374.

Свиндлер Ефим. Евреи: нация или религиозное сообщество? – Тель-Авив: Библиотека Матвея Черного. – 226 с. Тел. 972-3-6316469.

Семеновкер Илья. За что они нас не любят? – Иерусалим: ЛИРА. – 176 с. Тел. 972-2-6412960.

Скомаровский Михаил. Чёрт. – Иерусалим: ЛИРА. – 136 с. Тел. 972-2-6412960.

Фарбер Роман. Малосольные яйца. – Иерусалим: ЛИРА. – 104 с. Тел. 972-2-6420097.

Фрухтман Лев. Заповедь. Стихи разных лет. – Тель-Авив: Мория. – 240 с. Тел. 972-8-9212550.

**Издатели и авторы, желающие опубликовать
в «Иерусалимском журнале» информацию о вышедших книгах,
могут прислать эти сведения в редакцию.**

ИМЕНА

Израэль ААРОНИ. В Иерусалиме его именем названа улица в районе Гиват-Ораним. См. также примечание 15 на стр. 157.

Шмуэль Йосеф АГНОН (Чачкес; 1888, Бучач, Галиция – 1970, Иерусалим). Один из основоположников современной израильской литературы на иврите. Лауреат Государственной премии Израиля (1954 и 1958) и Нобелевской премии по литературе (1966).

В Иерусалиме именем Агнона названа улица в районе Гиват-Ораним; дом-музей писателя находится в Тальпиоте; его архив хранится в Национальной Университетской библиотеке.

В «ИЖ» (№ 2) опубликован рассказ Агнона «К отчету дому».

Михаил АГУРСКИЙ (1933 – 1991). Родился в Москве, с 1975 года жил в Иерусалиме, где и похоронен. После защиты диссертации в Сорбонне в 1983 году, профессор Еврейского университета в Иерусалиме. Автор ряда книг по советской истории и мемуаров «Пепел Клааса» (Иерусалим, 1996).

Елена АКСЕЛЬРОД родилась в Минске, жила в Москве. Репатрировалась в Израиль в 1991 году. Автор десяти книг для детей и семи поэтических сборников. Живет в Араде.

В «ИЖ» (№ 3) опубликована подборка ее стихов. В «Библиотеке Иерусалимского журнала», в этом году вышла книга Елены Аксельрод и Михаила Яхилевича «Стена в пустыне».

Григорий БАКЛАНОВ (Фридман) родился в 1923 году в Воронеже. Во время второй мировой войны воевал солдатом, потом офицером Красной Армии. Автор широко известных книг «Пядь земли» (1959), «Мертвые сраму не имут» (1961), «Навеки девятнадцатилетние» (1979). Был редактором журнала «Знамя».

Живет в Москве.

Авраам-Иеошуа БЕЛОВ (Элинсон; 1911, Могилев – 2000, Иерусалим). Автор исторических и научно-художественных книг, переведенных на многие языки. Перевел на русский язык произведения Шолом-Алейхема и современных израильских писателей и добился их публикации в СССР еще в 60-е годы. Репатрировался в 1974 году. Перевел романы, повести и рассказы Шмуэля Йосефа Агнона, Иеуды Бурлы, Шауля Авигура, Арона Магеда и многих других израильских авторов.

В «ИЖ» № 1 опубликована его статья «Неиссякающий родник».

Илья БЕРКОВИЧ родился 1960 году в Ленинграде. В Израиле с 1990 года. Автор книги «Стихотворения» (Ленинград, 1990).

Живет в Кирьят-Арбе.

Мира БЛИНКОВА (1919, Баку – 1999, Иерусалим). Окончила Институт философии, литературы и истории в Москве, работала в Институте истории Академии наук СССР, публиковала критические и литературоведческие статьи в Литературной энциклопедии, жур-

налах «Новый мир», «Дружба народов», «Вопросы литературы», в «Литературной газете» и других периодических изданиях, перевела на русский язык прозу народов СССР для издательства «Советский писатель» и Государственного издательства художественной литературы. После репатриации (1977) публиковала очерки и критические статьи в израильских, европейских и американских изданиях, в т. ч. в журналах «Континент», «Грани», «Обозрение»...

Илья БОКШТЕЙН (1937, Москва – 1999, Тель-Авив). В 1961 году заключен на 5 лет в лагерь (Потьма, Мордовия). С 1972 года жил в Израиле, в Тель-Авиве. По его словам, «ничем, кроме сочинительства, не занимался». В Израиле вышла в свет его книга «Блики волны» (Мория, 1986). Около 50 публикаций в альманахах, толстых и тонких журналах и газетах Израиля и других стран («Время и мы», «22», «Круг», «Алеф»...) Стихи поэта включены в антологию русской поэзии «Гнозис» (1982), «У Голубой Лагуны» (1984), «Мулета» (1985), «Окфордская» (1985 и 1990), «Поэт – Поэту» (1998). Несколько неопубликованных книг – стихи, теория стихосложения, философия, эзотерика...

Похоронен на кладбище А-Яркон в Тель-Авиве.

В «ИЖ» опубликованы статьи Леонида Финкеля (№ 2, 3) и Александра Верника (№ 3) о поэте и два его стихотворения (№ 3).

Валентина БРИО. Филолог, специалист по истории русской литературы XIX-го века, польской литературе и еврейской культуре Вильно. Один из авторов статей в Краткой Еврейской Энциклопедии. Живет в Иерусалиме.

Аркадий БРОНШТЕЙН родился в 1947 году. Работал преподавателем русского языка и литературы в Ленинградском Государственном педагогическом институте им. Герцена, научным сотрудником Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Крымского центра гуманитарных исследований; заведовал литературным сектором Бахчисарайского дворца-музея. Репатриировался в 1997 году. Живет в Нетании.

Марк ВЕЙЦМАН родился в Киеве в 1938 году. Окончил физико-математический факультет пединститута и Литинститут им. Горького. Преподавал физику в школе. В 1996 году репатриировался в Израиль. Автор семи поэтических книг для детей и сборников стихов «Моление о памяти» (1995) и «Репортаж из Эдема» (1998). Лауреат литературной премии им. Б. Горбатова (1983). Живет в Холоне.

Белла ВЕРНИКОВА родилась в Одессе. В Израиле с 1992 года. Автор книг стихов «Прямое родство» (Одесса, 1991), и «Звук и слово» (Иерусалим, 1999). В США издан сборник переводов ее стихов на английский язык. Докторант Еврейского университета. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» № 2 опубликована рецензия Беллы Верниковой на поэтическую книгу Евгении Завельской.

Моше ГИМЕЙН родился в 1949 году в Казани. Закончил театраль-но-постановочный факультет Художественного училища им. Фе-шина. С 1978 по 1979 годы главный художник Камерного еврейско-го музыкального театра (Москва). Работал помощником кочегара, рабочим сцены, а затем заведовал постановочной частью в Ев-рейском театре «Шалом». В Израиле с 1989 года. Член Союза ху-дожников Израиля и Международного союза художников. Персо-нальные выставки в Москве и в Иерусалиме.
Живет в Мевасерет-Ционе.

Михаил ГОРЕЛИК родился в 1946 году в Москве. Автор статей, эссе, прозаических произведений, опубликованных в литературных журналах России, Германии, Израиля. В «ИЖ» № 4 напечатана его рецензия на новую книгу Нины Воронель.
Живет в Москве.

Леонид ИОФФЕ родился в 1943 году в Москве. В Израиле с 1972 года. Публиковался в литературной периодике Израиля, России, Европы, Америки. Автор четырех стихотворных сборников.
Живет в Иерусалиме.

Зоя КОПЕЛЬМАН родилась и выросла в Москве, там окончила МИЭМ по специальности «Квантовая электроника» и девять лет провела «в отказе». В Иерусалиме живет с 1987 года, здесь окон-чила Еврейский Университет по специальности «Ивритская лите-ратура» и занимается исследованиями в этой области, преподает. Публикуется в «Вестнике Еврейского Университета» и других пе-риодических изданиях. Составитель книги: «В. Ходасевич. Из ев-рейских поэтов» (Москва – Иерусалим, 1998).

Мина ЛЕЙН родилась и жила в Москве, окончила МЭИ, инженер. Репатриировалась в Израиль в 1973 году. Автор книги «Генеология семьи Бокштейн», Хайфа, 1998 (на русском и английском языках).
Живет в Кирьят-Яме.

Шимон МАРКИШ родился в 1931 году в Баку. Филолог-классик, переводчик, историк культуры, критик. Последние четверть века занимался историей еврейской словесности на русском языке. Книги последнего десятилетия: «Три примера: Бабель – Эренбург – Гроссман», (1994, на иврите); «Бабель и другие» (1997, второе издание); «Сумерки в полдень: очерк истории греческой культуры в эпоху Пелопоннесской войны» (1999, второе издание).
Живет в Женеве.

Макс НОРДАУ. В Иерусалиме его именем названа площадь в рай-оне Макор Барух. См. также примечание 40 на стр. 170.

Михаил РОГОВСКИЙ. (1938, Москва – 1998, Париж). Поэт, проза-ик. После эмиграции в 1980 году, жил в Израиле и во Франции. Сотрудник парижского журнала «Синтаксис» и французского ра-диовещания на русском языке.

Дина РУБИНА родилась в Ташкенте, с 1984 года жила в Москве, в Израиле с 1990-го года. Автор полутора десятков книг прозы, изданных на русском и иврите в России и в Израиле, а также еще на двенадцати языках в других странах мира.

Живет в Маале-Адумим.

В «ИЖ» № 2 опубликована повесть Дины Рубиной «Высокая вода венецианцев». Одноименная книга, включающая рассказы и монологи, вышла в 1999 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала».

Валерий КОРЕНБЛИТ родился в 1940 году в Москве. В Израиле с 1973 года. Художник. (Псевдоним – **В. Сонин**). Выставлялся в Израиле, Германии, Австрии, Японии, Швейцарии.

Живет в Иерусалиме.

Генриетта СОЛЬД. В Иерусалиме ее именем названа улица в районе Кирьят-Ювель. См. также примечание 39 на стр. 169.

Герберт СЭМЮЭЛЬ. В Иерусалиме его именем названа улица в центре города. См. также примечание 33 на стр. 166.

Роман ТИМЕНЧИК родился в 1945 году. Историк русской культуры. Жил в Риге. С 1991 года профессор Отделения русских и славянских исследований Еврейского университета в Иерусалиме.

Живет в Иерусалиме.

Александр ФАЙНБЕРГ родился в 1939 году в Ташкенте. Окончил Топографический техникум и заочное отделение факультета журналистики Ташкентского госуниверситета. Автор одиннадцати поэтических сборников. По его сценариям были поставлены четыре полнометражных кинокартины и более двадцати мультипликационных фильмов. Перевел на русский язык стихи многих узбекских поэтов. Несколько лет руководил республиканским молодежным поэтическим семинаром при Союзе писателей.

Живет в Ташкенте.

Владимир ФРЕНКЕЛЬ родился в 1944 году в Горьком, с 1946 года жил в Риге, в 1985 – 1986 годах – политзаключенный. Автор трех книг стихов. Репатриировался в 1987 году.

Живет в Бейт-Шемеше.

В «ИЖ» (№№ 2, 3, 4) опубликованы его рецензии на книги израильских авторов и подборка стихов.

Сусанна ЧЕРНОБРОВА родом из Риги. В Израиле с 1991 года. Автор поэтического сборника «На правах рукописи» (1997). Художник «Иерусалимского журнала».

Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» № 2 опубликовано эссе Сусанны Чернобровой об Израэле Малере, а в № 4 – подборка стихов.

Леонид ЧЕРТКОВ (1933, Москва – 2000, Кёльн) – поэт, прозаик, литературовед. Был заводилой поэтического объединения «Мансарда», о чем см. в книге Андрея Сергеева «Omnibus» (М., 1997).

Учился в Библиотечном институте. Писал в стихах: «И я вижу, как незаметный военный / Подшивает мне в папку последний листок», а в январе 1957 г. был арестован по 58-й статье, осужден на 5 лет концлагеря в Мордовии. После освобождения жил в Риге, затем в Москве, со второй половины 60-х обосновался в Ленинграде. Доучивался на заочном отделении русской филологии в Тарту, потом в Ленинградском пединституте. В 1974 г. эмигрировал, преподавал в университете в Тулузе, затем в Кёльне. Издал машинописные книжки стихов «Огнепарк» (1987) и «Смальта» (1997), выпустил с содержательными вступлениями «Избранные стихи» Владимира Нарбута и прозу Александра Чаянова. Рассказы его печатались в журналах «Континент», «Гнозис», «Ковчег». О рассказе «Смерть поэта» – о гибели Владимира Нарбута в лагере («Ковчег», 1978, № 2) – Иосиф Бродский написал ему, что это «самое значительное, что он читал на русском языке за последние 10 лет». Стихи Черткова см.: «Новое литературное обозрение» (1993, № 2); «Строфы века»; «Самиздат века». См. также некрологи: «Окна» (Тель-Авив, 2000, 13 июля; «Русская мысль» (Париж, 2000, 13 – 19 июля).

Борис ШАЦ. В Иерусалиме его именем названа улица в центре города. См. также примечание 23 на стр. 160.

Светлана ШЕНБРУНН родилась в Москве. В Израиле с 1975 года. Автор книг рассказов «Декабрьские сны» (Иерусалим, 1990; Москва и Швейцария [Noir Fur Blanc, Suisse], 1991); «Искусство слепого кино» (Иерусалим, 1998); романа «Розы и хризантемы» (Москва, 2000). Перевела на русский язык прозу многих израильских авторов. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» (№№ 1, 2, 4) опубликованы ее переводы с иврита из Авигора Шахана, Шмуэля Йосефа Агнона и Иеудит Кацир.

Саша ЦЕРБА (псевдоним; настоящая фамилия – **Ефимович**) родился в 1962 году в Астрахани, в Израиле с 1993 года. Автор книги стихов «Парафраз», (Тель-Авив, «Мория», 1996). Прозу публиковал в журналах и альманахах России и Израиля. Живет в Иерусалиме.

Анатолий ЮНИСОВ родился в 1937 году в Москве; в США с 1987 года. Автор книги рассказов «Чистые пруды, 2» (Бостон, 1987). Живет в Бостоне.

Рашит ЯНГИРОВ родился в 1954 году. Историк культуры, киновед. Автор ряда публикаций о еврейской теме в русском кино. Сотрудничал в «Вестнике еврейской культуры» (Рига), изданиях Института изучения еврейства Восточной Европы Еврейского университета в Иерусалиме. Живет в Москве.

Позавчера, 22 сентября 2000 года, умер поэт Иеуда Амихай

Иеуда Амихай

ТУРИСТЫ

1

В Яд ва-Шеме они соболезнуют шести миллионам,
И стоят, серьезные, возле Стены плача,
И фотографируются с особо важными мертвецами,
На могиле Рахели снимаются, и на могиле Герцля,
И скупую слезу роняют о наших героях,
И на девочек наших пристальным смотрят взглядом,
И в прохладном отеле, плотнее задвинув шторы,
От души хохочут, развешивая над ванной
Свежевыстиранные трусы и майки.

2

Я присел на ступеньки у входа в башню Давида
И поставил две тяжелые сумки рядом,
Оказавшись тут же ориентиром
для туристской группы с экскурсоводом.
– Господа! Смотрите туда... Вон тот мужчина...
Ну, вот этот – с сумками, с сумками, за которым...
И еще немножко правее – арка эпохи Рима
И пилоны древнеримской архитектуры...
– Но ведь он шевелится... видите?... шевелится!..

И тогда я себе сказал: старик, не надо!..
Лишь тогда удостоимся мы свободы,
Когда эти люди услышат от гида:
Господа! Вы видите это древнеримское чудо?
Ну так вот, обратите вниманье: левее сидит мужчина.
Он купил виноград, помидоры, яблоки, авокадо
И сейчас понесет их домой жене и детям.

Перевод с иврита Игоря Бяльского

**НОВЫЙ ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999-2000 гг. вышли книги:

Дины РУБИНОЙ «Высокая вода венецианцев»
Новая одноименная повесть, рассказы и монологи.

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ.
«Стена в пустыне»
Новые стихи поэтессы и новые картины художника.

Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»
Новые стихи, проза и драматические произведения.

Зинаида ПАЛВАНОВА и Вениамин КЛЕЦЕЛЬ.
«Иерусалимские картинки»
Новые стихи З. Палвановой и рисунки В. Клецеля

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Новая книга стихов **Наума БАСОВСКОГО**

Новая книга стихов **Владимира ДРУКА**

Новые повести и рассказы **Григория КАНОВИЧА**

Книга новых стихов и песен **Дмитрия СУХАРЕВА**

Новая книга стихов **Владимира ФРЕНКЕЛЯ**

Новая книга стихов **Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ**

ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ - www.antho.net

Смотрите в Виртуальном музее современных израильских художников коллекции полотен **Александра АДОНИНА**, **Анатолия БАРАТЫНСКОГО**, **Лиоры БАРШТЕЙН**, **Николая БЕЗЗУБОВА**, **Леи ЗАРЕМБА**, **Гарика ЗИЛЬБЕРМАНА**, **Бориса КАРАВАНОВА**, **Бориса КАРАФЕЛОВА**, **Бориса КИНКУЛЬКИНА**, **Вениамина КЛЕЦЕЛЯ**, **Григория КОЗЛЕТА**, **Ителлы МАСТБАУМ**, **Михаила МОРГЕНШТЕРНА**, **Бориса ЛЕКАРЯ**, **Зелия СМЕХОВА**, **Якова ФЕЛЬДМАНА**, **Давида ХАНАНА**, **Юлии ШУЛЬМАН**, **Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ**, **Михаила ЯХИЛЕВИЧА**, и других мастеров живописи.

**НОВЫЙ ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**

**АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Лучшие стихи израильских поэтов, пишущих для детей,
в переводах **Елены АКСЕЛЬРОД, Семена ГРИНБЕРГА,**
Владимира ДАНЬКО, Лорины ДЫМОВОЙ,
Бориса КАМЯНОВА, Вадима ЛЕВИНА
и других поэтов

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые
координаты и чек на имя
“Jerusalem Anthologia”
по адресу:

**Jerusalem Review, P. O. Box 32297
Jerusalem 91322**

**Стоимость годовой подписки (4 номера)
в Израиле – 128 шекелей, включая пересылку.
в странах Западной Европы и Северной Америки –
\$64 США, включая пересылку.**

"Иерусалимская Антология" благодарит
Семена БЛИНШТЕЙНА (Чикаго),
Татьяну ГОЛЬДМАХЕР (Бостон), **Юлия КИМА** (Иерусалим),
Якова ЛИВШИЦА (Иерусалим), **Виктора ЛУФЕРОВА** (Москва),
Клару ЭЛЬБЕРТ (Иерусалим)
за поддержку журнала.

**Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило),
банк Апоалим.
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo),
Bank Napoalim**

*Любые пожертвования
будут приняты с благодарностью*

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

БЕЛЛА ВЕРНИКОВА. Опознавательный знак. <i>Минималистские стихи</i> . . .	3
СВЕТЛАНА ШЕНБРУНН. Пилюли счастья. <i>Повесть</i>	6
ЛЕОНИД ИОФФЕ. Форма барабана. <i>Стихи</i>	79
САША ЩЕРБА. Еврей Говоров. <i>Рассказы</i>	83
ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ. Японская проза. Надежда. <i>Два рассказа</i>	96
ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН. Овадия-Увечный. <i>Рассказ</i> .	
Перевод <i>Светланы Шенбрунн</i>	104

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

МАРК ВЕЙЦМАН. Пока душа не сменит оболочку. <i>Стихи</i>	122
--	-----

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

СУСАННА ЧЕРНОБРОВА. Линия Гимейна	128
МОШЕ ГИМЕЙН. Из автобиографии	137

БУХАРСКИЙ КВАРТАЛ

АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ. Блаженны, кто себя не потерял. <i>Стихи</i>	139
---	-----

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО

ЗОЯ КОПЕЛЬМАН. «В новый край идешь ты...»	148
ФРИДА КАПЛАН. Поколение пустыни. <i>Отрывок из романа</i>	151

ХОЛМ ПАМЯТИ

ШИМОН МАРКИШ. Памяти Авраама Белова, доброй и долгой...	180
ДИНА РУБИНА. Не договорили!..	181
РОМАН ТИМЕНЧИК. Лёня Чертков	187
РАШИТ ЯНГИРОВ. «Мое сердце говорило на том же языке...»	191
СЕРГЕЙ ГОРНЫЙ. Еврейское кладбище (Прага)	193
МИХАИЛ АГУРСКИЙ. Эпизоды воспоминаний (<i>окончание</i>)	197
МИХАИЛ ГОРЕЛИК. В поисках дома	241
АРКАДИЙ БРОНШТЕЙН. «Сын почтенного рабби Иосифа...»	249

НОВЫЕ ВОРОТА

Рецензии Елены АКСЕЛЬРОД, Валентины БРИО, Григория МАРГОВСКОГО, Владимира ФРЕНКЕЛЯ на книги Феликса ГОЙХМАНА, Льва ЛИВШИЦА, Юрия ШАРКОВА и альманах «ИЕРУСАЛИМСКИЙ БИБЛИОФИЛ»	252
--	-----

ЯФФО, 23

АНАТОЛИЙ ЮНИСОВ. Памяти Михаила Роговского	262
ВАЛЕРИЙ КОРЕНБЛИТ. Немного об Илье	266
МИНА ЛЕЙН. «Лорелеи» Ильи Бокштейна	268

УЛИЦА СВЕТА

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ. Слово и книга в освещении истории. <i>Из выступления на Международном конгрессе в Иерусалиме</i>	270
--	-----

ШАТЕР КНИГИ

Издания 1999 года	274
-----------------------------	-----

ИМЕНА	276
-----------------	-----

22 сентября 2000 года умер поэт ИЕУДА АМИХАЙ.	281
---	-----

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 5, 2000

ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet virtual version: www.antho.net/L

Israel Union of Writers in Russian

Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief), **Semion Grinberg**, **Zinaida Palvanova**, **Dinah Rubina**, **Svetlana Shenbrunn**, **Roman Timenchik**

Executive Secretary – **Leonid Levinson**

Graphic Designer – **Susanna Chernobrova**

Assistant Editor and Corrector – **Margarita Shklovskaya**

Administrative and technical support – **Binah Smekhova**, **Boris Bronshtein**, **Daniel Burshtein**, **Michael Byalsky**, **Nelly Glozman**, **Victor Gopman**, **Gregory Gordin**, **Shaul Kotlarsky**, **Daniel Lemberg**, **Anton Mukhin**

SCOPUS Publishing House

TSUR OT Printing House

With the support of: Absorption Ministry; Culture Ministry; Repatriate Writers and Artists Integration Center; Absorption Department and Culture Department of Jerusalem City Council; Jerusalem Russian Municipal Library, Zionist Forum; World Association for Study of Interaction of Cultures

Copyright © "Иерусалимский журнал" 2000. All rights reserved.

Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: review@antho.net

Phone/Fax: 972-2-6720025; 972-2-6432962; 972-2-6434005;

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Melamed** (Address: Россия, 119048, Москва, Хамовнический вал, д. 24, кв. 116, Phone: 7-095-242 7042)

Igor Gryzlov (Phone: 7-095-5507747), E-mail: igorgr@dol.ru

in St.Petersburg: **Olga Krupenye** (Address: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул.Казанская, 5, Phone: 7-812-312 5465)

Sergey Grigoryantz (Address: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул.Бассейная, д. 71, кв. 66, Phone: 7-812-294 8143)

in Novosibirsk: **Vladimir Bolotin** (Address: Россия, 630090, Новосибирск - 90, п/я 414, Phone: 7-3832-329944). E-mail: V.P.Bolotin@inp.nsk.su

in New-York: **Andrey Gritsman** (Address: 55 Central Avenue, 1st Floor, Tenafly, NJ 07670. E-mail: agritsman@worldnet.att.net)

in Chicago: **Alexander Blinsein** (Address: 5157 Jarvis Skokie IL 60077 USA, Phone: 1-847-676 1134); **Yefim Kotlyar** (Address: 5251 Carol, Skokie IL 60077 USA, Phone: 1-847-581 9304, E-mail: YefimK@aol.com)

in California: **Rita Balmina** (Address: Cowles HNT.BD #E128 La-Mesa CA 91242, USA, Phone: 1-619-4606179 E-mail: rita_balmin@yahoo.com)

in Paris: **Vlad Smekhov** Phone: 33-6-73024165, 33-1-41861474

In Israel:

Lyuba Sergeeva – [Afula](#), Phone: 972-6-6492095

Olga Kravchenko – [Arad](#), Phone: 972-7-9971014

Samuel Kushnirov – [Ariel](#), Phone: 972-3-9365452

Leonid Sheinkman – [Herzliya](#), Phone: 972-9-9502681

Vitaly Kabakov – [Kfar Saba](#), Phone: 972-9-7673293

Michael Basin – [Khaifa](#), Phone: 972-4-8213657

Michael Gil – [Lod](#), Phone: 972-8-9201291

Mark Pavis – [Rekhovot](#), Phone: 972-8-9353758

CONTENTS

LION GATE

BELLA VERNIKOVA. Identification Tag. *Minimalist Verses*

SVETLANA SHENBRUNN. Happiness Pills. *Story*

LEONID YOFFE. The Shape of the Drum. *Verses*

SASHA SHCHERBA. Govorov, a Jew. *Short Stories*

ILIYA BERKOVICH. Japanese Prose. Hope. *Short Stories*

SHAI AGNON. Ovadia the Cripple. *Short Story. Translated by S. Shenbrunn*

JAFFA GATE

MARC WEITZMAN. Till the Soul Alters its Shell... *Verses*

BUKHARA QUARTER

ALEXANDR FAINBERG. Blessed Be Those Who Have Not Lost Themselves. *Verses*

BETZALEL STREET

SUSANNA CHERNOBROVA. Gimein Line

MOSHE GIMEIN. From Autobiography

ZHABOTINSKY STREET

ZOYA KOPELMAN. "And You Go to a New Land..."

FRIEDA KAPLAN. The Generation of the Desert. *Fragments from the Novel*

MEMORY HILL

SHIMON MARKISH. Abraham Belov: In Memoriam

DINAH RUBINA. Having Stopped Short in Our Talks...

ROMAN TIMENCHIK. Lyonya Chertkov

RASHIT YANGIROV. "The Very Same Was the Language of My Heart..."

SERGEY GORNY. Jewish Cemetery (Prague)

MICHAEL AGURSKY. Episodes from Memoirs

MICHAEL GORELIK. In Search of the Home

ARKADY BRONSTEIN. "The Son of Venerable Rabbi Joseph..."

NEW GATE

Reviews by Elena Axelrod, Valentina Brio, Gregory Margovsky, Vladimir Frenkel of books by Felix Goikhman, Lev Lifshitz, Yuri Sharkov and of *Jerusalem Bibliophile Almanac*.

23 JAFFA ST.

ANATOLY YUNISOV. Michael Rogovsky: In Memoriam

VALERY SONIN. Some Words About Iliya

MINA LEIN. Iliya Bokshtein's "Lorelei"

STREET OF LIGHT

GREGORY BAKLANOV. Word and Book in the Spotlight of History.

A Speech at 66th General Conference of International Federation of Library Associations (Jerusalem, 13-18 August 2000)

SHRINE OF THE BOOK

Books and Magazines of the Year 1999

NAMES

Poet Yehuda Amichai died on September 22

תוכן העניינים :

שער האריות

בלה וורניקוב. סימן זיהוי - שירה מינימליסטית
סבטלנה שנברון. כמוסות האושר - פרוזה
לאוניד יופה. צורתו של תוף - שירה
סשה שרבה. היהודי גבורוב - סיפורים
אליהו ברקוביץ'. פרוזה יפנית - סיפורים
שמואל יוסף עגנון. עובדיה בעל מוס - סיפור
תרגום של סבטלנה שנברון

שער יפו

מארק וייצמן. עד שהנפש תחליף את הקליפה - שירה

רחוב בצלאל

סוסנה צ'רנוברובה. קו של הימין
משה הימין. מתוך קורות חיים

שכונת הבוכרית

אלכסנדר פיינברג. מבורך מי שלא איבד את עצמו - שירה

רחוב ז'בוטינסקי

זויה קופלמן. "לחם עצב תאכל, פרי עמל ידיים!"
פרידה קפלן. דור המדבר

הר הזיכרון

שמעון מרקיש. אברהם בלוב זכרונו לברכה
דינה רובינה. לא סיימנו את השיחה...
רומן טימנצ'יק. ליוניה צ'רטקוב
רשית ינגירוב. "לבי דיבר את אותה השפה..."
סרגיי גורני. בית הקברות היהודי (פרג)
מיכאל אגורסקי. פרקי זכרונות
מיכאל גורליק. בחיפוש אחר הבית
ארקדי ברונשטיין. שמחה הבן של הרבי יוסף

השער החדש

ביקורות: ילנה אקסלרוד, ולנטינה בריו, גרגורי מרגובסקי,
וולדימר פרנקל על ספריהם של: פליקס גויכמן, לב ליבשיץ, יורי שרקוב,
ואלמאנאך "ביבליופיל ירושלמי"

יפו, 23

אנטולי יוניסוב. לזכר מיכאל רוגובסקי
ולרי קורנבליט. קצת על איליה
מינה לין. "לורליות" של איליה בוקשטיין

רחוב האור

גרגורי בקלנוב. מילה וספר באור ההסטוריה -
מתוך נאום בכנס הבין-לאומי בירושלים

היכל הספר

כתבי-עת וספרים של שנת 1999

שמות

כתב-עת ירושלמי
ספרות ישראלית בשפה הרוסית
2000 .5
רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי), שמעון גרינברג,
רומן טימנצ'יק, זינאידה פלבנובה, דינה רובינה,

סבטלנה שנבורן

מזכיר - **לאוניד לוונזון**

ציירת - **סוסנה צ'רנוברוב**

עריכה והגהה - **מרגריטה שקלובסקי**

תמיכה לוגיסטית וטכנית - בינה סמחוב, בוריס ברונשטיין,
דניאל בורשטיין, שאול קוטלרסקי, מיכאל ביאלסקי, ויקטור גופמן,
גרגורי גורדין, נלי גלזמן, דניאל למברג, אנטון מוכין ובוריס שטיין.

הוצא לאור: "סקופוס". הדפסה: דפוס "צור-אות"



בתמיכת

המרכז לקליטת אמנים עולים

(משרד לקליטת העלייה,

משרד התרבות והספורט);

עיריית ירושלים

(אגף התרבות,

הרשות העירונית לקליטת עליה

והספרייה הרוסית העירונית בירושלים);

הפורום הציוני

והכנס העולמי ללימודי אינטראקציה של תרבויות

© 2000 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי"

ת.ד. 32297, ירושלים 91322

טל. 02-6720025, 054-745322,

02-6432962, 02-6434005

ШМА ИСРАЭЛЬ

КОГДА ВЗОЙДЕТ НЕПРОЕЗЖИЙ ЗНАК
И СОЛНЦЕ ЗАЙДЕТ В ТУПИК
И РОК ЗАЖЕТЕ НЕГАСИМЫЙ ЗРАК
И ДРУГ ПОКАЖЕТ ЯЗЫК

И ГРОМКО СКАЖЕТ ВЧЕРАШНИЙ ЗЭК
УТРИСЬ МОЛ И ЗНАЙ ШЕСТОК
И ВМИГ ВОССТАВШИЙ ИЗ ПЕПЛА СМОГ
НАКРОЕТ БЛИЖНИЙ ВОСТОК

И ВЕСЬ КАИР ВАШИНГТОН ПАРИЖ
И БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ МРАК
ТЕБЕ ТАКОЙ УГОТОВЯТ ВПРОК
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И ПОЙМЕШЬ

ЧТО СОРОК ВОСЕМЬ ЧАСОВ НЕ СРОК
КОГДА ЗАКОНЧИЛСЯ ВЕК
И ТЫ НИКАКОЙ ИМ НЕ ДОКТОР СПОК
А САМ СЕБЕ АМАЛЕК

Игорь Бялковский
19.10.2000

